МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК СТАТЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Томск — 1963

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 166 Серия историческая

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК СТАТЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Томск — 1963

Ответственный редактор тома проф. А. И. Данилов

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Проф. А. И. Данилов (председатель, ректор университета), проф. В. А. Пегель (зам. председателя), доц. Ю. В. Чистяков (зам. председателя), доц. Р. Н. Щербаков (ученый секретарь), директор издательства М. С. Змазнев, проф. Б. Г. Иоганзен, проф. В. Д. Кузнецов (академик АН СССР), проф. В. Н. Кесенних, проф. П. П. Кулфарев, проф. И. М. Разгон, проф. К. В. Савицкий, проф. М. В. Тронов, проф. В. А. Хахлов, проф. К. П. Ярошевский, доц. А. Р. Ананьев, доц. З. Я. Бояршинова, доц. М. А. Кривов, доц. А. А. Любавин, доц. Г. И. Назаров, ст. н. с. Н. В. Прикладов, доц. А. С. Самарин, доц. В. В. Серебренников, директор научной библиотеки М. Р. Филимонов, доц. В. С. Флеров, секретарь парткома Д. В. Коломин.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 166 Серия историческая

К ВОПРОСУ О СВОЕОБРАЗИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Г. М. ИВАНОВ

В принятой XXII съездом КПСС Программе партии ясно определена центральная задача всей советской исторической науки. «Исследование проблем всемирной истории и современного мирового развития,— говорится в Программе, — должно раскрывать закономерный процесс движения человечества к коммунизму, изменение соотношения сил в пользу социализма, обострение общего кризиса капитализма, крушение колониальной системы империализма и его последствия, подъем национально-освободительного движения народов.

Важное значение имеет изучение победоносного, проверенного жизнью исторического опыта Коммунистической партии и советского народа, закономерностей развития мировой системы социализма, мирового коммунистического и рабочего движения».[1])

Выполнение этой задачи предполагает непрерывное повышение теоретико-методологического уровня исторических исследований. В этой связи творческая разработка гносеологических вопросов исторической науки в свете достижений марксистско-ленинской философской и исторической мысли приобретает исключительно важное значение. К числу таких вопросов следует отнести и вопрос о своеобразии процесса познания действительности в исторической науке, являющийся темой данной статьи, в которой рассматриваются некоторые стороны этого весьма важного сюжета.

**
*

Историческая наука неразрывно связана со всей системой общественных наук в целом. Так же как и другие общественные науки, она занимается изучением закономерностей развития человеческого общества. Познание этих закономерностей в каждой общественной науке имеет свои особенности, которые определяются в конечном итоге спецификой исследуемого предмета.

Предмет исторической науки существенно отличается от предметов других общественных наук. В процессе развития исторической науки ее предмет закономерно расширялся и обогащался.[2]) Современное историческое познание (если оставить в стороне изучение истории природы) охватывает историю всего общественного развития, всех его сторон

---

[1]) Программа Коммунистической партии Советского Союза. М. 1961, стр. 128.

[2]) Об эволюции проблематики и предмета исторической науки, см., например, И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959, стр. 39—43.

и процессов. Это, с одной стороны, связывает историческую науку с другими общественными науками, а с другой стороны, выражает ее отличительные особенности. Советские историки справедливо видят специфику исторической науки в том, что она рассматривает «*процесс развития общества в целом,* изучает не только экономическую историю, не только историю политических учреждений или историю международных отношений, не только историю культуры и т. д., но всю совокупность явлений общественной жизни, все ее стороны, в их взаимосвязи и взаимообусловленности».[3]) В этом отношении историческая наука действительно отличается от других общественных наук, таких, например, как политическая экономия, теория государства и права, теория искусства и т. п., каждая из которых исследует вполне определенную сторону развития человеческого общества.

Однако, определяя специфику исторической науки, необходимо учитывать, что имеется еще одна общественная наука, которая также изучает процесс развития общества в целом, взаимодействие всех его сторон. Такой наукой является марксистско-ленинская социология, исторический материализм. Будучи общей теорией общественного развития, исторический материализм в отличие от специальных общественных наук «изучает не отдельные стороны общественной жизни, не тот или иной вид общественных отношений или явлений (экономических, политических, юридических, идеологических), а общество, его развитие, общественную жизнь в целом, во всей совокупности, внутренней связи и взаимодействии его сторон, отношений, процессов»[4]).

Как видим, такое определение задач исторического материализма мало чем отличается от определения задач исторической науки. Действительно, как исторический материализм, так и историческая наука в отличие от других общественных наук изучают процесс развития общества в целом, не отличаясь в этом отношении друг от друга. Естественно поэтому, что выяснение специфики исторической науки невозможно без рассмотрения ее отношения не только к специальным общественным наукам, но и к историческому материализму.[5])

Исторический материализм — это философская наука, предметом исследования которой является человеческое общество и общие законы его развития.[6]) Задача исторического материализма состоит в том, чтобы раскрыть сущность процесса развития общества как целостной системы взаимосвязанных законов, исследовать структуру общества и взаимоотношения между составляющими его элементами и сторонами. Выполняя эту задачу, социологическое исследование отвлекается от конкретного многообразия исторического процесса и рассматривает лишь его наиболее общие закономерности. Исследуя, например, социальную революцию, социолог отвлекается от исторически конкретной формы ее проявления в каждом отдельном случае и рассматривает лишь общие черты, повторяющиеся во всех или, по крайней мере, в ряде известных истории конкретных революциях. Социологическое иссле-

---

[3]) «Очерки исторической науки в СССР», т. I. М., 1959, стр. 7. См. также «Большая советская энциклопедия», изд. 2, т. 19, стр. 28; «Всемирная история», т. I. стр. VI, VIII; В. И. Стрельский. Основные принципы научной критики источников по истории СССР. Киев, 1961, стр. 6.

[4]) «Основы марксистской философии». М. 1958, стр. 350.

[5]) О соотношении исторического материализма и исторической науки. См., например, И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М. 1959, стр. 306—314; В. И. Приписнов. О соотношении исторического материализма и исторической науки. «Вопросы философии», 1961, № 1, стр. 103—113.

[6]) См., например, Г. Е. Глезерман. К вопросу о предмете исторического материализма. «Вопросы философии», 1960, № 3, стр. 13, 19.

дование в данном случае должно раскрыть сущность социальной революции вообще, ее структуру, соотношение в ней объективного и субъективного факторов, ее движущие силы и т. п.

Иные задачи ставятся перед историческим исследованием. Задачей исторической науки является объективно верное воспроизведение конкретной истории общественного развития как единого закономерного процесса во всем его многообразии. Поэтому историк в отличие от социолога не может абстрагироваться от специфики различных этапов истории, от особенностей истории отдельных народов и государств. Историка интересует, прежде всего, конкретная форма проявления закономерностей общественного развития. Исследуя, например, историю Парижской Коммуны, советские историки освещают ее основные этапы и события в хронологическом порядке, более или менее подробно рассказывают о социально-экономической, политической и культурной деятельности Коммуны, дают описание и характеристику вождей Коммуны, ее врагов и мнимых друзей.[7]) В истории Парижской Коммуны общие закономерности революции выступают в своем конкретном неповторимом своеобразии, воспроизведение которого и составляет задачу исторического исследования.

Такое исследование нельзя сводить к абстрактному схематизму и социологическим рассуждениям об общих законах и категориях. В исторической науке всегда значительное место занимает «описание происходивших явлений и *повествование* о совершившихся событиях»[8]).

Отсюда вовсе, однако, не следует, что в отличие от социологии историческая наука должна абстрагироваться от законов развития исторической действительности и встать на путь идиографизма, простого описания и констатации фактов. Поскольку сама историческая действительность представляет собой органическое единство сущности и явления, общего и единичного, необходимого и случайного, постольку и конкретное отображение этой действительности в исторической науке должно в каждом явлении раскрывать его сущность, в единичном событии — общее, в случайном — необходимое. Иными словами, рассматривая процесс развития общества в целом, всю совокупность общественных явлений, историческая наука так же, как и социология, выполняет задачу изучения закономерностей общественного развития. Однако в отличие от социологии историческая наука исследует эти закономерности не в теоретической форме, а в их конкретном проявлении.[9]) Задача историка состоит не в том, чтобы иллюстрировать на конкретном материале уже известные общие законы, а в том, чтобы раскрыть специфическую сущность их проявления в каждом конкретном процессе, событии, факте. Общие законы и категории, сформулированные историческим материализмом, являются в данном случае не предметом специального исследования, а теоретико-методологической основой, опираясь на которую историк не просто описывает отдельные конкретные процессы и явления, а проникает в их сущность, раскрывает

---

[7]) См. «Парижская Коммуна 1871 г.», т. I, М., 1961; П. М. Керженцев. История Парижской Коммуны. М., 1959.

[8]) И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959, стр. 308.

[9]) См. там же, стр. 309. В исследовании именно конкретного проявления законов общественного развития видят характерную задачу исторической науки и другие советские историки и философы. См., например, Л. В. Черепнин. Русская историография до XIX века. Курс лекций. Изд. Московского университета. 1957, стр. 4; Г. Е. Глезерман. К вопросу о предмете исторического материализма. «Вопросы философии», № 3, 1960, стр. 16; В. И. Приписнов. О соотношении исторического материализма и исторической науки. «Вопросы философии», № 1, 1961, стр. 105.

их внутреннюю структуру. Результаты такого исторического исследования в свою очередь способствуют дальнейшему творческому развитию марксистско-ленинской теории, конкретизируют и уточняют те или иные ее положения.

Представление о том, как советские историки, опираясь на исторический материализм, раскрывают сущность, внутреннюю структуру явлений и процессов, обогащая тем самым марксистско-ленинскую теорию, может дать, например, монография Е. А. Косминского «Исследования по аграрной истории Англии XIII века». В ней автор рассматривает феодальный способ производства и феодальную ренту в их исторически конкретном проявлении. В этой связи Е. А. Косминский дает подробную характеристику манориальной системы. Не ограничиваясь ее описанием, он анализирует разнообразные типы вотчинной структуры[10]) и показывает, что в основном структура манора определяется соотношением трех элементов — домена, вилланской земли и свободного держания[11]).

Путем статистического анализа Е. А. Косминский выясняет сравнительное значение каждого из этих трех элементов как в отдельном маноре, так и в целом крупном районе — сотне, графстве. Это позволяет ему подойти к определению того типа феодального производства, который господствует на данной территории. Сопоставляя между собой различные районы и вотчины различного типа, Е. А. Косминский показывает, как происходит распределение различных форм феодальной ренты по различным разрядам вотчин, а также внутри отдельной вотчины по разрядам держателей. В зависимости от преобладания той или иной формы ренты может меняться структура вотчины, юридическое положение крестьян, отношение между доменом и крестьянской землей и т. п. Оказывается, что «не столько структура манора, сколько господствующая в нем форма ренты определяет его хозяйственную характеристику»[12]).

Раскрывая сущность манора во всех его разнообразных проявлениях в зависимости от господствующей формы ренты, от местных экономических, исторических и географических условий, Е. А. Косминский показывает, что во всех случаях манор характеризуется наличием непосредственных производителей, в той или иной степени наделенных землей и орудиями производства и обязанных отдавать феодальную ренту в силу внеэкономического принуждения.[13]) Таким образом, основной признак манора, его сущность выражаются в его характеристике, как «организации для присвоения лордом феодальной ренты»[14]). Исследование Е. А. Косминского безусловно вносит определенный вклад в развитие марксистско-ленинской теории феодальной ренты.

Не только монография Е. А. Косминского, но и труды многих других советских историков убедительно показывают, что историческое исследование тех или иных общественных явлений невозможно без раскрытия их внутренней сущности, без осуществления тщательного анализа их структуры. Структурный анализ входит в задачу исторического исследования постольку, поскольку история изучаемого явления объективно неотделима от его структуры и поскольку знание структуры явления помогает понять его историю. Так, например, анализ социаль-

---

[10]) См. Е. А. Косминский. Исследования по аграрной истории Англии XIII века. М.—Л., 1947, стр. 137—139.
[11]) Там же, стр. 140.
[12]) Там же, стр. 139.
[13]) Там же, стр. 42.
[14]) Там же, стр. 41.

но-экономической и политической структуры феодальной системы, данный в работах Н. П. Грацианского, Е. А. Косминского, А. И. Неусыхина, Б. Д. Грекова, М. Н. Тихомирова, Л. В. Черепнина и других советских историков,[15]) позволяет глубже проникнуть в сущность истории развития русского и западноевропейского феодализма, раскрыть закономерности в хронологической последовательности тех изменений, событий и фактов, которые имели место в эпоху средневековья. Анализ истории общественных явлений, тесно связанный с анализом их структуры, исследование того общего, необходимого, что повторяется в массе единичных событий и фактов, представляют собой путь, ведущий к раскрытию закономерностей исторической действительности, без познания которых вообще не может быть истории как науки.

Задача изучения закономерностей исторической действительности неразрывно связывает историческую науку с теоретическими общественными науками. На этой основе происходит синтез исторических и теоретических знаний. Такой синтез приносит плодотворные результаты, особенно в тех областях исследования, где непосредственно соприкасаются смежные науки (например, история экономического развития и политическая экономия; история государства и права и теория государства и права). По существу, современная историческая наука в той же мере является теоретической наукой, в какой теоретические общественные науки являются историческими. Это не означает, конечно, что история как наука растворяется в теории и утрачивает всякую самостоятельность.

***

Процесс отражения действительности в исторической науке, подчиняясь общим для всех наук закономерностям познания, вместе с тем имеет свои специфические особенности, обусловленные в конечном итоге своеобразием соотношения объекта и субъекта в самой исторической действительности, в самом общественном развитии. В исторической науке, поскольку она имеет предметом своего исследования историю именно человеческого общества, а не историю природы, значительно сложнее, чем в естествознании, решается проблема соотношения объекта и субъекта.

В отличие от истории развития природы исторический процесс общественного развития является продуктом взаимодействия людей, их материальной и духовной деятельности. История общества, указывали К. Маркс и Ф. Энгельс, есть *«не что иное,* как деятельность преследующего свои цели человека».[16]) Исходя из определенных объективных предпосылок, созданных в процессе производства, люди, одаренные сознанием и волей, сами делают свою историю, и в этом смысле они выступают не как пассивный объект истории, а как ее с у б ъ е к т, как ее

---

[15]) См. Н. И. Грацианский. Бургундская деревня в X—XII столетиях. М.—Л., 1935; Е. А. Косминский. Исследования по аграрной истории Англии XIII века. М.—Л., 1947; А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства в Западной Европе VI—VIII веков. М., 1956; Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVIII в. М., 1946; М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. М., 1946; Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV веков, т. I, М.—Л., 1948; т. II, М., 1951; его же. Образование Русского централизованного государства; В. Т. Пашуто. Очерки по истории феодализма, XII—XIII вв. М., 1960 г.; «Очерки истории СССР». Период феодализма IX—XV вв., чч. I и II. М., 1953; конец XV—начало XVIII вв. М. 1955; XVII в. М., 1955 г.; Первая четверть XVIII в. М., 1954 г.; Вторая четверть XVIII в. М., 1957 г.; Вторая половина XVIII в. М., 1956.

[16]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, Изд. 2., стр. 102.

активная, творческая сила, преобразующая действительность в ходе исторической практики. Только в истории благодаря производству человек становится субъектом, потому что только в ней, как правильно отмечал Г. В. Плеханов, «развивается его *самосознание*».[17])

В исторической действительности, таким образом, всегда дан реальный субъект, т. е. человечество, которое активно творит свою собственную историю и создает материальные производственные отношения, существующие независимо от его сознания. Поэтому объективный исторический процесс является по существу воплощением общественно-практической активности субъекта, материально-производственной деятельности человечества.

Вместе с тем процесс становления человечества как субъекта, происходящий на основе производства, неразрывно связан с развитием его самосознания, в результате которого человечество начинает отличать себя от остальной природы и осознавать себя как субъект, противостоящий природе и обладающий особой социально-исторической сущностью. Этот процесс познания субъектом самого себя, своей истории, являющейся продуктом общественно-практической активности субъекта, выступает как процесс самопознания, ибо как в действительности, так и в голове здесь дан субъект. Познание данного в действительности субъекта является характерной гносеологической особенностью всякой социальной, исторической науки. Не случайно К. Маркс, говоря, в частности, об особенностях познания в политической экономии, писал: «Как вообще во всякой исторической, социальной науке, при развитии экономических категорий нужно постоянно иметь в виду, что как в действительности, так и в голове дан субъект — в данном случае современное буржуазное общество — и что категории выражают поэтому формы бытия, условия существования, часто только отдельные стороны этого определенного общества, этого субъекта, и что поэтому оно *также и для науки* возникает отнюдь не только тогда, когда о нем как таковом впервые заходит речь»[18]).

Наличие субъекта в самой исторической действительности отнюдь не означает, как думают некоторые современные буржуазные философы и историки, что в процессе исторического познания объект и субъект сливаются друг с другом и что поэтому нет смысла говорить об объективной реальности исторического процесса и его отражении в исторической науке.[19]) Конечно, поскольку человечество является субъектом исторического развития и в то же время субъектом исторического познания, поскольку оно, изучая историю прошлого, познает свою собственную историю, и в этом смысле историческая действительность совпадает с историческим сознанием.[20]) Такое совпадение безусловно имеет место, поскольку речь идет о самопознании, однако его ни в коем случае нельзя понимать как абсолютное тождество, как «слияние» объекта и субъекта в историческом познании.

---

[17]) Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения, М., 1956, т. I, стр. 673.

[18]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, Изд. 2, стр. 732.

[19]) См. H. Mitteis. Die Rechtsidee in der Geschichte. Gesammelte Abhandlungen uud Vorträge. Weimar 1957, S. 501; W. Hofer. Geschichte zwischen Philosophie und Politik. Studien zur Problematik des modernen Geschichtsdenkens. Stuttgart, 1956, S. 103, 110; «Theory and Practice in Historical Study: a report of the Committee on Historiography», New York, 1946, p. 123—124; F. M. Powicke. Modern Historians and the study of History, London, 1955, p. 231.

[20]) В этом же смысле говорит о совпадении исторической действительности с историческим познанием И. С. Кон. См. И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М. 1959, стр. 228.

Во-первых, необходимо строго различать общественно-практическую активность субъекта, его предметную, материальную деятельность, являющуюся объективным историческим процессом,[21]) и собственно-познавательную активность субъекта, являющуюся ни чем иным, как отражением этого процесса. Это различие убедительно показывает, что субъект, данный в действительности, не тождествен субъекту, данному в голове, и что поэтому ни о каком совпадении исторической действительности, как объективной реальности, с историческим сознанием, как отражением этой реальности, не может быть и речи. Как указывалось в советской исторической литературе, даже совпадение в одном и том же лице участника исторического события и его историка «никоим образом не доказывает исчезновение объекта познания, существующего независимо от исследователя», так как в данном случае «один и тот же человек осуществляет связанные между собой, но тем не менее разные социальные функции». Как участник исторического события он активно делает историю и своей общественно-практической деятельностью способствует созданию определенного исторического факта. Но выступая как историк, он осуществляет уже познавательную функцию и должен поэтому рассматривать совершившийся факт как объективную реальность, которая уже не зависит от него.[22])

Во-вторых, при рассмотрении соотношения объекта и субъекта в историческом познании необходимо иметь в виду, что сам исторический процесс является по существу практическим процессом и в этом отношении представляет собой диалектическое единство и взаимодействие объекта и субъекта, общественного бытия и общественного сознания. Общественное сознание, будучи необходимым моментом многообразной общественно-исторической деятельности человечества, являющегося субъектом истории, не только отражает объективный исторический процесс, но и вместе с тем само активно участвует в его творчестве. Органически вплетаясь в практику исторического творчества, общественное сознание, идеальные побуждения людей так или иначе находят свое объективное выражение в материальных отношениях, воплощаются в результатах исторического развития.

Субъективное, таким образом, превращается в объективное. Это совпадение объекта и субъекта, которое осуществляется в самой реальной исторической действительности и которое К. Маркс понимал как революционную практику,[23]) ни в коем случае нельзя распространять на само историческое познание, являющееся отражением этой действительности. По отношению к исторической науке историческая действительность всегда выступает в качестве объекта познания, существующего независимо от всякого сознания.

Историческая наука, таким образом, изучая историческую действительность, имеет дело с своеобразным объектом познания, органически включающим в себя субъект, человечество, его материальную и духовную деятельность. Поэтому в исторической науке процесс познания всегда является отражением диалектического единства объекта и субъекта, существующего в самой исторической действительности. Это обстоятельство необходимо постоянно иметь в виду во всяком историческом исследовании, так как оно позволяет увидеть диалектику

---

[21]) В. И. Ленин писал, что существует «2 формы объективного процесса: природа... и целеполагающая деятельность человека». (В. И. Ленин. Соч., т. 28. Изд. 4, стр. 179).

[22]) А. И. Данилов. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ. Сб. «Средние века», в. XV, 1959, стр. 104.

[23]) См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 3; изд. 2, стр. 2.

объективного и субъективного в истории общества, раскрыть внутреннюю связь объективных условий общественного развития данной исторической эпохи и субъективных целей людей, действующих в условиях этой эпохи.

Изучая общественные явления, историк должен учитывать, что в истории общества, поскольку в ней действуют люди, одаренные сознанием и волей, «ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели».[24]) Это существенное отличие истории общества от истории природы, на которое в свое время указывал Ф. Энгельс, имеет важное методологическое значение для исторического исследования особенно отдельных эпох и событий, так как их понимание возможно только в связи с изучением тех целей и намерений, во имя которых действовали исторические деятели, классы и политические партии.

Но, с другой стороны, историк не сможет объяснить субъективные цели и намерения людей, если он не раскроет тех самых объективных условий данной исторической эпохи, которые породили именно эти, а не другие цели и намерения. В. И. Ленин указывал, что «цели человека порождены объективным миром и предполагают его, — находят его, как данное, наличное»[25]). Поэтому цели и намерения политических деятелей, классов и партий, действующих в данную эпоху, следует рассматривать как отражение объективных социально-экономических условий, детерминирующих общественное сознание данной эпохи. Если, как писал Ф. Энгельс, «экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего как интерес»,[26]) то совершенно очевидно, что субъективные цели, поскольку они являются выражением этих интересов, нужно объяснять из самих экономических отношений.

Соотношение объекта и субъекта познания в исторической науке следует понимать не абстрактно, а конкретно-исторически. Известно, что общества вообще не существует. В качестве объекта исторического познания всегда выступает определенное общество, определенная совокупность прежде всего производственных отношений людей, которые в классовом обществе принадлежат различным классам, составляющим общество на данном этапе его исторического развития. Следовательно, субъектом исторического процесса в каждом классовом обществе являются вполне определенные классы, находящиеся в конкретной обстановке политической и идеологической борьбы и действующие в каждой области материального и духовного производства в соответствии со своими экономическими интересами. Существование классов и классовой борьбы в самой исторической действительности обязательно в той или иной форме находит свое отражение в историческом познании, субъектами которого являются те или иные представители определенного класса. Классовая природа объекта и субъекта познания обусловливает своеобразие познания в исторической науке.

Одна из особенностей отражения действительности в исторической науке в том и состоит, что оно всегда совершается (сознательно или бессознательно) сквозь призму классовых интересов. Не люди вообще, не субъект вообще, а вполне конкретный познающий субъект, являющийся носителем интересов определенного класса, познает историческую действительность, борьбу общественных классов, по отношению к которой он не может быть беспристрастным. В. И. Ленин указывал, что «беспристрастной» социальной науки не может быть в обществе,

---

[24]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, Изд. 2, стр. 306.
[25]) В. И. Ленин. Соч., т. 38, стр. 180.
[26]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 271.

построенном на классовой борьбе»,[27]) что «ни один живой человек *не может не становиться на сторону* того или другого класса (раз он понял их взаимоотношения), не может не радоваться успеху данного класса, не может не огорчиться его неудачами, не может не негодовать на тех, кто враждебен этому классу, на тех, кто мешает его развитию распространением отсталых воззрений и т.д. и т. д.».[28])

Историческое познание, таким образом, поскольку оно связано с борьбой общественных классов и зависит от классовых позиций историка, всегда носит партийный характер. Поэтому историки, принадлежащие к разным общественным классам, по-разному освещают одни и те же вопросы. Это обстоятельство многие современные буржуазные историки и философы (К. Рид, Г. Барнес, Ч. Бирд, Р. Арон, Э. Ротакер и др.) нередко пытаются использовать в целях опровержения научной объективности в историческом познании.[29]) Односторонне абсолютизируя роль всевозможных «личных факторов» в процессе исторического познания, преувеличивая их влияние, они, по существу, изгоняют объективную истину из исторической науки[30]).

Безусловно, личность историка, его мировоззрение, классовое положение и т. п. влияют на процесс исторического исследования, и марксистская методология истории никогда не отрицала этого влияния. Однако отсюда вовсе не следует, что результаты исторического исследования не содержат объективной истины, что историческое познание носит исключительно субъективный характер, что не может быть единой объективно написанной истории. В стремлении буржуазных историков и философов доказать несовместимость «личных», в том числе партийных интересов, из которых исходит историк, с научной объективностью, нельзя не видеть попытки дискредитировать марксистско-ленинский принцип партийности, являющийся важнейшим методологическим принципом научной историографии.

В противоположность буржуазной философской и исторической мысли марксистская методология подходит к вопросу о соотношении партийности и научной объективности не абстрактно, а конкретно-исторически, с точки зрения процесса общественного развития, учитывая конкретные условия места и времени, в которых развиваются исторические знания. Такой подход показывает, что научное освещение исторического прошлого неразрывно связано с представителями прогрессивных общественных классов, интересы которых совпадают с требованиями

---

[27]) В. И. Ленин. Соч., т. 19, Изд. 4, стр. 3.

[28]) В. И. Ленин. Соч., т. 2, стр. 498—499.

[29]) См. критику современной буржуазной методологии истории по этому вопросу в работах: И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, стр. 245—257; его же «Материализм и эмпириокритицизм» и современная буржуазная социология, «Коммунист», 1959, № 6, стр. 44—54; его же. Буржуазная философия истории в тупике. «Вопросы истории», 1960, № 12, стр. 30—54; А. Шафф. Презентизм — реакционная методология буржуазной историографии. «Коммунист», 1955, № 16, стр. 68—82.

[30]) Характерным примером в этом отношении может служить опубликованная в одном из американских философских журналов статья Е. Теппа «Познание прошлого» (E. Tapp. Knowing the Past. — «The journal of Philosophy», N. — Y., 1958, vol., LV, N 11, May 22, pp. 460—467). В этой статье Е. Тепп правильно отмечает, что историк никогда не является «бесчувственным автоматом, механически интерпретирующим прошлое» (p. 462). Но отсюда он делает субъективистско-релятивистские выводы. С его точки зрения разнообразие, «личные факторы», которыми руководствуется историк в процессе исследования, делают невозможным объективное познание исторического прошлого. Такое познание он объявляет «идеалом», который «фактически недостижим» (p. 463). «Так как истину нельзя познать, — пишет Е. Тепп, — то последовательность и вероятность в изложении самое большее, что он (т. е. историк. — *Г. И.*) может надеяться достичь» (p. 463).

объективного хода истории. Это обстоятельство объясняет нам, почему в свое время буржуазная историография, созданная в эпоху восходящего капитализма, содержала в себе не только огромный фактический материал, но и правильное объяснение истории отдельных эпох и событий.

Совсем другое дело — партийность современной буржуазной историографии, которая по мере усиления реакционности самой буржуазии, ставшей тормозом на пути к общественному прогрессу, все более и более порывает с объективной истиной и открыто прибегает к искажению и фальсификации исторической правды. Поэтому борьба против буржуазной фальсификации истории является в настоящее время одной из важнейших задач советской исторической науки[31]).

В своих исследованиях советские историки сознательно используют коммунистическую партийность как методологический принцип, ведущий к объективно-истинному познанию истории общества. Поскольку требования объективных законов общественного прогресса совпадают с интересами рабочего класса, постольку научная объективность историка совпадает с коммунистической партийностью. Конечно, это совпадение нельзя представлять себе таким образом, будто бы уже сам по себе принцип коммунистической партийности автоматически предрешает вопрос об истинности познания и гарантирует историка от ошибок. Такое представление было бы грубым искажением существа принципа коммунистической партийности.

Действительное методологическое значение этого принципа заключается в том, что он, не заменяя собой специальных знаний и профессионального мастерства историка, дает ему правильную позицию, опираясь на которую он может освещать направление исторического процесса, вскрывать его движущие социальные силы и борьбу общественных классов, «обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы».[32]) Именно поэтому в постановлении ЦК КПСС от 9 марта 1957 г. «О журнале «Вопросы истории» подчеркивается необходимость «обеспечить последовательное соблюдение ленинского принципа партийности в исторической науке, решительную борьбу с проявлениями буржуазной идеологии и попытками ревизии марксизма-ленинизма»[33]).

***

Диалектико-материалистическое понимание соотношения объекта и субъекта как в самой истории, так и в историческом познании позволяет раскрыть важнейшие гносеологические вопросы, связанные с использованием в историческом исследовании различных исторических источников.

---

[31]) За последние годы советские историки успешно разоблачают буржуазных фальсификаторов истории. См., например, «Против фальсификаторов истории». М., 1959; «Против буржуазной фальсификации истории советского общества». М. 1960; «Против фальсификаторов второй мировой войны»,М., 1959; А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX вв. М., 1958; В. И. Салов. Германская историография Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1960, В. В. Лебедев, А. Р. Чубарьян. Против антинаучного освещения истории Октябрьской революции в современной буржуазной историографии США и Великобритании, М., 1959.

[32]) В. И. Ленин. Соч., т. I, стр. 380—381.

[33]) «Справочник партийного работника», М., 1957, стр. 382. О принципе партийности см. также: «Строго соблюдать ленинский принцип партийности в исторической науке». «Коммунист», 1957, № 1; «За ленинскую партийность в исторической науке», «Вопросы истории», 1957, № 3.

Исторические источники являются своеобразной объективной предпосылкой познания как прошлой, так и настоящей истории человеческого общества. Без исследования источников невозможно изучение исторической действительности. Своеобразие исторического познания в том и заключается, что оно отражает действительность на основе анализа прежде всего исторических источников.

В связи с использованием источников в историческом исследовании перед историком встают некоторые важные в гносеологическом отношении вопросы. Среди них можно указать на следующие: во-первых, вопрос о природе исторических источников и их отношении, с одной стороны, к объективной исторической действительности, а с другой стороны, к самому процессу исторического познания; во-вторых, вопрос о классовом содержании и соотношении объективного и субъективного моментов в различных источниках. Важное значение при их решении имеет марксистско-ленинское понимание соотношения объекта и субъекта в самой истории и историческом познании.

В противоположность многим представителям буржуазной идеалистической методологии истории, которые сознательно или бессознательно отождествляют объективное историческое прошлое, существующее в форме исторических источников, с историческим сознанием, пытаясь сделать отсюда выводы в пользу субъективизма (например, Э. Бернгейм, А. С. Лаппо-Данилевский, Б. Кроче и др.), марксистская методология истории рассматривает исторические источники как такие памятники прошлого, которые существуют объективно, независимо от нашего сознания. Источники исторического познания в социальных науках являются результатом исторического прошлого человеческого общества, следовательно, материальным продуктом человеческой деятельности. Именно как результат определенной человеческой деятельности исторический источник выступает перед нами в форме бытия, в форме объекта, реальное существование которого делает возможным познание исторического прошлого.

Поскольку в историческом источнике запечатлена в определенной объективной форме как материальная, так и духовная деятельность людей прошлого, постольку его следует рассматривать как единство объективного и субъективного. Было бы неправильно рассматривать исторический источник только как «реализованный продукт человеческой психики».[34]) Такое определение источника, данное А. С. Лаппо-Данилевским с позиций неокантианской методологии истории, по существу, отрицает объективное содержание исторических источников. Конечно, в историческом источнике в той или иной мере находит свое выражение творческая мысль, сознание, индивидуальность автора, который создавал источник, однако не ими определяется сущность источника, а теми конкретными историческими условиями, которые сами определяют идеологию автора и, преломляясь в его сознании, получают свое выражение в источнике.

В письменных источниках, как памятниках прошлого, зафиксированы те исторические события, факты, отношения и учреждения прошлого, в которых объективизировалась материальная и духовная деятельность людей той или иной эпохи. С этой точки зрения исторические источники, будучи объектом нашего познания, существующим независимо от нас, являются в то же время с в о е о б р а з н ы м и ф о р м а м и

---

[34]) А. С. Л а п п о-Д а н и л е в с к и й. Методология истории, Вып. II, СПб, 1913, стр. 374

отражения объективного исторического прошлого, так как в материальную деятельность людей прошлого вплеталось их собственное сознание, которое, конечно, не могло не сказаться в исторических источниках. Поэтому советское источниковедение «должно исходить из определения исторических источников как памятников прошлого, *отражающих* (подчеркнуто нами. — *Г. И.*) реальные явления общественной жизни».[35])

«Исторический источник, — пишут в своей статье В. П. Данилов и С. И. Якубовская, — это такой памятник человеческого прошлого, который несет на себе печать своего времени, который отражает действительность через призму социально-экономических, политических, эстетических и других представлений, через призму жизненных интересов людей, создавших этот памятник.»[36]) То обстоятельство, что в исторических источниках, как результатах материальной и духовной деятельности людей, выражено историческое сознание прошлой эпохи, вовсе не означает, что это сознание тождественно историческим источникам, объективному историческому прошлому, как это пытается представить современная субъективистская буржуазная методология истории.

Всякая попытка свести историческое прошлое исключительно к сознанию, к представлениям и чувствам людей означает на деле отрицание объективности исторического прошлого. Историческое прошлое считает, например, Е. Тепп, относится не к объективной реальности, существующей вне нашего сознания, а к «области представления»[37]). Основной и исходной предпосылкой исторического познания, согласно Е. Теппу, всегда должно быть мышление, «потому что прошлое, человеческое или другое, обнаруживается в мышлении». Мышление выступает у Теппа не как отражение исторического прошлого, а как единственный носитель этого прошлого, которое существует постольку, поскольку «мы находим его в нашем мышлении».[38])

Разоблачая идеалистическое сведение объективного исторического прошлого, равно как и исторических источников, к историческому сознанию, объективного к субъективному, советские историки исходят из ленинской теории отражения, являющейся надежной методологической основой для признания объективности исторического прошлого, объективного содержания исторических источников. В. И. Ленин считал, что так же, как нельзя отрывать идеальное от материального, отражение от отображаемого, точно так же нельзя и отождествлять их между собой. Отражение (даже извращенное) недопустимо мыслить без отображаемого. «Изображение, — указывал В. И. Ленин, — необходимо и неизбежно предполагает объективную реальность того, что «отображается»[39]).

Сознание прошлых поколений, нашедшее свое различное выражение в исторических источниках, поскольку оно представляет собой не что иное, как отражение, не исключает, а напротив предполагает суще-

---

[35]) Л. В. Черепнин. Лаппо-Данилевский — буржуазный историк и источниковед. «Вопросы истории», 1949, № 8, стр. 49.

[36]) В. П. Данилов, С. И. Якубовская. Источниковедение и изучение истории советского общества. «Вопросы истории», 1961, № 5, стр. 6; В. И. Стрельский также рассматривает исторические источники как памятники, **отражающие** объективную действительность (В. И. Стрельский. Основные принципы научной критики источников по истории СССР. Киев, 1961, стр. 6).

[37]) E. Tapp. Knowing the Past. «The journal of philosophy», N. — Y., 1958, № 11, p. 460.

[38]) Ibid., p. 461.

[39]) В. И Ленин, Соч., т. 14, стр. 223.

ствование объективного исторического прошлого. Как отражение прошлого, это сознание является идеальным, тогда как отображаемое им прошлое, составляющее содержание исторических источников, является объективным, существующим независимо от всякого сознания. Отражение объективного исторического прошлого в письменных и печатных источниках выступает в материальной оболочке, в языковой, терминологической форме. Но по этой форме отражения можно и должно судить не только об отражении, т. е. о сознании людей прошлых эпох, но и самом отображаемом объективном прошлом без всякого, однако, отождествления их между собой.

Терминологическая форма отражения прошлого в источниках является основой для применения в исторической науке метода терминологического анализа источников, с помощью которого осуществляется научное познание отображаемого в источниках исторического прошлого. Работы советских историков Б. Д. Грекова, Л. В. Черепнина, А. И. Неусыхина и других показывают, что терминология источников имеет определенный смысл, определенное содержание, отражающее действительные, реальные исторические факты. Возникновение того или иного термина обусловлено целым рядом самых различных обстоятельств в развитии самого языка, но в конечном итоге оно связано с возникновением новых явлений и фактов в хозяйственном и политическом развитии, которое не могло не находить своего отражения в исторических источниках.

Б. Д. Греков считает, например, что термин «старожильцы» появился тогда, когда «возникла нужда отмежевать категорию старых зависимых от землевладельца, тяглецов от увеличившейся массы новоприходцев».[40]) Л. В. Черепнин, анализируя процесс закрепощения крестьянства, показывает, как менялось право крестьянского перехода и как эти изменения находили свое отражение в терминологии источников. Так, старый термин феодал «перезовет», «переймет», «осадит» крестьян заменяется новым — феодал «окажет» крестьян. Л. В. Черепнин показывает, что эта эволюция терминов связана с реальными процессами, с переходом от феодальной раздробленности, когда можно было «перезывать» крестьян, к централизованному государству, когда уже нельзя было «перезывать» чужих крестьян, так как не стало самостоятельных княжений[41]).

Терминологический анализ исторических источников показывает, таким образом, что термины возникают и развиваются, прежде всего, в связи и на основе возникновения и развития объективных общественных процессов, вследствие чего содержание терминов отражает объективную реальность, позволяя тем самым познать историю прошлого. «В эволюции словарного состава, — пишет В. И. Стрельский, — в изменении значения тех или иных терминов отражено социально-экономическое, политическое и культурное развитие народа.»[42])

Конечно, возникновение и развитие того или иного термина далеко не всегда можно непосредственно объяснить из социально-экономических процессов. Здесь приходится также учитывать специфические законы развития самого языка, самих семантических форм. Но как бы это ни было важно, для историка, в отличие от филолога, важнее, однако,

---

[40]) Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси. М., 1951, кн. 2, стр. 95.

[41]) Л. В. Черепнин. Актовый материал как источник по истории русского крестьянства XV в. «Проблемы источниковедения», IV, 1955, стр. 348.

[42]) В. И. Стрельский. Основные принципы научной критики источников по истории СССР, стр. 9.

выяснить прежде всего именно те социально-экономические и политические процессы, которые обусловили изменения в терминологии и нашли в ней свое отражение. Поэтому в историческом исследовании терминологический анализ служит важным вспомогательным средством познания объективных общественных процессов, имевших место в прошлом. Именно из них прежде всего историк стремится объяснить возникновение и развитие терминов. Тот факт, что содержание терминов источников отразило действительность, реальность, является предпосылкой для образования научных понятий на базе терминов, для научного отражения прошлого в исторической науке.[43])

Терминологический анализ, являющийся одним из своеобразных путей раскрытия реального отражения действительности в исторических источниках, должен удовлетворять, по крайней мере, следующим требованиям: во-первых, в процессе его применения необходимо идти не от терминов к выяснению фактов, а сами термины объяснять условиями, в которых они создавались;[44]) во-вторых, терминологический анализ должен быть, по возможности, всесторонним, т. е. он должен не ограничиваться рассмотрением отдельных, произвольно подобных источников, а раскрывать, путем сравнения и сопоставления многих источников, всю многозначность одних и тех же употребляемых в них терминов; в-третьих, к анализу терминов необходимо подходить исторически, т. е. рассматривать термины в развитии, прослеживая изменение их смысла, их содержания в связи с развитием самой исторической действительности; в-четвертых, в процессе терминологического анализа, предполагающего критическую интерпретацию содержания исторических источников, необходимо строго отделять объективное содержание того или иного термина от его возможных субъективных искажений в источниках или в исторических исследованиях.

Единство субъективного и объективного, отражения и отображаемого в историческом источнике необходимо учитывать и при рассмотрении вопроса о классификации источников по степени близости источника к отраженному в нем событию. Исходя из этой классификации, историки, как известно, различают два типа исторических источников: исторические остатки и историческую традицию. В работе М. Н. Тихомирова «Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в.», а также в статье В. П. Данилова и С. И. Якубовской «Источниковедение и изучение истории советского общества» правильно отмечалось важное научное значение этой классификации, позволяющей определить задачи и приемы критики и интерпретации источников в зависимости от их принадлежности к одному из этих двух типов.[45])

Вместе с тем, как совершенно справедливо подчеркивают В. П. Данилов и С. И. Якубовская, историку «нужно всегда помнить об условности этого разделения»[46]). Во-первых, независимо от того, относится ли данный источник к историческим остаткам или к исторической традиции, он всегда сам выступает как определенный исторический факт,

---

[43]) О роли терминологического анализа в образовании исторических понятий см. Г. М. Иванов. К вопросу об образовании социально-экономических понятий. «Ученые записки» Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева, № 31. Томск, 1959, стр. 156—177.

[44]) См. Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси. М., 1951, кн. I, стр. 170.

[45]) См. М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. I, М., 1940, стр. 7; В. П. Данилов, С. И. Якубовская. Источниковедение и изучение истории советского общества. «Вопросы истории», 1961, № 5, стр. 7—8.

[46]) В. П. Данилов, С. И. Якубовская. Источниковедение и изучение истории советского общества, стр. 8.

как памятник, свидетельствующий в той или иной форме о событиях и фактах прошлого. Поэтому историк, имеющий дело, например, с исторической традицией, передающей не сам факт, а его отражение в источнике, не должен, однако, забывать, что по этому отражению он может в какой-то мере судить и о самом отраженном факте, достоверность которого выясняется посредством всесторонней критики и интерпретации источника. Тем самым историческая традиция становится не менее важным, чем исторические остатки, источником получения достоверного фактического материала.

Во-вторых, отнесение источника к историческим остаткам или к исторической традиции в каждом конкретном случае зависит от задач и аспекта исследования. Если, например, историк исследует политику Советского государства, то для него такой источник, как решения съезда Советов, является историческим остатком, непосредственно воспринимаемым историческим фактом. Но если историк использует конкретные данные этого источника о развитии промышленности и сельского хозяйства, то перед ним уже не сам исторический факт, воспринимаемый непосредственно, а отражение факта в решении съезда Советов.[47]) Таким образом, один и тот же источник в одном отношении может выступать в качестве исторического остатка, а в другом отношении — в качестве исторической традиции.

В процессе использования письменных источников историку чрезвычайно важно установить не только степень близости источника к отраженному в нем факту, но и вместе с тем раскрыть в самом отражении источником исторической действительности интересы определенных классов.

Возникая в определенных условиях места и времени, в определенной конкретной обстановке классового общества, письменные источники не могут не отражать эти условия и эту обстановку и, следовательно, не могут не носить на себе отпечаток классовой борьбы и классовой идеологии той эпохи, в условиях которой они появились. Поскольку письменные памятники возникают в классовом обществе, постольку «с самого появления в свет письменные документальные материалы, источники являются документами классовыми, политическими, отражающими интересы определенных классов, фиксирующих классовые взаимоотношения».[48]).

Рассматривая, например, письменные источники русских феодальных архивов XIV—XV вв., советские историки раскрывают прежде всего их классовую направленность, обусловленную теми конкретными социальными условиями, в которых создавались эти источники. Каждый из этих источников, пишет Л. В. Черепнин, возникнув в определенных условиях места и времени, в обстановке классовой и политической борьбы, «носит на себе отпечаток именно этих условий, проникнут классовой направленностью и политической целеустремленностью».[49]) Поэтому духовные и договорные грамоты периода феодальной раздробленности русского государства выступают как «продукт борьбы антагонистических классов и результат внутриклассовых противоречий, как политическое орудие феодальной верхушки»[50]).

---

[47]) См. В. П. Данилов, С. И. Якубовская. Источниковедение и изучение истории советского общества, стр. 8.

[48]) В. И. Стрельский. Основные принципы научной критики источников по истории СССР, стр. 17.

[49]) Л. В. Черепнин. Русские феодальные архивы XIV—XV веков, т. I, М.—Л., 1948, стр. 5.

[50]) Л. В. Черепнин. То же, стр. 6. См. также М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. I, стр. 114—121.

Замечательным образцом классового анализа исторических источников могут служить работы В. И. Ленина. В. И. Ленин всегда рассматривал исторические источники, в частности, статистические, как документы, отражающие исторически определенные условия объективной действительности со всеми присущими ей экономическими и политическими противоречиями. В. И. Ленин считал, что статистические источники отражают не только объективные процессы экономического и политического развития, но и различные классовые интересы. Весьма показательным в этом отношении является данный им в заметке «Объективная статистика» анализ законодательных актов царского правительства. В. И. Ленин разоблачает в ней якобы «объективную» политику русского самодержавия, его якобы беспристрастие.

Он пишет: «Попробуем обратиться к статистике. Мы возьмем... не статистику тех или иных фактов общественной жизни: известно, что факты и регистрируются людьми пристрастными, и обобщаются учреждениями иногда решительно «тенденциозными» — вроде земства. Нет, мы возьмем статистику... законов», т. е. простой подсчет того, что «само правительство постановляет».[51]) Беря далее цифры из «Собрания узаконений и распоряжений правительства», издаваемого сенатом, В. И. Ленин показывает, что из 91 узаконения и распоряжения за период с 29 декабря 1900 г. до 12 января 1901 г. 60 узаконений, т. е. две трети, «посвящены самому непосредственному удовлетворению различных практических нужд наших капиталистов и (отчасти) охране их от рабочих возмущений».[52]) В. И. Ленин вскрывает здесь классовую направленность законов самодержавия не только с помощью анализа самого содержания этих законов, но и с помощью цифр, статистики. «Беспристрастный язык цифр свидетельствует,—заключает В. И. Ленин,— что по преобладающему характеру своих будничных узаконений и распоряжений наше правительство — верный слуга капиталистов...»[53])

Поскольку «источники отражают действительность сквозь призму классовых интересов»,[54]) постольку степень их достоверности и фактической ценности может быть различна в зависимости от степени близости источника к отраженному в нем историческому событию или факту. Источники поэтому могут быть более или менее объективно верным отражением прошлого, или наоборот, более или менее искаженным его отражением. Различным типам исторических источников, в большей или меньшей степени, может быть присуща такая субъективность, которая, словно кривое зеркало, искажает объективное положение вещей, противоречит историческим фактам.

Многие памятники, относящиеся к историческим остаткам, обладают большей степенью достоверности, объективности и имеют поэтому большее значение для исторического познания по сравнению, например, с некоторыми повествовательными источниками. А. И. Неусыхин пишет в связи с этим, что по сравнению с не всегда достоверными свидетельствами римских и греческих писателей III—V вв. «варварские правды имеют то огромное преимущество, что... они созданы самими... племенами, и что поэтому их данные не являются продуктом впечатлений посторонних наблюдателей».[55]) Аналогично расценивают советские историки и такой важный источник по экономической и социальной

---

[51]) В. И. Ленин. Соч., т. 4, стр. 383.
[52]) Там же, стр. 384.
[53]) Там же.
[54]) В. И. Стрельский. Основные принципы научной критики источников по истории СССР, стр. 40.
[55]) А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства..., стр. 48.

истории Киевской Руси, как «Русская Правда», которая, несомненно, дает более объективное отражение прошлого, чем, например, русские летописи. Это не значит, конечно, что «Русская Правда» лишена какой бы то ни было классовой направленности. Напротив, «Русская Правда», как отмечает М. Н. Тихомиров, «имеет яркую классовую окраску и направлена в первую очередь в защиту интересов феодального класса».[56])

Иначе обстоит дело с «субъективностью восприятия» в повествовательных (нарративных) источниках, являющихся опосредствованным отражением исторических событий и фактов. В этих источниках в большей степени, чем в других источниках, события отражены сквозь призму сознания их авторов. «В повествовательных источниках, — пишет А. Д. Люблинская, — в еще большей степени, нежели в документах или в правовых памятниках, отражены события сквозь призму сознания их авторов. Поэтому всем источникам этого типа или в большей мере (например, мемуарам), или в меньшей мере (анналам) присуща субъективность восприятия, переходящая порой в сознательное умолчание о тех или иных фактах или даже в искаженное их изображение».[57]) Характеризуя, например, русские летописи, советские историки отмечают, что в них события прошлого отражаются сквозь призму сознания летописцев, классовые симпатии которых всегда на стороне феодальной верхушки[58]). Будучи памятниками феодальной идеологии, эти летописи были «далеки от объективного изображения событий (не только фактов классовой борьбы, но и фактов междукняжеских отношений)»[59]).

Однако само по себе отнесение источника к тому или иному типу, как бы оно ни было важным, еще не определяет в полной мере степени достоверности источника. Непосредственное свидетельство об историческом факте, официальный характер документов «нисколько не гарантируют нас от неверной передачи факта»[60]). Очень часто, например, в таких официальных документах, как донесения послов иностранных государств, в юбилейных речах, в реляциях полководцев, в отчетах карательных органов царизма о революционной борьбе трудящихся, в уголовных и гражданских делах и т. п., содержались ложные сведения, не имеющие ничего общего с объективной истиной.[61]) Поэтому степень достоверности того или иного источника можно определить только с помощью тщательного конкретного анализа каждого данного источника. В каждом отдельном случае марксистская критика источника должна руководствоваться ленинским требованием о том, чтобы «за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать *интересы* тех или иных классов»,[62]) «доискиваться *классовой реальности*».[63])

Естественно, что в процессе исторического познания следует исходить, прежде всего, из анализа тех источников, в которых прошлое получило свое непосредственное выражение и данные которых не явля-

---

[56]) М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. I, стр. 70.

[57]) А. Д. Люблинская. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955, стр. 8.

[58]) См. М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. I, стр. 56—58.

[59]) Историография истории СССР, М., 1961, стр. 29.

[60]) В. И. Стрельский. Основные принципы научной критики источников по истории СССР, стр. 45.

[61]) Там же, стр. 45.

[62]) В. И. Ленин. Соч., т. 19, стр. 8.

[63]) В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 260

ются, или почти не являются, продуктом субъективных впечатлений различных наблюдателей. Это, конечно, не означает, что историк может пренебрегать источниками, относящимися к исторической традиции, без анализа которых вообще невозможно связное изложение истории. Историк должен использовать все возможные источники, относящиеся как к историческим остаткам, так и к исторической традиции[64]), помня, что различные источники взаимно дополняют друг друга. Поскольку социально-экономические, политические и идеологические отношения людей находятся в определенной связи и взаимообусловленности, в определенном отношении друг к другу, постольку и в самих исторических источниках непосредственное отражение какой-либо одной стороны общественных отношений людей отражает в той или иной степени и другие стороны этих отношений.

«Некоторые документальные и правовые источники, — пишет В. И. Стрельский,—помимо своего основного содержания, отражающего историю производительных сил и производственных отношений, содержат также важные сведения и факты политической истории. С другой стороны, в повествовательных источниках, рисующих главным образом политическую историю, содержатся некоторые данные по истории развития производительных сил, экономических отношений»[65]). М. Н. Тихомиров считает, например, что русские летописи, при всей их односторонности, должны быть признаны «основным источником политической, экономической, культурной, а отчасти и социальной истории Киевской Руси»[66]). В области социально-экономической истории летописи дополняют «Русскую Правду», которая является, как пишет М. Н. Тихомиров, «лучшим источником по экономической и социальной истории Киевской Руси, давая материал для суждения как раз о тех сторонах жизни Руси XI—XII вв., которые слабо освещены в летописи».[67]).

Такой правовой источник, как варварские правды, советские историки рассматривают не только как непосредственное отражение правовой надстройки, как часть надстройки, но и как отражение в то же время социально-экономического строя варварских племен. А. И. Неусыхин, например, рассматривая варварские правды как отражение реальных производственных отношений, замечает при этом, что как юридические памятники варварские правды переводят эти отношения «на язык права», выражают их в форме правовых норм. Благодаря этому, по варварским правдам можно изучать не только данное право, данную надстройку, которая нашла в них свое непосредственное выражение, но и сами производственные отношения, базис, породивший это право. «Право есть вид надстройки, — пишет А. И. Неусыхин, — но по этой надстройке можно и должно судить о породившем ее базисе».[68])

Историческое исследование, таким образом, должно всегда опираться на всесторонний критический анализ совокупности всех относящихся к данному вопросу источников, всех исторических фактов, нашедших свое непосредственное и опосредствованное отражение в источниках. При изучении общественных явлений, указывал В. И. Ленин, «необходимо брать не отдельные факты, а *всю совокупность* относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, *без единого* исключения, ибо

[64]) См. М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, стр. 7.

[65]) В. И. Стрельский. Основные принципы научной критики источников по истории СССР, стр. 46.

[66]) М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. I, стр. 58.

[67]) Там же, стр. 70.

[68]) А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства..., стр. 48.

иначе неизбежно возникнет подозрение, и вполне законное подозрение, в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится «субъективная» стрепня для оправдания, может быть, грязного дела»[69]).

Привлекая всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу источников, историк должен отдавать себе ясный отчет в том, на какие вопросы те или иные исторические источники могут и на какие они не могут дать ответ и в связи с этим, в связи с особенностями типов и содержания самих источников, ставить соответствующие задачи исследования, применять соответствующие методы критики и интерпретации источников. Рассматривая источники в зависимости от тех конкретных исторических условий, в которых источники были созданы, историк должен раскрыть их идейное содержание, их политическую направленность, отделив в каждом источнике объективно верные факты от их субъективных искажений под влиянием классовых интересов, отразившихся в источнике.

***

Развитие исторического познания неразрывно связано с развитием самой исторической действительности. Различные исторические события и факты по мере их возникновения и развития находят в той или иной форме свое отражение в сознании современников, являющихся очевидцами данных событий и фактов. Однако непосредственное отражение исторических событий в сознании их современников и очевидцев неизбежно ограничено тем, что для них остаются неизвестными отдаленные последствия описываемых ими событий. «При суждении о событиях и рядах событий текущей истории, — писал Ф. Энгельс, — никогда не удается дойти до *конечных* экономических причин... Ясной картины экономической истории какого-нибудь периода никогда нельзя получить одновременно с самими событиями, ее можно получить лишь задним числом, после того, как собран и проверен материал»[70]).

Указание Ф. Энгельса, конечно, не означает, что познание современной истории вообще невозможно. Наоборот, Ф. Энгельс считал, что, несмотря на неизбежные ошибки и неполноту при обобщающем изложении текущей истории, вполне возможно раскрыть внутреннюю связь рассматриваемых событий современности, понять их сущность и предвидеть тенденцию их развития.

Неизбежная ограниченность отражения текущих событий в исторической науке преодолевается по мере развития как самой исторической науки на основе совершенствование ее методов исследования и расширения круга источников, так и развития самой исторической действительности, каждый последующий этап которой позволяет глубже осветить прошлую историю. Поскольку историческая наука отражает не «ставший», а развивающийся объект познания, постольку и более полное и глубокое знание событий прошлой и настоящей истории становится возможным по мере проявления их новых, ранее неизвестных последствий. Поэтому отражение действительности в исторической науке носит по своему существу ретроспективный характер: познание идет здесь от следствия к причине, от настоящего к прошлому.

С высоты настоящего, конкретного более развитого явления легче проникнуть в тайну его прошлого, его истории. К. Маркс указывал, что

[69]) В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 266—267.

[70]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, т. I, 1948, стр. 91—92.

«только в условиях богатого конкретного развития, где одно и то же является общим для многих или для всех элементов»[71]), становится возможным создание действительно научных понятий и категорий, которые, отражая развитое состояние явления, вместе с тем позволяют проникнуть в его прошлое, из которого оно развилось. «Буржуазное общество, — писал К. Маркс, — есть наиболее развитая и наиболее многосторонняя историческая организация производства. Поэтому категории, выражающие его отношения, понимание его организации, дают вместе с тем возможность проникновения в организацию и производственные отношения всех отживших общественных форм, из обломков и элементов которых оно строится, частью продолжая влачить за собой еще непреодоленные остатки, частью развивая до полного значения то, что прежде имелось лишь в виде намека и т. д.

Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны. Наоборот, намеки более высокого у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно»[72]). Рассматривая категории буржуазной политической экономии как ключ к ретроспективному познанию античного и феодального общества, К. Маркс считал, что оброк и десятину можно понять лишь в том случае, если известна земельная рента, а она, в свою очередь, не может быть понята без капитала, хотя капитал может быть понят без земельной ренты.[73]) При этом К. Маркс подчеркивал, что, пользуясь таким ключом в целях познания, ни в коем случае нельзя стирать все исторические различия и во всех общественных формах видеть только буржуазные формы, отождествляя их со всеми другими.

Рассмотрение исторического прошлого с высоты современности вовсе не означает, как это утверждал, например, Б. Кроче, что «практические потребности, которые лежат в основе исторического суждения, придают всей истории характер «современной истории...»[74]). Такое понимание ретроспективности является характерной чертой методологии так называемого презентизма, представители которого, стирая качественные различия между прошлым и настоящим, пытаются доказать, что всякое историческое суждение переносит черты современности на прошлое и что поэтому любая история всегда является современной. Тем самым презентизм пытается теоретически обосновать всякого рода модернизацию истории прошлого[75]).

С марксистской точки зрения ретроспективное познание в исторической науке неизбежно предполагает, в силу особой сложности процесса повторяемости в историческом развитии, конкретно-исторический взгляд на прошлое, позволяющий увидеть преходящий характер социально-экономических условий, вскрыть их качественное различие на каждом этапе истории и понять тем самым своеобразие разных исторических эпох.

Руководствуясь в процессе ретроспективного познания исторического прошлого понятиями и категориями, отражающими более зрелые, конкретно, более развитые общественные формы, следует постоянно иметь в виду, что сами эти понятия и категории носят исторический

---

[71]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, изд. 2, стр. 730.
[72]) Там же, стр. 731.
[73]) См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, изд. 2, стр. 732, 733.
[74]) Benedetto Croce. History as the story of liberty. London, 1941, p. 19.
[75]) См. критику методологии презентизма в работах: А. Шафф. Презентизм — реакционная методология буржуазной историографии. «Коммунист», 1955, № 16, стр. 38—82; И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., 1959, стр. 138—142 и др.

и преходящий характер и что поэтому они выступают лишь как масштаб, как общий угол зрения, освещающий прошлое с высоты более развитых общественных отношений без всякого, однако, их перенесения на изучаемое прошлое.

Конкретно-исторический подход к ретроспективному отражению прошлого успешно применяется в марксистской исторической науке. Так, например, А. И. Неусыхин в своей монографии о возникновении зависимого крестьянства в Западной Европе, опираясь на принцип конкретно-исторического подхода к использованию социально-экономических понятий в историческом анализе, справедливо указывает, что социально-экономические отношения таких переходных периодов, в течение которых только еще складывается классовое общество, не поддаются определению и истолкованию с помощью категорий этого последнего[76]).

Исходя из этого, А. И. Неусыхин, в отличие от буржуазных историков, анализирует специфичность этих отношений без перенесения на них категорий феодального или буржуазного права. Он прежде всего показывает, что понятие «свободы» в варварских правдах существенно отличается от понятия «свободы» в феодальном обществе. Будучи историческим по своему содержанию, это понятие претерпело весьма сложную эволюцию. Смысл его не являлся равнозначным всегда и везде. Наоборот, в зависимости от разных исторических условий, это понятие имело определенное конкретное содержание.

А. И. Неусыхин показывает, что понятие «свободы» в варварских правдах имело конкретное позитивное содержание полноправия, ибо основным его признаком являлось «наличие у свободного прав владения по отношению к обрабатываемому им земельному участку и вытекающего отсюда права распоряжения имуществом (правда, в ограниченных пределах)»[77]). Таким образом, в варварских правдах собственность и свобода были неразрывно связаны друг с другом. Иначе обстоит дело с содержанием понятия «свободы» в феодальном обществе. Здесь «свобода» «обозначает отсутствие известных форм личной и материальной зависимости того или иного лица от собственника-землевладельца и становится чисто негативной (свободный — не крепостной)»[78]).

Таким образом, было бы методологически не правильно игнорировать историческую природу понятия «свободы» и механически переносить в варварские правды правовые категории, сложившиеся в условиях классового общества. Раскрывая специфичность дофеодальных производственных отношений, А. И. Неусыхин оперирует также и понятиями, заимствованными из феодального и буржуазного права (например, понятием феодальной зависимости и независимости, понятием феодальной и буржуазной собственности). Однако эти феодальные и буржуазные понятия не переносятся им механически на дофеодальный период, а выступают у него лишь как «масштаб», как такой «критерий» и «угол зрения», с помощью которого, как отражающего более развитые правовые нормы феодальной и буржуазной эпохи, легче проникнуть в сущность дофеодальных производственных отношений.

Исторический, преходящий характер социально-экономических условий как прошлого, так и настоящего, с высоты которого познается прошлое, делает каждую ступень исторического познания относительной, не окончательной. В исторической науке, как отмечал Ф. Энгельс, познание носит «по существу относительный характер, так как ограничивается выяснением связей и следствий известных общественных

[76]) А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства..., стр. 32.
[77]) Там же.
[78]) Там же, стр. 33

и государственных форм, существующих только в данное время и у данных народов и по самой природе своей преходящих. Поэтому, кто здесь погонится за окончательными истинами в последней инстанции, за подлинными, вообще неизменными истинами, тот немногим поживится, — разве только банальностями и общими местами худшего сорта, вроде того, что люди в общем не могут жить не трудясь, что они до сих пор большей частью делились на господствующих и порабощенных, что Наполеон умер 5 мая 1821 г. и т. д.»[79]).

Представители современной буржуазной методологии истории часто спекулируют на этой относительности исторического познания. Абсолютизируя момент относительности в историческом познании, они делают релятивистские выводы, отрицающие возможность получения достоверного знания об истории прошлого. Характерно при этом, что в целях доказательства они пытаются опереться на сложность структуры исторических фактов, на то, что каждое историческое событие имеет сложное строение, состоит из целого ряда других, более мелких событий, так или иначе связанных между собой. Так, например, Е. Тепп ссылается на сложность такого исторического события, как Великая Октябрьская социалистическая революция.

«Для того, чтобы иметь исчерпывающую историю русской революции, — пишет он, — мы должны принять во внимание столько опытов, сколько имелось людей, вовлеченных в этот огромный социальный катаклизм». [80]) Но так как мы не можем изучить опыт каждого, кто участвовал в этой революции, и, значит, не можем дать ее исчерпывающего исследования, то все наши знания о ней будут относительны, недостоверны. Сложность исторического факта оказывается, таким образом, непреодолимой преградой на нашем пути к познанию прошлого. Раз события сами по себе были богаче и сложнее, чем любой рассказ о них, значит «ни один исторический рассказ не может полностью охватить прошлое» и поэтому, умозаключает Е. Тепп, «сложные и разнообразные события невозможно познать»[81]).

В гносеологическом плане подобные субъективистско-релятивистские взгляды являются результатом непонимания диалектической природы исторического познания. Ошибка Е. Теппа состоит, во-первых, в том, что он не учитывает диалектику общего и единичного в познании. Для того, чтобы получить вполне достоверную историю революции, нет необходимости изучать опыт каждого, кто в ней участвовал. Историческое исследование всегда ограничено изучением лишь известных нам исторических источников, запечатлевших опыт далеко не всех участников революции. Тем не менее, изучая эти источники, историки могут воссоздать достаточно полную общую картину революции, ибо опыт того или иного ее участника, как бы ни был он индивидуален, неразрывно связан с опытом многих других и, следовательно, заключает в себе некоторые его общие и существенные черты, в которых отразилась революционная эпоха и которые дают возможность для написания правдивой истории. Во-вторых, в рассуждениях Теппа не трудно обнаружить непонимание соотношения абсолютной и относительной истины в историческом познании, непонимание, которое неизбежно ведет за собой, при незнании диалектики, как указывал В. И. Ленин, к релятивизму, в данном случае — к историческому релятивизму.

---

[79]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 90.

[80]) E. Tapp. Knowing the Past. «The journal of philosophy». N.—Y., 1958. N 11. p. 465.

[81]) Ibidem.

Конечно, одно историческое исследование или описание не может раскрыть всю сложность и полноту исторического события. Процесс исторического познания неизбежно остается незавершенным, неполным. Но при этом следует иметь в виду, что научное познание прошлого отнюдь не исчерпывается каким-либо одним историческим исследованием, а основывается на совокупности многих исследований, позволяющих осветить события прошлого во всей многосторонности и конкретности. Неполное, относительное знание о прошлом с появлением новых исторических источников превращается в более полное, абсолютное, оставаясь в то же время бесконечным незавершенным процессом.

Абсолютное следует понимать здесь не как абсолютно исчерпывающее знание мельчайших деталей и подробностей, которые не имеют значения, а как совершенно достоверное, объективно истинное знание того важного и существенного, что содержали в себе события прошлого, что составляет объективную закономерность их развития. «Сумму всех этих изменений во всех их разветвлениях, — указывал В. И. Ленин, — не могли бы охватить в капиталистическом хозяйстве и 70 Марксов. Самое большее, что открыты *законы* этих изменений, показана в главном и основном *объективная* логика этих изменений и их исторического развития...»[82]).

Таким образом, бесконечность процесса познания в исторической науке, его постоянная незавершенность вовсе не доказывают непознаваемость исторических событий прошлого. Наоборот, познание исторической действительности дает в конечном счете «не только относительные истины, но и моменты истины абсолютной, истины действительной, и бесспорной не только для данного этапа развития исторического знания, но и для всех последующих поколений историков»[83]). По мере развития исторических знаний происходит совершенствование познавательного образа, который становится все более полным и более глубоким отражением исторической действительности, позволяя тем самым более обстоятельно раскрывать сущность событий прошлого[84]).

Широкие перспективы для прогресса исторического познания открывает современная эпоха, основным содержанием которой является переход от капитализма к социализму, начатый Великой Октябрьской социалистической революцией.

Последствия этой революции, ее всемирно-историческое значение становятся с каждым годом все более ясными в связи с такими важнейшими событиями современности, как образование мировой социалистической системы, крушение системы колониализма, резкое ослабление капитализма и обострение его общего кризиса. Все эти события, вызвавшие огромные перемены в судьбах многих народов и государств, позволяют более глубоко и более всесторонне осветить всю прошлую историю человеческого общества. «С исторической вышки середины XX в., — указывается в предисловии к I тому «Всемирной истории», — яснее видны пути и тенденции развития всемирной истории предшествующих эпох, их закономерная и преемственная связь с современностью»[85]). Происходящий в настоящее время распад колониальной системы империализма позволяет в новом свете рассмотреть историю

---

[82]) В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 311.

[83]) А. И. Данилов. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ. «Средние века», в. XV, стр. 104.

[84]) Там же, стр. 105.

[85]) «Всемирная история», т. I, 1956, стр. 20.

многих народов Азии, Африки и Латинской Америки, не нашедших своего правдивого отражения в буржуазной историографии.

Новые возможности для изучения истории народов СССР открываются в связи с полной и окончательной победой социализма в СССР и вступлением нашей страны в период развернутого строительства коммунизма. С высоты победившего социализма яснее становится предшествующая история нашей родины, величественный исторический путь, пройденный советским народом под руководством Коммунистической партии от Великой Октябрьской социалистической революции до полного торжества социализма. Исключительно важное значение для освещения всей мировой истории, истории нашей страны, особенно истории советского периода, имеют такие события современности, как XX, XXI и XXII съезды нашей партии. В свете этих событий перед человечеством все более отчетливо стали вырисовываться основные объективные закономерности современного исторического процесса, неизбежно ведущие общество к коммунизму.

Опираясь на прочный фундамент марксистско-ленинской методологии истории, успешно преодолевая последствия культа личности, советские историки создали за последние годы целый ряд ценных обобщающих коллективных трудов, таких, например, как «История Коммунистической партии Советского Союза», «История СССР. Эпоха социализма», «История Великой Отечественной войны Советского Союза (1941—1945 гг.)», «История гражданской войны в СССР», «Всемирная история», девять томов которой уже вышли в свет, и др.[86]).

Поскольку ретроспективное познание исторической действительности предполагает всестороннее конкретное отображение событий современности, постольку создание полноценной истории советского общества немыслимо без глубокого изучения периода от XXI до XXII съезда КПСС, периода, представляющего собой важнейший этап в развитии советского общества, всей социалистической системы и всего мирового исторического развития. «Святая обязанность советских историков, — пишет академик Е. М. Жуков, — уделить особое внимание изучению этого замечательного периода, столь богатого крупнейшими событиями поистине переломного значения в ходе исторического соревнования двух мировых систем. Пора раз и навсегда положить конец обывательскому представлению о том, что историки должны чураться современных исторических процессов, что им якобы должно быть органически чуждо все то, что еще не успело покрыться архивной пылью»[87]).

Изучение современных исторических процессов обогащает историческую науку новыми данными, новыми теоретическими положениями, которые дают не только знание современной эпохи, но и помогают научному освещению истории прошлого. Чтобы понять прошлое, нужно хорошо разбираться в настоящем. Новая Программа КПСС, глубоко отражающая современный этап общественного развития и освещающая человечеству путь в будущее, вооружает советских историков новыми теоретическими выводами, дает им в руки надежный компас, помогающий разобраться в сложных событиях и процессах нашей эпохи, с высоты которой становится более ясным также и весь тот путь, который прошло человечество.

---

[86]) Обозрение основных результатов исследований советских историков, работающих в области истории советского общества, см. Г. Н. Голиков. На переднем крае исторической науки. «Вопросы истории», 1961, № 11, стр. 18—42; см. также Ю. В. Бромлей. Основные итоги научной деятельности учреждений Отделения исторических наук АН СССР за 1960 год. «Вопросы истории», 1961, № 3, стр. 112—130.

[87]) Е. М. Жуков. XXII съезд КПСС и задачи советских историков. «Вопросы истории», 1961, № 12, стр. 7.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 166 Серия историческая

К ВОПРОСУ О РЕЛЯТИВИСТСКОМ ИСТОЛКОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 40—50-х гг. XX ВЕКА

И. И. ШАРИФЖАНОВ

Крайний релятивизм в подходе к основным методологическим вопросам исторической науки является одним из выражений глубокого кризиса современной буржуазной историографии. Утверждение исторического релятивизма в современной англо-американской историографии явилось следствием эволюции буржуазного исторического мышления с конца XIX — начала XX века. Кризис буржуазного историзма на рубеже XIX—XX вв., тесно связанный с вступлением передовых капиталистических стран в эпоху империализма и резким поворотом буржуазии в сторону реакции в области идеологии, отразил изменения, происшедшие в исторической науке к этому времени. Под влиянием успешного развития социально-экономической истории была подорвана традиционная ограниченность буржуазной историографии изучением политической, военной и дипломатической истории; исследование экономических процессов и социальных отношений потребовало нового подхода и новых, или подновление старых, понятий, используемых в историографической практике.

Неизмеримо расширился кругозор историков: взгляд на европейскую историю, как на единственно возможную историю, изжил себя в ходе самого исторического развития, приведшего к открытию целого ряда ранее неизвестных цивилизаций. Специальные исследования в различных областях дали новое знание, не укладывающееся в существующие рамки буржуазных исторических теорий и обобщений. Кризис старых теоретико-методологических принципов и отсутствие новых для их замены поставили в буржуазной историографии под сомнение возможность истории как науки. Именно в это время приобретают широкое распространение взгляды на историю как искусство и сведение задач историка к деятельности художника, «материалом которого является не мрамор и не камень, а грубый факт».[1]) Получают свое признание иррационализм В. Дильтея и идиографизм В. Виндельбанда — Г. Риккерта, выступивших под флагом антипозитивизма.

Кризис был углублен и расширен в результате последующего хода исторического развития. Первая мировая война, Великая Октябрьская социалистическая революция в России и революции в Европе

[1]) F. J. Teggart. Theory and Processes of History. Berkeley and Los Angeles, 1941, p. 35

обнаружили полную несостоятельность буржуазных исторических теорий и политических прогнозов, усилили пессимизм буржуазных историков. На смену оптимизму и уверенности буржуазной историографии XIX века приходят разочарование и скептицизм. Либеральные и радикальные традиции английской буржуазной историографии подвергаются коренному пересмотру со стороны ее новейших представителей. Причины резкой перемены во взглядах английских историков заключались в новых социально-политических условиях, в которые была поставлена буржуазия самим ходом истории.

«Гордиться революционными достижениями, борьбой за свободу британского народа, — писал прогрессивный английский историк Эрик Хобсбоум, — даже оплакивать жалкую эксплуатацию в период ранней индустриализации в спокойной атмосфере 1880 или 1906 года было одной вещью; делать то же самое в век коммунизма, национальной и социальной революции было другой».[2]) Крушение старых исторических теорий и концепций наглядно показало относительность исторического знания, его зависимость от современных социальных сил. Без ясного понимания происходящего, без знания диалектики буржуазные историки восприняли это как невозможность самой объективной истины; следствием чего явилось распространение в буржуазной исторической науке крайнего субъективизма и релятивизма. Усвоению релятивизма буржуазной историографией в это время содействовали также новейшие открытия в физике. Переложение философией в общедоступную форму таких понятий, как имматериальная природа мира или закон как статистическая вероятность, оказало прямое влияние на буржуазную историческую мысль.

«Историк обнаруживал в некоторых случаях,—пишет Рой Николс,— что он должен видоизменить свое чувство уверенности. Он понимал, что его лелеемая объективность и научная точность были отчасти иллюзорными и что он обязан принять во внимание значение релятивизма».[3]) Отказываясь от познания объективных законов исторического развития, подходя к гносеологическим и методологическим проблемам с реакционных позиций, философия истории не могла разрешить те вопросы, которые волновали буржуазных историков. Многочисленные общеисторические работы не давали ключа к познанию истории. «Они не облегчают ношу, — говорит английский историк Ф. М. Поуик, — а только обращают внимание на бесконечную сложность. Они поднимают в наших умах все виды сомнений. Мы склоняемся к тому, чтобы восстать против вызова, который они бросают нам, и утратить наше старое чувство уверенности».[4])

Вторая мировая война, отпадение целого ряда стран от капиталистической системы, создание и быстрое укрепление мировой системы социализма явилось следующей важнейшей вехой усиления кризиса буржуазного историзма. «Именно война, — пишет Дж. Барраклоу, — открыла наши глаза на ограниченности, а в некоторых случаях и на фальсификации истории, которую мы изучали и которой мы учили»[5]). Однако, будучи не в состоянии разобраться в коренных социально-политических переменах современности, буржуазные историки приходят к отрицанию всякой преемственности в историческом развитии. «Кто бы

---

[2]) E. J. Hobsbawm, Where are British Historians Going? — «The Marxist Quarterly». Vol. 2. № 1. January, 1955, p. 16.

[3]) Roy F. Nichols, Postwar Reorientation of. Historical Thinking. — «The American Historical Review». Vol. L IV, № 1. October, 1948, p. 79.

[4]) F. M. Powicke, Modern Historians and the Study of History. London, 1955, p. 235.

[5]) G. Barraclough, History in a Changing World. Oxford, 1955, p. 9.

осмелился в таких обстоятельствах, — спрашивает Дж. Барраклоу, имея в виду новую расстановку политических сил на мировой арене, — проводить линию из прошлого через настоящее к будущему, предполагать, что политические созвездия будущего повторят на более широкой основе политические созвездия нашего европейского прошлого?»[6]).

Гигантские по своему историческому значению события, радикально изменившие мир в течение жизни одного только поколения, застали буржуазную историческую науку врасплох. «Изменения в действительной — а не книжной — истории в течение последних пятидесяти лет опережали изменения в исследовании и размышлении об истории», — признает Ф. М. Поуик.[7])

Выход из неопределенности, в которой оказалась современная буржуазная историография, многие буржуазные историки видят в отказе от каких-либо широких обобщений и усилении эмпирических изысканий. Поскольку все относительно и нет ничего абсолютного, поскольку все судится только в отношении к данному месту и к данному отрезку времени, постольку история, проливающая свет на общие проблемы общественного развития, является для этих буржуазных историков недействительной. В политическом плане это представление имеет определенную консервативную направленность.[8]) Сосредоточивая внимание на статике истории, отвергая общие теории, прослеживающие изменение и развитие человеческого общества, буржуазные историки стремятся укрепить капиталистический порядок. В осуществлении все более и более изощренной апологетики империализма находят свое воплощение требования буржуазии в области исторического познания.

Социальные корни современного релятивизма в буржуазной историографии скрываются, таким образом, в изменившемся положении господствующего класса, в растущей реакционности буржуазии, ее непримиримой борьбе с прогрессивными и коммунистическими идеями. «Почему нельзя допустить, чтобы история была научной, устанавливала законы, делала предсказания?» — спрашивает Э. Хобсбоум. И отвечает: «Потому что наиболее могущественная историческая теория, требующая выполнения этого, марксизм, доказывала, что научная история предсказывает падение капитализма и торжество социализма. Почему надо показать, что идеи и идеалы плохие вещи? Потому что они враждебны консерватизму».[9]) В борьбе с материалистическим пониманием истории современные буржуазные историки используют худшие образцы из прошлого буржуазной исторической и философской науки: поднимаются на щит воинствующий антиисторизм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, иррационализм В. Дильтея, которые являются непосредственными предшественниками современного релятивизма.

В настоящее время большое и пагубное влияние на историческую мысль в Англии и США оказывают философский субъективизм Ф. Шиллера, прагматизм У. Джемса, инструментализм Дж. Дьюи, философский презентизм с его многочисленными представителями. Несмотря на то, что уже несколько десятилетий на повестке дня буржуазной историографии стоят гносеологические и методологические вопросы исторической науки, актуальность и острота их обсуждения все более возрастает. Некоторые буржуазные историки приходят к выводу о необходимости

---

[6]) Ibid., p. 183.
[7]) F. M. Powicke, op. cit., p. 226.
[8]) См. E. J. Hobsbawm, op. cit., pp. 16, 23—24.
February, 1962, p. 45.
[9]) E. Hobsbawm, Progress in History — «Marxism Today». Vol. 6, № 2.

более широкого взгляда на историю. «Кричащей потребностью сегодня, — писал Дж. Барраклоу, — является не специализация, которая означает раздробленность, но интеграция, а это требует не просто специализированного знания, но понимание обычным историком хода европейской — а в действительности, сверх европейской — истории».[10])

Однако, не имея правильного представления об объективной закономерности общественного развития, буржуазные историки переходят к спекулятивному или иррационалистическому истолкованию исторического процесса. Требование новых теорий и концепций, соответствующих обширным и сложным проблемам, поставленным современностью перед исторической наукой, прозвучали и в выступлениях некоторых буржуазных делегатов на XI Международном конгрессе историков в Стокгольме в августе 1960 года. «Убеждение, что история направляется богом или открывает божественный план, — говорил американский историк Ф. Джильберт, — или, в секуляризованной форме, развивается согласно законам, было поколеблено; взгляд на мир, как на рациональную систему, и на его социальные образования, как на соответствующие рациональным целям, был подорван.

Наше понятие исторической истины должно принять новую форму»[11]). Несомненно, что все попытки дать в рамках идеалистического представления научную картину развития человеческого общества и ответить на вопросы современности, уже заранее обречены на провал.

В основе современного буржуазного релятивизма в области методологии истории лежит идеализм и агностицизм. Объективная история рассматривается буржуазными историками как отчуждение или порождение идеи. Различные исторические эпохи предстают как совокупность различных идей и форм сознания (политического, правового, религиозного и т. д.). Задача исторической науки в изображении развития человеческого общества заключается поэтому, с этой точки зрения, в том, чтобы проследить изменения, имевшие место в сфере идеологии и духовной деятельности. «Человеческая «эволюция» является в основном интеллектуальной «эволюцией», — писал американский историк Ф. Дж. Теггарт, — и разнообразие положения в человеческих группах в настоящее время должно быть объяснено различиями в умственной деятельности».[12])

Вследствие того, что государство и его учреждения выступают в качестве некоторого совокупного выразителя систем идей и форм сознания, они занимают в представлении многих буржуазных историков важное, если не исключительное, место. Действия того или иного правительства рассматриваются как изначальные, единственно определяющие ход исторического развития. «Правительственное вмешательство и планирование, — пишет английский историк Г. Ренир, — влияет на жизнь обыкновенных людей и заставляет ее разнообразиться от страны к стране».[13]) Будучи не в состоянии отрицать роль экономики в истории, буржуазные историки, обращаясь к изучению социально-экономической истории, представляют эту роль в чисто идеалистическом духе.

В истории, пишет Ф. М. Поуик, необходимо делать разграничение между «условиями, при которых экономический мотив, в своем более

---

[10]) G. Barraclough, op. cit., p. 20.

[11]) Felix Gilbert, Cultural History and Its Problems. — «XI-e Congrés Jnternational des Sciences Historiques. Rapports. Vol. I. Göteborg, 1960, p. 56.

[12]) F. J. Teggart, Theory and Processes of History. Berkeley and Los Angeles, 1941, p. 282.

[13]) G. J. Renier, History. Its Purpose and Method. London, 1950, p. 73.

грубом и простом выражении, считается, так сказать, само собой разумеющимся, и теми условиями, при которых его действия подчинены сознательному размышлению. В наше время мы живем непрерывно и с тревогой при последних условиях».[14]) Как далеко заходят буржуазные историки в своем стремлении выдавать исторические события в качестве творения идеального, свидетельствует требование Ф. М. Поуика, выраженное им в одной из работ, написанной в 1938 году, об исключении из рядов историков всех тех, кто считает, что идеи являются результатом исторических событий.[15])

К идеалистической интерпретации тесно примыкает представление, согласно которому история — это длинный ряд грехопадений, совершаемых человечеством. Исторический процесс изображается в нем как последовательная смена одних поколений, впавших в грех и заблудившихся в своих идеях и идеалах, другими поколениями, выступающими в первозданной чистоте. «Когда грехи и ошибки века сделали мир невозможным для жизни в нем, — писал английский историк Г. Баттерфильд, — следующее поколение, стремясь снова сделать жизнь терпимой, может быть не в состоянии найти другого пути, кроме как отказаться от лелеемых идеалов, и таким образом, может оказаться вынужденным изыскать средства к новым мечтам и целям»[16]).

Это представление имеет определенную идеологическую направленность. Оно предполагает, что в основе всех бед и несчастий, наблюдаемых в истории, лежит первородный грех, совершенный человечеством. И поскольку он никогда не может быть устраним, людям лучше не думать о политическом переустройстве мира, так как улучшение не будет носить ни всеобщего, ни продолжительного характера. В гносеологическом плане это представление открывает широкую дорогу агностицизму в истолковании истории. Работа нового поколения по восстановлению условий для жизни выступает как «творческий акт», обусловливаемый в конечном счете действием провидения, «которое обращало столько трудных положений в нашу конечную пользу».[17])

Агностицизм пронизывает взгляды даже наиболее трезвых буржуазных историков. «Мы не должны требовать и ожидать слишком многого от истории, — пишет Дж. Барраклоу, — она не является ключом к тайнам жизни; имеется много такого, что история одна не может объяснить».[18]) В истории действуют «конечные тайны», необъяснимые с точки зрения начал и причин. Разве после того, как столько было написано о причинах французской революции или Реформации, спрашивает Дж. Барраклоу, мы приблизились к объяснению этих двух великих событий? «Никакая современная проблема не является, и никогда не была, понятной с точки зрения ее начал или истории, — пишет он. — Если же они являются тем, что мы требуем от истории, мы не должны удивляться, если она обманывает нас».[19])

Крушение старых теорий и обобщений, отсутствие правильного подхода и научного критерия, сознание своего бессилия перед запросами современности является питательной средой для широкого распространения релятивизма в буржуазной историографии. Все является относительным во времени, месте и содержании. История ничему не учит и ничего не доказывает, она регистрирует то, что было. Прошлое суще-

---

[14]) F. M. Powicke, op. cit., p. 242.
[15]) G. J. Renier, op. cit., pp. 48—49.
[16]) H. Butterfield, The Whig Interpretation of History. London, 1951. p. 77.
[17]) Ibid., p. 45.
[18]) G. Barraclough, op. cit., p. 25
[19]) Ibid., p. 184.

ствует только для себя и не имеет какого-либо отношения к настоящему. Его исследование должно вестись исключительно ради него самого и посредством его собственных критериев. «Исследование прошлого, глядя одним глазом, так сказать, на настоящее, является источником всех грехов и софистики в истории».[20])

То, что историк разделен от исследуемого предмета — личности или события прошлого — каким-то промежутком времени и вследствие этого обладает знанием конечных результатов их действий, еще не дает ему право, с точки зрения этих буржуазных историков, сказать свое слово или вынести свое суждение о нем. «Мы никогда не можем утверждать, что история доказала правоту какого-либо человека в течение долгого периода времени,— говорит Г. Баттерфильд.— Мы никогда не можем сказать, что окончательный исход, последующий ход событий или время доказали, что Лютер был прав против папы или что Питт был неправ против Чарльза Джемса Фокса».[21]) Отсюда делается вывод, что в истории не должно иметь место моральное, если не вообще всякое, суждение. Это нетрудно делать по отношению к тем личностям, которые удалены от нас периодом в 100—150 лет, но как быть, спрашивает Дж. Барраклоу, по отношению к таким личностям, как Гитлер или Муссолини?[22])

Логическим следствием этого подхода является крайний эмпиризм. Историк должен вообще отказаться от каких-либо обобщений и сосредоточить свое внимание исключительно на исследовании своего специального предмета. Если в какой-нибудь момент возникает необходимость разъяснения или объяснения, все, что может сделать историк, это ввести в еще большие детали и показать предмет в еще большей конкретности. Всякая общая история, выходящая за узкие рамки специальных исследований и проливающая свет на большие промежутки времени, является недействительной, поскольку в ней нельзя достигнуть необходимой степени аккуратности. Эмпирический метод выдвигается американскими историками в качестве средства для достижения определенных политических целей. «Подобно тому, как естествоиспытатели обратились от галактик к атомам, — провозглашает Рой Николс, — так историки должны обратиться от своих националистических макрокосмосов к микрокосмосам общественного поведения»[23]).

Как после первой мировой войны,[24]) так и после второй американские историки обрушивались с критикой на тот тип исторического исследования, который в XIX веке нашел свое полное воплощение в национальной истории. Считая, что источником войн является существование национальных, независимых государств, они выступали с призывом отказаться от исследования национальных проблем и сосредоточить все внимание на конкретном изучении «наднациональной» общности. Искажая действительные причины происхождения войн, вытекающих из самой природы империалистических государств, и утверждая иллюзию об историческом единстве западного мира, этот подход служит экспансионистским планам наиболее агрессивных кругов, видящих США во главе всего мира.

Отказ буржуазных историков от создания общей картины исторического развития, от уяснения смысла истории связан также с теми затруднениями в теории и методологии, которые постоянно преследуют

---

[20]) H. Butterfield, op. cit., p. 31.
[21]) Ibid., p. 75.
[22]) G. Barraclough, op. cit., p. 7.
[23]) Roy F. Nichols, op. cit., p. 82.
[24]) F. J. Teggart, op. cit., pp. 40—50.

буржуазную историографию. При попытке представить исторический процесс в целом буржуазному историку приходится иметь дело с коренными философскими и социологическими проблемами, неразрешимыми в рамках идеалистического мировоззрения. Одной из таких проблем является отсутствие научного критерия в определении исторических периодов. Выдвигаемые буржуазными историками многочисленные точки зрения относительно общего принципа периодизации всемирной истории имеют мало общего с научным критерием. Несостоятельность попыток, например, определять исторические периоды в соответствии с изменениями в стиле искусства, или выведение общезначимого критерия исторического познания из изменения влияния, оказываемого христианством на общество, или принятие за этот критерий наследие классического мира (культурно-исторические точки зрения) очевидна для самих буржуазных историков.[25])

Не удовлетворяют современных буржуазных историков и многочисленные попытки представить развитие всемирной истории по циклам, как религиозную драму или как телеологический процесс. «Все эти большие системы, — пишет голландский историк П. Гейл, — в которых история через многие стадии приходит к какому-то концу, все равно спасительному или гибельному, не основаны на наблюдении фактов истории. Они не исходят из истории, они создаются из ума философа или пророка, охваченного энтузиазмом веры (или, как в случае со Шпенглером пророка гибели, охваченного отчаянием вследствие отсутствия веры)»[26]).

Социально-политические изменения, происшедшие в мире после двух мировых войн, буржуазные историки восприняли как подрыв самой идеи единого, прогрессивно-поступательного развития человечества. Отвергая традиционную схему разделения истории на античность, средневековье и новое время, заменяя ее «расписанием» подъема и падения цивилизаций, Дж. Барраклоу писал: «Одно дело говорить о прогрессе в пределах цивилизации, другое — говорить о прогрессе от одной цивилизации к другой цивилизации. То, что мы видим, это скорее несколько цивилизаций, каждая вдохновляемая отличным духом и каждая преследующая отличные цели, но каждая проходящая через особые фазы; и невозможно описать одну как «прогрессивную» по сравнению с другой, так как мы не имеем стандартов, чтобы утверждать, что дух одной цивилизации является более «передовым», чем дух другой».[27])

Рассматривая прошлое как нагромождение отдельных не связанных между собой событий, буржуазные историки пытаются отрицать объективную закономерность в общественном развитии. Для буржуазных историков историческая наука не может ставить перед собой цель познания объективных законов, так как последние, по их мнению, не существуют в действительности. В лучшем случае, они могут существовать в сознании историка и выступать как средство упорядочения внешнего мира, в котором царят хаос и случай.[28]) Величайшую опасность, по мнению Г. Ренира, представляет тенденция рассматривать обнаружение причин в качестве действительной цели истории, вместо того, чтобы трактовать его как «инструмент, полезный для выполнения

---

[25]) Felix Gilbert, op cit., pp. 48—52.
[26]) P. Geyl, Use and Abuse of History. New Haven, 1955, p. 36.
[27]) G. Barraclough, op. cit., p. 230.
[28]) F. J. Teggart, op cit, p. 54

задачи историка, которой является изложение особого рода рассказа»[29]).

Закон — это создаваемая историком «гипотеза», основное назначение которой является облегчение исторического познания. Поскольку он полностью зависит от индивидуальности, склонностей и предрассудков историка, он не носит объективного характера и при нежелании или при непригодности может быть отвергнут. «Закон истории, — указывает Г. Ренир, — подобно закону природы, является гипотезой более, чем обычной силы, но тем не менее, такой, которая подобно любой другой гипотезе, возможно, должна быть отброшена, если она не действует»[30]). Позитивизм извращал историю, пишет английский историк и философ Р. Коллингвуд, когда видел в раскрытии законов причинности, связывающих определенные типы исторических событий, высочайшую задачу историка. В действительности, нет такого перехода в историческом познании, как восхождение мысли историка от установления фактов к раскрытию законов, связывающих эти факты. «Исторический факт, некогда подлинно установленный, добытый путем перевоплощения мысли действующего лица в собственном сознании историка, уже объяснен. Для историка не существует различия между раскрытием того, что произошло, и раскрытием того, почему произошло» [31]).

Этот вывод, отрицающий необходимость для исторической науки раскрытие объективных законов и закономерностей в общественном развитии, логически вытекает из идеалистического представления Р. Коллингвуда о самой истории. Поскольку вся история является историей мысли, постольку историк, «перевоплощая» эту мысль в своем собственном сознании, находит причину и объяснение всей действительности. Иной причинности или закономерности не существует. Выступая против идеи исторической закономерности, буржуазные идеологи само слово закон объявляют «опасным словом»[32]).

Объектом критики современной буржуазной философии истории, выступающей против идеи исторической закономерности под флагом крайнего субъективизма и релятивизма, является позитивизм XIX века, признававший в истории действие законов причинности. Критика позитивизма «критической философией истории» конца XIX—начала XX вв. мало удовлетворяет современных буржуазных историков. Р. Коллингвуд говорит о «позитивистской манере» трактовать историю у самых крупных и известных буржуазных противников позитивизма: В. Дильтея (1833—1911), Г. Зиммеля (1858—1920), В. Виндельбанда (1848—1915) и Г. Риккерта (1863—1936). Утверждая, что они не полностью порвали с позитивизмом, Р. Коллингвуд критикует их за то, что они не решительно, не последовательно и не окончательно разделяли естественную науку и историю. «Неудача Зиммеля в создании философии истории,— пишет Р. Коллингвуд, — вызвана тем, что он не полностью освободился от позитивистской точки зрения».

Ошибка Г. Зиммеля заключалась, по мнению Р. Коллингвуда, в том, что «он недостаточно усвоил природу исторического процесса», «он смешал исторический процесс, в котором прошлое живет в настоящем, с естественным процессом, в котором прошлое умирает, когда рождается настоящее»[33]). Согласно представлению Р. Коллингвуда, природа не имеет истории, ее процессы не являются историческими,

---

[29]) G. J. Renier, op. cit, p. 181.
[30]) Ibid., pp. 221—222.
[31]) R. G. Collingwood, The Idea of History. New York, 1956, pp. 176—177.
[32]) P. Geyl, From Ranke to Toynbee. Northampton, 1952, p. 76.
[33]) R. G. Collingwood, op. cit., p. 171.

и знание о природе не является историческим знанием. Единственным условием, при котором могла бы быть история природы, является такое положение, при котором «явления природы становятся действиями со стороны некоторого мыслящего существа или существ, и мы, изучая эти действия, могли бы обнаружить, что были за мысли, которые они выражали, и мыслить эти мысли для себя.»[34]) Историческое знание, следовательно, отличается от знания о природе объектом исследования: «Мыслят не о вещах, а о самом процессе мышления».[35])

Являясь объектом исторического познания, «мысль», в отличие от «действия», являющегося ее внешним выражением, находится вне времени. «Мысль, переходя границы своей собственной непосредственности, переживает и оживает в других контекстах.»[36]). Она представляет «вечное настоящее» и оживает в процессе познания прошлого, которое ведется с двух концов: со стороны познающего субъекта и со стороны познаваемого объекта, путем «перепробуждения» самой прошлой мысли в настоящем. Это идеалистическое построение необходимо было для Р. Коллингвуда, чтобы разделить естественные науки и науки об обществе непроходимой пропастью, выделить историю в особую сферу, с особыми целями, далекими от познания объективных законов и закономерностей, предвидения и приближения будущего.

Когда В. Виндельбанд упоминает об «идиографической науке», говорит Р. Коллингвуд, он имеет здесь в виду научное, т. е. рациональное или не эмпирическое, знание единичного, но «он не понимает, что вся традиция европейской философии от древних греков до его времени в один голос провозглашала, что это знание является невозможным: единичное, как скоротечное и преходящее существование, может быть постигнуто и пережито единственно как оно имеет место; оно никогда не может быть объектом той устойчивой и логически построенной вещи, которая называется научным знанием».[37]) В истории, согласно А. Шопенгауэру, работу которого «Мир как воля и представление» для доказательства своего положения цитирует Р. Коллингвуд, отсутствует основной признак науки: субординация объектов сознания. В ней нет никакой системы, подобной той, которая существует в других науках.

Все, что она может сделать, — это представить простую координацию фактов, которые она зарегистрировала. Если наука является системой представлений, то история не выходит за рамки частного или единичного. Понимание истории как науки об индивидуальном предполагает, таким образом, «внутреннее противоречие». Это «внутреннее противоречие» и не замечает, по мнению Р. Коллингвуда, В. Виндельбанд, когда заменяет слово «Geschilchte» новым словом «Kulturwissenschaft». Эта замена рассматривается Р. Коллингвудом как уступка позитивизму. Оно вызвано, согласно ему, стремлением В. Виндельбанда в «позитивистской манере» сгладить различие между историей и естественной наукой, подводя историю к общему образцу науки.

Ясно, что подобная критика не ведет к упрочению исторической науки. Научную критику идей В. Виндельбанда и Г. Риккерта можно вести только с материалистических идейно-методологических позиций[38]). Неокантианская философско-историческая теория тесно связана с теми

[34]) Ibid., p. 302.
[35]) Ibid., p. 305.
[36]) Ibid., p. 303.
[37]) Ibid., p. 167.
[38]) См. А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии, АН СССР, 1958, стр. 58—62; И. С. Кон, философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, М., 1959, стр. 71—87; А. Шафф. Объективный характер законов истории, М., 1959, стр. 135—160.

изменениями на рубеже XIX—XX вв., которые произошли в социально-политической жизни Германии и ряда других капиталистических стран. Она явилась результатом внутреннего развития самой буржуазной историографии, имевшего своим следствием теоретико-методологический кризис конца XIX века.

Утверждая принципиальную противоположность естественных и исторических наук, неокантианцы стремились коренным образом разграничить естественно-научное познание от исторического. Разделение наук на номотетические и идиографические в гносеологическом плане связано с метафизически трактуемой проблемой соотношения противоположных понятий, в данном случае понятий общего и единичного. Научное решение вопроса соотношения этих понятий дается материалистической диалектикой. Марксистско-ленинская теория отражения исходит из признания единства противоположностей: «Противоположности (отдельное противоположно общему) тождественны: отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему»[39]).

Практически для исторической науки это означает, что, рассматривая единичное как носитель общего, отдельное историческое событие, как проявление общего хода общественного развития и признавая объективность такой связи, мы неизбежно приходим к выводу о необходимости познания, в конечном счете, при изучении конкретной исторической действительности объективных законов и закономерностей развития человеческого общества. И в этом смысле нет принципиальной противоположности между естествознанием и наукой об обществе. Но Р. Коллингвуду чуждо материалистическое понимание истории. По его собственному признанию, учение К. Маркса не убеждало его.

Отрицание объективной закономерности в общественном развитии приводит Р. Коллингвуда к релятивизму. Не видя объективного критерия исторического прогресса, он приходит к убеждению, что мы не можем сказать прогрессивно или не прогрессивно развитие, так как «все ценности», которыми определяется прогресс в истории, «кажутся просто относительными».[40]) Он резко критикует теории, признавшие прогресс в истории.

«Старая догма единого исторического прогресса, ведущего к настоящему, и современная догма исторических циклов, т. е. составного прогресса, ведущего к «великим векам», а затем к упадку, являются, таким образом, простой проекцией невежества историка на экран прошлого».[41]) Единственно, где имеет место действительно прогресс, с точки зрения Р. Коллингвуда, это — в историческом познании. Он может выражаться только в «терминах» мысли: если те проблемы, которые мысль не разрешила на первой фазе, разрешаются на второй без потери того, что было достигнуто на первой фазе, тогда имеется прогресс. «Согласно этому определению, было бы излишним спрашивать, проявляет ли какой-нибудь период истории, взятый в целом, прогресс по сравнению с предшествующим»[42]).

Отрицание или сомнение в прогрессивности исторического процесса свойственно и американской буржуазной историографии. Две мировые войны, общий кризис капитализма сыграли решающую роль во взглядах американских буржуазных историков по этому вопросу. «Оптимизм относительно «прогресса цивилизации», — говорил Сидней

[39]) В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 38; стр. 359.
[40]) R. G. Collingwood, op. cit., p. 322.
[41]) Ibid., p. 328.
[42]) Ibid., p. 329.

Фей, — получил жестокий удар от войны 1914—1918 годов, тревожных лет безработицы и депрессии, провала Лиги Наций и страшных ужасов и ненависти второй мировой войны и ее последствий.»[43]) Уже вскоре после первой мировой войны подвергаются критике историки, придерживавшиеся во взглядах на историю дарвиновской теории прогрессивно-поступательного развития. «Действительность, — заявляет Ф. Дж. Теггарт, — не дает никакого основания для оптимистического философствования»[44]).

Характерной чертой развития последних 50—60 лет, говорит С. Фей, является неравномерность прогресса в различных сферах человеческой деятельности. «Громадный материальный прогресс не сопровождался сколько-нибудь соответствующим продвижением в других областях. В сферах творческой деятельности немногие обнаружат, что это был период больших достижений. Напрасно искать выдающихся гениев в музыке, поэзии, живописи или скульптуре. В моральных и духовных вопросах миллионы людей, потеряв силу и руководство, которые они обычно черпали из учений традиционной церкви, являются морально пассивными и духовно равнодушными»[45]). Научно-техническое развитие намного опережало социальное развитие людей. И последствия этого несоответствия были самыми разрушительными для человечества. «Идея прогресса сегодня, — делает вывод С. Фей, — провозглашается менее уверенно, чем в оптимистические дни одного или двух предшествующих поколений»[46]).

Современная буржуазная историческая и философская мысль пытается подорвать материалистический детерминизм в истории не только путем отрицания закономерности в общественном развитии, но и с помощью новых теорий исторического процесса. Разработкой приемлемых для империалистической буржуазии общих взглядов на историю занимаются как историки, так и философы и социологи. Отказываясь от познания объективных законов исторического развития, эти «строители системы» создают искусственные, априорные схемы и законы, под которые подгоняется действительная история. С подобной попыткой обосновать новый взгляд на историю выступил английский историк и социолог Арнольд Тойнби (род. в 1886 г.).

Его многотомное «Исследование истории», начавшее издаваться с 1934 года, производит большое впечатление на западных читателей и вызывает самые разнообразные отклики со стороны буржуазных ученых и историков. Можно различить два основных направления в оценке усилий А. Тойнби. Буржуазные историки, стоящие на почве эмпиризма и агностицизма, скептически относятся к попытке А. Тойнби представить исторический процесс в целом и подвергают резкой критике его многочисленные искажения в специальных областях исторического знания. Касаясь очередных четырех томов, законченных А. Тойнби к 1955 году, П. Гейл не возражает против того, что они представляют грандиозное зрелище, однако «не история продиктовала ему это зрелище, — пишет он, — а его страсть к единству, страсть — в основном враждебная истории, хранительнице частного»[47]). Противоположная оценка усилия А. Тойнби исходит со стороны тех буржуазных историков, которые чувствуют настоятельную необходимость для современной

---

[43]) Sidney B. Fay, The Idea of Progress. — «The American Historical Review». Vol. L II, No. 2. 1947, p. 240.
[44]) Teggart, op. cit., p. 306.
[45]) Sidney B. Fay, op. cit., p. 244.
[46]) Ibid., p. 246.
[47]) P. Geyl, Use and Abuse of History. New Haven, 1955, p. 66.

буржуазной историографии более широкого взгляда на историю. «Как бы строго мы не могли судить частные реконструкции Шпенглера или Тойнби, — пишет Дж. Барраклоу, — они остаются значительными как первая положительная реакция в историографии против крайностей историзма. По крайней мере, они указывают путь из того тупика, наличие которого признают наиболее ответственные историки»[48]).

В своем представлении об истории А. Тойнби исходит из мысли, что вся история человечества развивается в пределах различных, но «равноценных» цивилизаций, существующих с философской точки зрения «одновременно». Цивилизация, являющаяся основной исторической единицей в системе А. Тойнби, отличается от государств или наций как по своей структуре, так и по размерам и продолжительности. Основой всякой цивилизации является общность культуры, понимаемой в широком смысле. Каждая цивилизация проходит определенный цикл развития: зарождение, рост, упадок, разложение и гибель. Из сравнения различных цивилизаций и их историй выводятся общие законы развития: «толчок и энергия», которым объясняется появление цивилизаций, «вызов и ответ», общий закон движения, «уход и возвращение», регулирующий закон и т. д.

А. Тойнби допускает влияние материального фактора (природные условия и техника) на развитие человеческого общества, однако, он не считает его определяющим ход истории. В исследовании истории в целом, по мнению А. Тойнби, необходимо «поставить экономическую и политическую историю в подчиненное положение и дать первенство религиозной истории»[49]). Движущей силой истории по-прежнему остается духовный фактор. Историю А. Тойнби объявляет осуществлением божественной идеи. Люди могут только приблизиться через интуицию и озарение к пониманию божественной истины. Творцом истории в пределах божественного плана является только «творческое меньшинство», великие личности, масса же способна лишь к «подражанию».

Таковы важнейшие черты исторической концепции А. Тойнби, направленной своим острием против материалистического понимания истории. В противовес «немецкому априорному методу» своего прямого предшественника О. Шпенглера А. Тойнби выдает свою систему и метод за основанные на «английском эмпиризме». Однако уже буржуазным историкам-специалистам было ясно, что система и метод А. Тойнби не исходят из конкретной истории. В лекции «Еще раз Тойнби «Эмпиризм или априоризм?» П. Гейл показывает несостоятельность метода «Вызова и ответа» при объяснении, например, ранней истории Северной Америки.

Допущенное здесь искажение исторической истины, делает вывод П. Гейл, не является случайным, это только «один пример бесчисленных ошибочных аргументов и ложных заключений, из которых составлена вся книга»[50]). Разбирая предлагаемые А. Тойнби пути познания в истории через научный и религиозный опыт, либеральный английский историк вынужден признать, что история А. Тойнби — «это не история, как Фукидид или Ливий, Гиббон или Сорель, Мишле, Моммзен или Ранке представляли ее; она является записью действий не людей, но бога, функцией не политической науки, психологии или социологии, но метафизики и теологии»[51]).

---

[48]) G. Barraclough, op. cit., p. 16.

[49]) A. J. Toynbee, The Unification of the World and the Change in Historical Perspective. — «History». Vol. XXXIII. 1948, № 117—118, p. 26.

[50]) P. Geyl, From Ranke to Toynbee. Northampton. 1952, p. 75.

[51]) Leonard Woolf, What is History? — «The Political Quarterly». Vol. XXVI, № 3. July — September, 1955, p. 223—224.

Последовательную критику исторической концепции А. Тойнби можно вести только с материалистических идейно-методологических позиций.[52]) Изображение исторического процесса А. Тойнби отвечает насущным потребностям современной буржуазии в области исторического познания. Своим острием оно направлено против идеи закономерного, поступательного развития человечества. Сравнение существования человеческого общества со всей жизнью на земле, объединение прошлого и настоящего перед лицом далекого будущего человечества были необходимы А. Тойнби для отрицания восходящего, прогрессивного развития человеческого общества. Искажение действительного исторического процесса обусловлено самой задачей, которую А. Тойнби взял на себя, — защита старого, уходящего с исторической арены мира.

Хотя история А. Тойнби включает многие и неевропейские народы и тем самым как бы выходит за рамки узкого европоцентризма, на неевропейские цивилизации А. Тойнби смотрит глазами ярого приверженца западной культуры, с сознанием ее превосходства и предначертанной богом цивилизаторской миссии.[53]) Требованием, предписываемым им историку, является «исследовать нашу историю, не ради нее самой, но ради той роли, которую запад сыграл в объединении человечества».[54]) Порочность идеалистических спекуляций А. Тойнби заключается в игнорировании научного метода познания объективной действительности, в стремлении подменить действительные законы истории вымышленными, априорными.

Уходом в область иррационального, мистического А. Тойнби освобождает себя от необходимости строго научного доказательства своих концепций и объяснения избранных им принципов при отборе фактического материала. Его идеи, в конечном итоге, можно принимать только на веру. Требование исторического подхода к отображаемой действительности полностью игнорируется А. Тойнби. Сравнительно-исторический метод познания, который является основным методологическим принципом в системе А. Тойнби, превращается у него в метод аналогии, с самыми сверхъестественными параллелями, без учета времени и места. Историческая точка зрения А. Тойнби почерпнута им из старого теоретического арсенала буржуазной исторической науки: идеи «исторического круговорота» совмещаются с воскрешенными героистическим и теологическим взглядами на историю. Ясно, что исследование, предпринятое А. Тойнби на базе таких идейно-методологических принципов, не могло привести его ни к чему другому, кроме как к грубому искажению объективной исторической истины.

«Опус Тойнби, — писал Е. А. Косминский, — это не история, не наука, а теолого-метафизическая фантазия на тему о судьбах человечества

---

[52]) В марксистской историографии и философской литературе историческая концепция А. Тойнби подверглась тщательному анализу и критике в целом ряде работ: Э. А. Араб-оглы. Философия истории Арнольда Дж. Тойнби, «Вопросы философии», 1955, № 4, стр. 113—121; его же: К критике культурно-исторической концепции Арнольда Тойнби, «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 4, стр. 3—21; его же: Концепция исторического круговорота, сб. «Исторический материализм и социальная философия современной буржуазии». М., 1960, стр. 153—197; Е. А. Косминский. Историософия Арнольда Тойнби, «Вопросы истории», 1957, № 1, стр. 130—140; его же: Реакционная историософия Арнольда Тойнби, — сб. «Против фальсификации истории», М., 1959, стр. 57—139; И. С. Кон, Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, М., 1959, стр. 276—293; А. Шафф, Объективный характер законов истории, М., 1959; стр. 279—284; 329—337.

[53]) A. J. Toynbee, op. cit., p. 14.

[54]) Ibid., p. 26.

на земле... фантазия, местами занимательная, но с точки зрения науки совершенно бесплодная»[55]), «более того, вредная».[56])

Исторический релятивизм не остается только в сфере «чистого» теоретизирования, но в той или иной мере влияет на конкретную историографическую практику. Это влияние имеет крайне отрицательные последствия для познания исторической истины. Так обстоит дело, например, с общей трактовкой и оценкой французской буржуазной революции 1789—1794 гг. Питером Гейлом. Искажение истории французской революции, которая своим «плебейским способом» расправы с феодально-абсолютистской монархией наводит страх на современную буржуазию и разбивает всякие иллюзии о возможности бескризисного, эволюционного развития, приобретает для буржуазных историков наших дней особый смысл.

Французская революция конца XVIII века, открывшая «историческую полосу ликвидации феодализма и торжества капитализма»,[57]) оказала громадное влияние на судьбы исторического развития Европы. «Революции» 1648 и 1789 годов, — писал К. Маркс, — не были английской и французской революциями; это были революции европейского масштаба.»[58]) И вершиной этой революции было установление якобинской диктатуры. «Историки пролетариата, — писал В. И. Ленин, —видят в якобинстве один из высших подъемов угнетенного класса в борьбе за освобождение».[59]) Французская революция явилась закономерным итогом всего предшествующего развития Франции по пути к капитализму.

В картине французской революции, созданной П. Гейлом, нет именно места признанию закономерности этого события. Давая общую оценку революции, он изображает ее как «революцию против истории»[60]). На вопрос, что он понимает под «соответственными правами истории и революции», П. Гейл отказывается дать прямой ответ. Тем не менее ясно, что применительно к французской революции П. Гейл стоит на традиционной консервативной точке зрения в буржуазной историографии. Ее идейным источником является представление об историческом процессе романтической школы в Германии первых десятилетий XIX века. В основе этого представления лежало понятие органического единства, охватывающего всю социальную жизнь и связывающего невидимыми нитями настоящее поколение с предшествующими. История представлялась, как действие медленных органических сил, которых невозможно отрицать или игнорировать. Всякое насильственное нарушение устанавливаемого высшими силами единства носило бы неоправданный и пагубный характер.

Открытие этого органического единства немецкими историками было, по мнению П. Гейла, «великим сокровищем, которое искали в истории»[61]). Революция носила «законный» характер, пока она выступала против злоупотреблений, но когда «движение, предавшись своей собственной страсти и силе, обрушилось не только на злоупотребление,

---

[55]) Е. А. Косминский. Историософия Арнольда Тойнби. Вопросы истории, 1957, № 1, стр. 138.

[56]) Е. А. Косминский. Реакционная историософия Арнольда Тойнби, сб. Против фальсификации истории. М., 1959, стр. 110.

[57]) Е. М. Жуков. О периодизации всемирной истории, Вопросы истории, 1960, № 8, стр. 26.

[58]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, стр. 115.

[59]) В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 25, стр. 102.

[60]) P. Geyl, Use and Abuse of History. New Haven, 1955, p. 22.

[61]) Ibid., p. 30.

но и самую историю, оно стало бедствием».[62]) История здесь отождествляется с «устойчивыми» социальными институтами и порядками, порожденными разными формами частнособственнических отношений; эти формы могут, с точки зрения П. Гейла, медленно изменяться, но сам принцип частной собственности должен оставаться неприкосновенным. Не удивительно, что автор характеризует период правления якобинцев, как «ужасную тиранию диктатуры меньшинства», в то время как переворот 1688 года в Англии у него фигурирует, как «славная» революция, поставившая своей целью устранить тирана и позаботиться об «исторических» правах и прецедентах.

Столь характерное для английской буржуазной историографии противопоставление классового компромисса 1688—1689 гг. французской революции не носит сколько-нибудь правомерного характера. В одном случае мы имеем дело с верхушечным, узкоклассовым переворотом, являющимся самим по себе «сравнительно незначительным событием»[63]), в другом — с действительно массовым и революционным движением, оказавшим большое влияние на исторические судьбы народов Европы.

Враждебно относясь к республике и якобинской диктатуре, П. Гейл превратно представляет и внешнюю политику Франции в этот период. Не проводя различий между революционными освободительными войнами Франции в 1792—1794 гг. и поработительными, захватническими войнами Наполеона, он в том и другом случае приписывает им агрессивные стремления «принести новое евангелие спасения всем нациям». Такое утверждение противоречит объективной истине. В действительности, между войнами революционной Франции и войнами Наполеона существует принципиальное различие. «Войны великой французской революции, — говорит В. И. Ленин, — начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционными: защита великой революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистские, породившие в свою очередь национально-освободительные войны против империализма Наполеона»[64]).

Попытка П. Гейла представить французскую революцию не как закономерное событие, явившееся следствием противоречия между объективным ходом исторического развития французского общества по пути к капитализму и феодально-абсолютистским режимом, а наоборот, представить ее как событие, противоречащее самой истории и не имеющее никакой объективной необходимости, служит определенной классовой цели, и этой целью является — устранить из сознания масс самую идею революции. П. Гейл приходит в ужас от одного только упоминания революции. Сравнивая «царствование Террора» во Франции с судьбами «националистического фанатизма» в Германии и «марксистского фанатизма», утвердившегося якобы в результате Октябрьской революции в России, — пишет П. Гейл, — приходишь к выводу, что «разум усиливает себя историей только для того, чтобы привести к подобным результатам»[65]).

---

[62]) Ibid., p. 22.

[63]) Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в 2-х томах, т. II, 1955, стр. 95.

[64]) В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 22, стр. 295.

[65]) P. Geyl, op. cit., pp. 43—44.

Этот отказ историка дать объективное отражение закономерного хода исторического процесса, диктуемый классовыми интересами буржуазии, и ведет его к релятивизму в области конкретной интерпретации истории.

Решающее значение для раскрытия научной несостоятельности спекулятивных конструкций современных буржуазных историков имеет марксистская методология. Открытое К. Марксом в середине XIX века материалистическое понимание истории, свободное от мистики и априоризма предшествующих теорий и опирающееся на действительные законы исторического развития, является твердой научной основой познания общественных явлений. Обращая внимание на способ производства материальной жизни людей и выделяя из всех общественных отношений производственные отношения, как «основные, первоначальные, опередяющие все остальные отношения»[66]), марксизм устраняет всякую возможность для объяснения общества и существующих в нем отношений современными ему идеями. С образованием понятия общественно-экономической формации как результата анализа материальных отношений человеческого общества социальная наука приобрела «объективный, общенаучный критерий повторяемости»[67]) и тем самым была показана несостоятельность всякого рода произвольных «принципов» в определении природы отдельных исторических эпох.

Рассматривая развитие общества как естественно-исторический процесс, т. е. как последовательную смену общественно-экономических формаций, раскрывая объективные законы в общественном развитии, марксизм показывает исторически преходящий характер капиталистических отношений, неизбежность их замены более высокими общественными отношениями, а отсюда — обреченность на неудачу всех теорий и исторических точек зрения, отказывающихся от познания объективных законов, стремящихся с помощью гносеологических спекуляций и извращений создать иллюзию о вечности капитализма. Исходя из представления исторического развития как неотвратимого прогрессивного движения от низшего к высшему, марксизм приходит к признанию неизбежности социальной революции. «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями... Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции»[68]). Теория марксизма, указывал Ф. Энгельс, явилась «революционизирующим открытием» не для одной только политической экономии, а для всех исторических наук.[69]) Суть переворота, совершенного марксизмом в области историографии, заключается, следовательно, в создании научного метода познания объективной действительности, в постановке истории на научную теоретико-методологическую основу. Именно это и пытается всячески исказить буржуазная историография.

Трудности исторического познания, связанные со специфичностью предмета исторического исследования, социальная обусловленность отношения исследователя к этому предмету, неполнота или ограниченность достигнутого уровня знания используются современными буржуазными историками, стоящими на почве идеализма и агностицизма, для отрицания познаваемости исторического прошлого. Исходя из невозможности в исторической науке непосредственного общения с объектом

[66]) В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. I, стр. 120.
[67]) Там же, стр. 390.
[68]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т, 13, стр. 7.
[69]) Там же, стр. 491.

исследования, который может быть отделен от исследователя большим периодом времени, и зависимости исторического познания от письменных источников, составленных в прошлом людьми, ставившими перед собой цели, неизвестные исследователю, буржуазные историки приходят к сомнению в возможности вообще достижения объективно верных результатов.

«Излишне говорить, — пишет Ф. Дж. Теггарт, — что даже при самых благоприятных условиях большая степень неуверенности должна быть связана с исследованиями, сконцентрированными на действиях людей, излагаемых личностями, об отношении которых к этим действиям мы можем только догадываться, описываемых языком, который не дает возможности воспроизвести мысленные образы, имевшиеся в уме наблюдателя».[70]) Поскольку все историческое познание носит субъективный характер, — как складывающееся из последовательного ряда субъективных сообщений людей прошлого и историков настоящего, — попытки делать обобщение в истории или выводить из нее уроки значило бы, по мнению этих буржуазных историков, заниматься самообманом. В исследовании прошлого, говорит Г. Ренир, «мы должны признать, что к нашей собственной субъективности добавляется субъективность нашего осведомителя

Если, с другой стороны, мы имеем дело с событиями, которые мы сами извлекли из остатков, обнаруженных собственным исследованием, наша область будет очень ограничена. Как правило, наш индивидуальный «вклад» в знание остается слишком индивидуальным и слишком узким, чтобы оправдать обобщения и стремление делать выводы»[71]). Отсюда с неизбежностью следовало признание крайнего релятивизма и полное отрицание объективной истины в историческом познании. А. Ф. Поллард, по мнению Г. Ренира, обнаруживал «здоровый прагматизм», когда писал: «Истина, которая имеет дело с конкретным, всегда относительна; абсолютная истина — это абстрактный идеал, не достигаемый в практических человеческих делах и, следовательно, не достижимый в их истории»[72]). В познании историк не может претендовать на то, чтобы дать «заслуживающего доверия отражения прошлого »[73]).

Познание исторического прошлого рассматривается буржуазными историками как единственная и исключительная задача историка. Не видя в объективной истории преемственности и повторяемости, буржуазные историки отвергают какую-либо возможность научного предвидения в исторической науке. «История не может повторяться, — заявляет Г. Ренир, — историк не может пророчествовать»[74]).

Проблема исторического факта занимает важное место в теории исторического познания современных буржуазных историков. Современному историку приходится иметь дело с обширной массой накопленного материала и во многом более сложными явлениями, чем это было в прошлом. Не обладая объективным критерием для того, чтобы разобраться во всей этой массе возросшего материала, не имея ясного представления о коренных изменениях, происшедших в мире, современный

---

[70]) F. J. Teggart, op. cit., p. 31.
[71]) G. J. Renier, op, cit., p. 236.
[72]) Ibid., p. 152.
[73]) Ibidem.
[74]) Ibid., p. 225. Р. Коллингвуд: «Историк никогда не пророчит», — op. cit., p. 68. См. также, pp. 54—55; Дж. Барраклоу: «Историк занимается тем, что случилось, а не тем, что может (или, более вероятно, не может) случиться», — op. cit., p. 203. См. также, p. 183.

буржуазный историк приходит к выводу о непостижимости действительного исторического факта. «В наше время, во всяком случае, — пишет П. Гейл, — громадное большинство работающих историков сознает, что несомненный факт в истории — вне досягаемости человеческого ума».[75]) Историк, пожелавший установить или просто проверить исторический факт, говорит Ф. М. Поуик, сталкивается с длинным, тщательно разработанным процессом, в котором знание истории оказывается выведенным из вторых, третьих, четвертых и т. д. рук. Действительный исторический факт исчезает. История выступает как ряд общепринятых суждений, а «то, что мы называем историческими обобщениями, является суждениями о суждениях»[76]). В условиях кризиса буржуазного исторического мышления мысль об исчезновении исторического факта настойчиво стали проводить американские презентисты (Ч. Бирд, К. Беккер).

Представление об историческом методе историков-позитивистов XIX века подвергается в наше время острой критике. Если историки-позитивисты, различая два рода деятельности исторической науки: установление фактов (эмпирическая история) и обобщение и раскрытие законов, связывающих эти факты (научная история), считали второй род деятельности наиболее важным по значению, то начиная с первых десятилетий XX века, буржуазные историки коренным образом меняют свой взгляд, концентрируя внимание исключительно на первой стадии исследования, рассматривая обобщение и установление закономерностей делом, в лучшем случае, не профессионального историка, а социолога. Деятельность историка, говорит Ф. Дж. Теггарт, начинается с документов и там, где они отсутствуют, его занятия приходят к концу[77]).

На второй ступени историк представляет результаты своего исследования в форме повествования. Однако повествование не является простым изложением того, что «действительно было», оно не является ни фотографией, ни литературным пересказом источников. Историк — не аналист; к данным, извлекаемым из исследования документов, он добавляет свое понимание фактов, свои выводы, свою философию истории и жизни. На первой ступени историк выступает как научный исследователь, на второй — как историограф. Как исследователь, он следует за документами, за фактами; как историограф, он следует за своими склонностями.

Следовательно, беспристрастным и правдивым историк может быть только в предварительных исследованиях, когда же он обращается к представлению своих результатов в повествовательной форме, он становится художником, отправной точкой которого является идея, абстрактный принцип, интуитивное понимание. Правдивость, объективность и беспристрастие, на которых основывала история XIX века свое требование научного представления факта, «являются сами по себе просто потребностями историографического искусства»[78]).

Правильно указывая на тесную связь в исторической науке между научным исследованием и литературным изложением результатов исследования, Ф. Дж. Теггарт в то же время неправомерно, метафизически разделяет эти два рода деятельности историка, абсолютизируя последний.

Литературное оформление выступает у него как самостоятельная и независимая часть работы историка. В действительности же она пол-

[75]) P. Geyl. Use and Abuse of History. New Haven, 1955, p. 61.
[76]) F. M. Powicke, op. cit., p. 231.
[77]) F. J. Teggart, op. cit., pp. 72—74
[78]) Ibid., p. 38.

ностью подчинена историческому исследованию и не выступает сама по себе, в отрыве от характера и целей исторического исследования. Субъективный элемент, действительно, имеет место в историческом исследовании, но он не носит также абсолютного характера. Он может исказить объективную истину лишь в тех случаях, когда историк либо сознательно поставил перед собой цель извращения объективной истины, либо он опирается в своих исследованиях на порочные идейно-методологические принципы.[79])

Резкой критике позитивистские представления подвергает Р. Дж. Коллингвуд, по мысли которого нет такого разделения деятельности историка, как установление фактов и раскрытие законов, связывающих эти факты.[80]) Поскольку, с его точки зрения, исторические факты являются результатом умственной деятельности, то историк, перевоплощая в своем уме «мысль» людей в прошлом, освобождает себя от необходимости установления причин и следствий в историческом процессе. Установленный историком факт уже объяснен.

Вся эта критика позитивистских представлений XIX века преследует одну цель — изгнание из исторической науки задачу установления и раскрытия законов общественного развития.

С прагматической точки зрения истолковывает проблему факта в историческом познании Г. Ренир. По его мнению, разграничение исторических фактов на важные и неважные не зависит от личности или индивидуальных склонностей историка. Оно зависит от их использования: оно является прагматическим.[81]) Факты, действительно, могут рассматриваться как важные или неважные в зависимости от того, в каком контексте они используются. Но всякий исторический факт, кроме того, имеет определенную объективную значимость, которую историк может установить или раскрыть, но не создать. Попытки преувеличить или преуменьшить объективную значимость того или иного исторического факта ведут к искажению объективной исторической истины.

Так, склонность многих английских буржуазных историков выдавать классовый компромисс 1688—1689 годов за великое историческое событие означает искажение объективной истины, так как, в действительности, мы имеем здесь дело с верхушечным, узкоклассовым переворотом. В своем разграничении исторических фактов на важные и не важные историк не может игнорировать их значимость для тех или иных сторон объективной действительности. Однако Г. Ренир не мог удержаться даже на этой «прагматической» позиции, перейдя в последующих рассуждениях к субъективистскому и релятивистскому толкованию категории исторического факта. «Историк, — пишет он, — располагает большим количеством событий. Среди них он должен отобрать те, которые будет использовать, и то, что будет отобрано, привести в порядок. В этих действиях историк должен руководствоваться своей личностью, своими взглядами, своими теориями»[82]).

---

[79]) По мнению Дж. М. Тревельяна, историк совмещает в себе ученого, художника и философа. Если, устанавливая факты, историк выступает как ученый, то выводы из них он делает, выступая уже в роли философа. «Каждый из нас, — говорил Дж. М. Тревельян, — когда составляет какое нибудь самое скромное мнение об историческом вопросе, делает это не как ученый, не как художник, но как философ, мудрый человек». Здесь тоже стремление отрицать научность исторических обобщений. См. G. M. Trevelyan, Bias in History. — «History». March, 1947. Vol. XXXII, No 115, pp. 1—15.

[80]) R. G. Collingwood, op. cit., pp. 176—177.

[81]) G. J. Renier, op. cit., p. 95.

[82]) Ibid, p. 170.

Представляя прошлое как груду ничего не говорящих исторических фактов, буржуазные историки приходят к выводу, что «история — это все для всех. Она на службе хороших дел и плохих»[83]). Отрицая возможность объективной истины в исторической науке, скептически относясь к историческим обобщениям, как предназначенным только для удовлетворения практических потребностей данного поколения, буржуазные историки требуют, чтобы каждое новое поколение переписывало историю заново.[84])

Касаясь вопроса о соотношении естественнонаучного и исторического познания, буржуазные историки ставят вопрос о существующем между ними различии. Познание общества является гораздо более трудным делом, чем познание природы. В предисловии к первому немецкому изданию первого тома «Капитала», указывая в качестве одной из причин, почему в течение более чем 2000 лет человеческий ум не мог постигнуть самую по себе «очень бессодержательную и простую» форму стоимости, К. Маркс писал, что «при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции»[85]).

Однако из существующего различия между естественнонаучным и историческим познанием буржуазные историки делают выводы, направленные на отрицание возможности в истории объективной истины и на ликвидацию истории как науки. «Почти во всех науках, — пишет Г. Ренир, — эксперимент является неотъемлемой частью процесса, во всех них имеется предсказание и его проверка последующим наблюдением. Но... историк никогда не может предсказывать. Отсюда ясно, что историю нельзя назвать наукой, даже после того, как мы уточнили наше понятие науки».[86]) Из ложной посылки, что на основе изучения истории нельзя предвидеть будущее, делается, следовательно, ложный вывод, что история не является наукой.

Проводя различие между естественнонаучным и историческим познанием, П. Гейл подразумевает, что в первом случае возможно достижение объективной истины и раскрытие законов и закономерностей, во втором же — такая возможность отсутствует. В истории, пишет он, «наблюдатели всегда будут обозревать с незначительно (или значительно) различных точек зрения, и едва ли можно рассчитывать на единодушие между ними»[87]). Не обладая научным критерием, П. Гейл не может выделить из всех существующих точек зрения объективно верные: они все сосуществуют у него, как равноправные. Поэтому объективная истина становится практически недостижимой. Этот взгляд разделяется и некоторыми другими буржуазными историками.

Так, по мнению Дж. М. Тревельяна, «имеются некоторые большие исторические темы, от которых лучшее, что мы можем ожидать, есть равновесие расходящихся мнений, так как люди отличаются друг от друга умственным складом, политическими и религиозными убеждениями. Например, относительно развития христианства мы никогда не сможем достичь полного соглашения»[88]). Отрицательно решается вопрос и о необходимости для историка познания более общих связей и закономерностей в объективной действительности. То, к чему в отдельных случаях историки могут прийти, пишет П. Гейл, являются «общие зак-

[83]) H. Butterfield, op. cit., p. 131.
[84]) См. F. J. Teggart, op. cit., pp. 15—16, 19, 40; H. Butterfield, op. cit., p. 92; G. J. Renier, op. cit., pp. 25—26, 120.
[85]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 6.
[86]) G. J. Renier, op. cit., p. 154.
[87]) P. Geyl, From Ranke to Toynbee. Northampton, 1952, p. 76.
[88]) G. M. Trevelyan, op. cit., p. 6.

лючения», но даже они «никогда не будут абсолютно действительными». В более поздней работе П. Гейл не изменяет своего взгляда: «Самое большое, на что мы можем надеяться, — пишет он, — есть частичное изображение, приближение к действительной истине о прошлом»[89]). В конце концов он приходит к тому выводу, который он сформулировал в книге «Наполеон: за и против»: «История есть «спор без конца»[90]).

Вопрос о достижении объективного знания ставится П. Гейлом в этой работе в зависимость от субъективного характера самого исторического познания. Установить голые факты, пишет он, это только первая ступень в исследовании. Если же историк хочет оценить или понять, он должен использовать свой материал, выбирая из него, приводя его в порядок и объясняя его. Делая таким образом, он «вынужден будет внести элемент субъективности, то есть он будет искажать или умалять абсолютную, неизменяющуюся истину»[91]). Вопрос о том, с каких идейно-методологических позиций подходит тот или иной историк к объяснению своего материала, каким он руководствуется критерием и интересы какого класса он отражает, — этот вопрос не принимается во внимание П. Гейлом.

Он исходит из того абстрактного принципа, что во всяком познавательном процессе общественных явлений неизбежно заключено искажение объективной истины. Последняя для историка не доступна. «Клио могла обладать истиной, всей истиной и ничем, кроме истины, но историка... она, в лучшем случае, в обмен за его труд и преданность, удостаивает лишь мельком»[92]).

Единственно научное разрешение вопросов, возникающих в процессе исторического познания, дает марксистско-ленинская теория отражения. В настоящее время многие буржуазные историки не могут отрицать громадного значения исторического открытия К. Маркса. «Европейская мысль в течение веков направлялась исторической концепцией Св. Августина, — пишет Ф. М. Поуик, — в наше время цивилизации были потрясены под влиянием Карла Маркса»[93]). Действительную силу марксизма (как и концепции Августина, между прочим) он видит в том, что К. Маркс опирается «не на абстрактные размышления, а на глубокие знания человеческой жизни».[94]) Открытие, сделанное К. Марксом, оказало большое влияние на дальнейшее развитие буржуазной историографии и, в особенности, на развитие социально-экономической истории. «Если вся современная трактовка истории философии восходит к Гегелю, как величайшему современному мастеру этого предмета, — писал Р. Дж. Коллингвуд, — то вся современная трактовка экономической истории восходит в том же смысле к Марксу»[95]).

Важность изучения социально-экономической стороны в истории сейчас признают даже наиболее последовательные приверженцы традиционной буржуазной историографии. «Трудно понять, — говорил Г. Баттерфильд в статье, подготовленной к конференции под названием «Индивидуализм после Ренессанса: рост или падение?»,—как индивидуализм мог развиться так, как он развился, или как западная цивилизация могла стать такой динамической, без замечательной экономической экспансии Западной Европы. Когда же мы видим, как дух предприим-

---

[89]) P. Geyl, Use and Abuse of History. New Haven, 1955, p. 63.
[90]) Ibid., p. 70.
[91]) Ibid., pp. 62—63.
[92]) Ibid., p. 63.
[93]) F. M. Powicke, op. cit., p. 229.
[94]) Ibidem.
[95]) R. G. Collingwood, op. cit., p. 126.

чивости смог распространиться от промышленности и торговли на другие области или какой оживленной смогла стать жизнь городов, мы возможно чувствуем, что экономический прогресс является не просто условием, но действительной причиной современного индивидуализма»[96]).

Насколько неодолимым оказалось влияние марксизма на буржуазную историческую мысль, свидетельствуют признания буржуазных историков, наиболее враждебно настроенных к самому духу учения К. Маркса. Английский историк А. Л. Роуз, «один из наиболее откровенно реакционных из историков», писал в своей книге «Использование истории» (1946), что «в наше время, чтобы быть хорошим историком, необходимо быть хоть немного марксистом»[97]). Однако дальше признания влияния марксизма на развитие социально-экономической истории буржуазные историки, как правило, не идут. В их оценке отсутствует главное—признание принципиально нового, научного характера открытия К. Маркса, признание созданной марксизмом материалистической теории общественного развития как единственно возможной научной теоретико-методологической основы исторической науки, признание, что именно благодаря этому открытию история поднялась до уровня науки.

Буржуазных историков пугают революционные выводы марксистской теории, ее строго научный характер в доказательстве неизбежности краха капиталистической системы. Поэтому они пытаются принизить и исказить теорию марксизма, сводя ее к разновидности политической теории Ж. Ж. Руссо, или к «антиисторическому натурализму» XVIII века. Р. Коллингвуд не отличает марксизм от метафизического материализма XVIII века. Правда, он признает, что материализм К. Маркса был не просто материализмом XVIII века — он был «диалектическим материализмом», но он не видит здесь большой разницы: «Диалектический материализм был по-прежнему материализмом»[98]).

Теория марксизма, по мнению Р. Коллингвуда, означала «шаг назад» от Гегеля. Известно, что марксизм освободил диалектику от той мистификации, которую она претерпела в руках у Гегеля. «У Гегеля диалектика стоит на голове, — писал К. Маркс. — Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно»[99]). Указывая на этот момент, Р. Коллингвуд пытается стушевать принципиальное отличие К. Маркса от Гегеля, представляя критику Гегеля Марксом в качестве простого «фокуса»[100]). Непонимание Р. Коллингвудом всей принципиальности постановки вопроса К. Марксом выразилось здесь с особой наглядностью. Коллингвуд не увидел глубокого содержания критики Гегеля К. Марксом.

Непонимание коренной противоположности материализма, на котором основывает свое учение марксизм, идеализму, который лежит в основе различных буржуазных исторических школ и направлений, отчетливо выступает в высказываниях некоторых буржуазных историков. Утверждая, что «марксизм, возможно, является самой полезной из всех философий истории», Г. Ренир в то же время считает, что его настойчивое подчеркивание материализма и значения экономики — «утомительно». Идеи ли порождены социальными и материальными условиями или сами эти условия являются результатом идей — это, по мнению Г. Ренира,

---

[96]) H. Butterfield, Reflections on Religion and Modern Individualism. — «Journal of the History of Ideas». 1961. Vol. XXII. № 1, p. 46.

[97]) См. E. J. Hobsbawm, Where are British Historians Going? — «The Marxist Quarterly». Vol. 2. N 1, 1955, p. 25.

[98]) R. G. Collingwood, op. cit., p. 125.

[99]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23 стр. 22.

[100]) R. G. Collingwood, op. cit., p. 125.

один из тех споров, которые не могут пролить свет на действительность. «Весь спор, — пишет он, — является тривиальным, и марксизм в этом отношении так же тривиален, как и его противники. Идеи и обстоятельства являются двумя концами палки. Не может быть и речи о том, что возможно держать палку с неправильного конца; как бы мы ее ни схватили, мы обладаем двумя концами и тем элементом, который соединяет их»[101]).

Конечно, идеи и обусловливающие их обстоятельства действительно тесно связаны между собой. Как нельзя рассматривать идеи сами по себе, в отрыве от их материальной основы (как это делают объективные идеалисты), так и нельзя рассматривать изолированно и как самодовлеющую категорию материальные отношения (как это делают вульгаризаторы марксизма). Но Г. Ренир допускает опрубленное, механистическое изображение этой связи в приводимом им сравнении. В действительности же связь между этими категориями гораздо тоньше, она может выступать не прямым, а опосредствованным путем[102]). Коренной же порок рассуждений Г. Ренира заключается в его попытке отрицать необходимость решения основного вопроса философии: что является определяющим, первичным — идеи или материальная основа общества, экономические отношения.

Историку совершенно не безразличен этот вопрос, как это пытается доказать Г. Ренир. От его решения зависит вся постановка его исследовательской работы. Если в основе взгляда историка лежит признание первичности идей в истории, то он с неизбежностью приходит к выводу, что действующим лицом в истории является отдельная, как правило, великая личность, носитель идеи. Сфера исследования ограничивается, таким образом, либо изучением поступков великой личности, либо изучением государства и его учреждений, выступающих как совокупный выразитель идей эпохи. Поскольку все развитие зависит от поступков великой личности, в истории невозможно установить объективную закономерность и повторяемость, историк не в состоянии предвидеть — его объектом становится исключительно прошлое.

Противоположная картина создается, если в основе мировоззрения историка лежит диалектический материализм. Сама попытка Г. Ренира встать выше философских споров материализма и идеализма и, таким образом, преодолеть «крайности» того и другого является малооригинальной. Подобные попытки уже имели место в истории философской мысли. Идеями одной из таких философских школ, прагматизма, претендовавшего на «средний, примиряющий путь философии»,[103]) и вдохновлялся Г. Ренир. Они не могли привести его в историческом познании ни к чему другому, кроме как к эклектизму и субъективизму. «Беспартийность в философии, — говорит В. И. Ленин, — есть только презренно-прикрытое лакейство пред идеализмом и фидеизмом».[104])

Большое место в философско-исторических размышлениях современных буржуазных историков занимают вопросы, относящиеся к задачам, предмету и методам исторической науки вообще и историографии в частности. В основе истолкования этих вопросов лежит исторический идеализм и релятивизм, проявлению которого во многом способствует сам подход буржуазных историков к разрешению указан-

---

[101]) G. J. Renier, op. cit., p. 208.

[102]) См. письмо Ф. Энгельса от 25/I-1894 г. к Г. Штаркенбургу; К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в 2-х томах, т. II, 1948 г., стр. 483—486.

[103]) В. Джемс, Прагматизм, новое название для некоторых старых методов мышления, СПб, 1910, стр. 31.

[104]) В. И. Ленин, Соч., 4 изд., т. 14, стр. 340.

ных выше проблем. Этот подход характеризуется тенденцией оторвать гносеологическую теорию от конкретной историографической практики. В результате осмысливание задач теории и методологии истории превращается в простое теоретизирование, в построение спекулятивных теоретико-методологических принципов, основываясь на которые история не может существовать как наука. Такая история не смогла бы сделать даже небольшого шага в направлении познания объективной действительности. Отсюда раздвоенность у буржуазных историков между теоретическими спекуляциями, в основе которых лежит исторический идеализм и релятивизм, и конкретной исторической практикой, опирающейся на стихийный эмпиризм.

Это обнаруживается в деятельности Р. Дж. Коллингвуда (1889—1943), оставившего заметный след в английской историографии и философии[105]). «Глубокий и оригинальный мыслитель», «самый оригинальный ум в британской философии после Брэдли», — так оценивается Р. Коллингвуд своими соотечественниками.[106]) Даже противник Р. Коллингвуда, Г. Ренир, не может не отдать должное «интеллектуальной смелости» этого «превосходного мыслителя и писателя»[107]). Известность Р. Коллингвуда среди историков во многом обязана его посмертно опубликованной работе «Идея истории»; которая явилась концентрированным и законченным выражением его взгядов на историю[108]).

Развитие историографических взглядов Р. Коллингвуда происходило под знаком все более непримиримой борьбы с позитивистским пониманием истории, которое, по его мнению, было «не только эндемической ошибкой в современной философской мысли об истории, но также постоянной угрозой самой исторической мысли»[109]). Уже в своей ранней статье, опубликованной в 1922 году («Являются ли история и наука различными родами знания?»), он противопоставляет свой взгляд на историю позитивистскому. В противовес позитивизму, стремившемуся устранить различие между историей и наукой посредством возвышения задачи истории от простого собирания и описания фактов до уровня их обобщения и установления закономерностей, Р. Коллингвуд пытается устранить это различие путем прагматистского объяснения функции или задачи науки, как толкования особенного посредством обобщений. С этой исходной точки зрения на науку Р. Коллингвуд и оценивает тот период в развитии историографии, когда она находилась под значительным влиянием позивитизма.

Признавая определенный прогресс в историографии XIX века, явившийся отчасти результатом работы позитивистов, ее возросший интерес

---

[105]) В нашей философской литературе критике взглядов Р. Дж. Коллингвуда посвящены работы: И. С. Кон, Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли, Соцэкгиз, 1959, стр. 166—171; М. А. Киссель, Р. Коллингвуд и борьба объективного идеализма с позитивизмом в английской философии XX в., «Философские науки» (Научные доклады высшей школы), 1960, № 2, стр. 129—140; его же: Критика философии истории Р. Коллингвуда. «Ученые записки кафедр общественных наук вузов г. Ленинграда», 1961, стр. 200—214.

[106]) W. F. Tomlin, R. G. Collingwood. London, 1953, pp. 7, 39.

[107]) G. J. Renier, History. Its Purpose and Method. London, 1950, pp. 40, 41.

[108]) Вообще, как серьезная и аргументированная попытка к синтезу в области теории и методологии истории, «Идея истории» была высоко оценена в буржуазной историографии. По мнению американского рецензента этой книги, Ч. Барда, труд Р. Коллингвуда «полон плодотворных, проливающих свет предложений» как для историка, так и для философа. «Хотя книга трудна для чтения и понимания,— пишет он,— усилие вознаграждается ценой фактических сведений, критического анализа главных рабочих идей в историографии и конструктивных предложений новой теории истории, соответствующей нашим временам». — «The American Historical Review». Vol. LII, No, 4, July, 1947, p. 704.

[109]) R. G. Collingwood, The Idea of History. New York. 1956, p. 228.

к общим понятиям, Р. Коллингвуд пишет, что, однако, «эта заинтересованность общими понятиями, нашедшая отражение в подъеме археологии и других наук, была заинтересованностью работника в улучшении своих инструментов. История не подчиняла установление фактов созданию общих законов, основанных на них; эта идея была неотъемлемой частью индуктивной ошибки. Она создавала в себе новые формы обобщенного мышления, подчиненные ее высшей цели, определению или толкованию индивидуального факта»[110]). Из отрицания задачи истории в установлении законов и закономерностей в общественном развитии вытекала ограниченность представления Р. Коллингвудом истории как науки. В основе определения истории как науки Р. Коллингвудом лежит та система «вопроса и ответа», которую он пытался представить в качестве всеобщего гносеологического метода («логики» вопроса и ответа). История «относится к тому,—пишет Р. Коллингвуд, — что мы называем науками: то есть формам мышления, посредством которых мы задаем вопросы и пытаемся ответить на них». Наука разгадывает вещи: и в этом смысле история является наукой[111]).

Отсюда первым, действительно научным историком, по Р. Коллингвуду, был Геродот, который не имел настоящих преемников в античной историографии. То, что отличало Геродота от античных историков и в чем он не имел себе преемников в древности, по мнению Р. Коллингвуда, была его вера в возможность познания преходящего, исторического. Главный порок греко-римской историографии Р. Коллингвуд видел в метафизичности мышления, в представлении, заимствованном из греческой философии, что только неизменяемое может быть познаваемо. «Но то, что является неизменным, не является историческим. То, что является историческим, есть преходящее событие»[112]). Превращение истории в науку для Р. Коллингвуда было неразрывно связано с борьбой против «субстанциализма» в ней.

Поэтому значительными и поворотными вехами в процессе превращения истории в науку для Р. Коллингвуда была деятельность: Фомы

---

[110]) «Mind» Vol. XXXI № 124, 1922, pp. 449—450. Трактовка гносеологических проблем истории и науки, данная Р. Коллингвудом в этой статье, была тесно связана с тем направлением в философии на рубеже XIX—XX веков, которое известно под названием «идеалистической реакции» против науки (см. F. J. Teggart, Theory and Processes of History. Berkeley and Los Angeles, 1941, ch. 5. pp. 51—65). Обращаясь к взгляду на науку, отождествляющему ее с «полезным» или «утилитарным» (в чем, по мнению Р. Коллингвуда, сходились школы Маха, Бергсона, Джемса и Кроче), Р. Коллингвуд выделяет в нем «важную истину»: ученый является ученым лишь постольку, поскольку он истолковывает конкретные факты в свете своих общих понятий, оформление которых является не целью науки, а средством. И это он делает основой для отрицания различия между наукой и историей. С этой трактовкой Р. Коллингвуда полностью солидаризировался в своей статье Ф. К. С. Шиллер: «С позицией Коллингвуда, действительно, я настолько сердечно согласен, что могу принять все его утверждения, хотя я думаю, некоторые из них могут ввести в заблуждние, если их не защитить и не пополнить новыми соображениями и выводами, которые он не упоминает». (Ibid., p. 460). Выводы Ф. К. С. Шиллера, дополнявшие мысли Р. Коллингвуда, вели к полному субъективизму и релятивизму в историческом познании. Выраженная в этой ранней работе точка зрения Р. Коллингвуда на соотношение истории и науки впоследствие непрерывно развивалась. Уже в «Speculum Mentis» (1924) он рассматривает историю, как стоящую над наукой, а еще позднее он развивает свою идею «автономии» истории.

[111]) R. G. Collingwood, The Idea of History, New York, 1956, p. 9. Историческая наука, по мнению Р. Коллингвуда, обладает следующими отличительными чертами (по характеру, предмету, методу и значению): a) является научной, т. е. начинается с постановки вопросов; b) является гуманистической, т. е. задает вопросы относительно вещей, сделанных людьми в определенный период в прошлом; c) является рациональной, т. е. основывается на свидетельстве; d) является самораскрытием, т. е. нужна для познания человеком себя самого. Ibid.; pp. 9—11, 13, 18.

[112]) Ibid., p. 12.

Аквинского в XIII веке, отказавшегося от концепции «божественной субстанции», Беркли и Юма в XVII веке, отвергших: один — концепцию «материальной субстанции», другой — «духовной»[113]). То, что помешало истории XVIII века стать научной, полностью пожав плоды философской революции, был «незамеченный остаток субстанциализма, скрытый в поисках Просвещением науки человеческой природы... Человеческая природа представлялась субстанциалистически, как нечто статичное и постоянное, неизменяющийся субстрат, лежащий в основе хода исторических изменений и всей человеческой деятельности»[114]). Наука человеческой природы была ошибочной, по мнению Р. Коллингвуда, попыткой понять ум методами естественных наук. Эта задача выполнима только с превращением этой науки в историю, посредством применения собственных исторических методов[115]).

Р. Коллингвуд справедливо выступает против метафизического представления истории, но предлагаемый им путь преодоления этой метафизичности ведет прямо к «абсолютному историзму», или релятивизму. Отвергая и «материальную субстанцию», и «духовную», Р. Коллингвуд уничтожает то основание, на котором единственно возможно познание, как проникновение в сущность вещей, как процесс приближения через ряд относительных истин к абсолютной истине. Требование историзма Р. Коллингвудом выступает, поэтому, в своей абсолютизированной форме, открывающей возможность для самого широкого релятивистского толкования истории.

Освобождение от «позитивистского заблуждения» Р. Коллингвуд мыслил путем восстановления истории в своих правах. История отличается от естественной науки как по предмету, так и методу познания. Применение «логики вопроса и ответа» к событиям природы для ученого означает установление закона, которому эти события следуют. Это происходит вследствие того, что события природы — наблюдаемые явления. К историческим же событиям непосредственное наблюдение неприменимо. В настоящем существуют только «следы» и «признаки», свидетельствующие о событиях прошлого. Следовательно, в отличие от событий природы исторические события имеют «внутреннюю сторону» в себе, проникнуть в которую составляет задачу историка. Когда ученый спрашивает «Почему этот кусочек лакмусовой бумаги порозовел?» Он подразумевает: «В каких случаях вообще кусочки лакмусовой бумаги розовеют?» Когда историк спрашивает: «Почему Брутт заколол Цезаря?» Он подразумевает: «Что думал Брут, когда решил заколоть Цезаря?»[116]).

История, следовательно, имеет в качестве своего предмета «мысль», под которой Р. Коллингвуд подразумевает «определенную форму опыта или умственной деятельности».[117]) «Все другое, кроме мысли, — заявляет он,— не может быть историей»[118]). Вся история является историей мысли»[119]). Отсюда реальными объектами изучения в истории являются все «намеренные» или «целенаправленные» действия, действия, за которыми скрывается «ум». Сюда относятся искусство, наука, религия, философия и т. д. Политика, войны, экономическая жизнь также могут быть объектами исторического исследования. Например, полководец

---

[113]) Ibid., pp. 47—48.
[114]) Ibid., p. 82.
[115]) Ibid., p. 209.
[116]) Ibid., p. 214.
[117]) Ibid., p. 306.
[118]) Ibid., p. 304.
[119]) Ibid., p. 317.

вводит свои войска в бой, занимает страну, имея какую-то цель; историк из сохранившихся сведений о действиях полководца может в своем уме построить весь план кампании. Если все действия не совершались с целью, то, по Коллингвуду, их история не существует; если они совершались с целью, не известной историку, тогда историк не сможет создать их историю.

Критика Р. Коллингвуда ограниченности метафизического взгляда на историю, представлявшего общества только как объект познания, не носит, сама по себе, неправомерного характера. Метафизический подход, в основе которого лежало отождествление человеческого общества с природой, не учитывал, что «в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, ставящие себе определенные цели. Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели»[120]). Противопоставляя свой взгляд метафизическому, К. Маркс концентрированно выразил свое понимание общества, определив его через понятие «субъект». Характеризуя теоретический метод, используемый в политической экономии, К. Маркс требовал не забывать, что «субъект, общество, должен постоянно витать в нашем представлении как предпосылка»[121]).

Подчеркивая своеобразие объекта познания в общественных науках, марксизм не доходит до противопоставления общества природе. В. И. Ленин, отстаивая марксистское понимание истории, особенно настаивал на рассмотрении развития общества, как естественноисторического процесса[122]). Признавая сознательную, «субъективную» деятельность людей, марксизм рассматривает ее не как самодовлеющую, а только в сфере того способа производства, который господствует на данном этапе развития общества. Сама сознательная деятельность людей определяется, в конечном счете, современными им производственными отношениями. Она становится творческой силой только в познании объективных законов, в соответствии с которыми развиваются производственные отношения.

Однако теория истории, развиваемая Р. Коллингвудом в противоположность метафизическому представлению, сама носит печать ограниченности идеалистического мировоззрения. Исходя из своеобразия объекта исторического исследования, Р. Коллингвуд доходит до полного противопоставления общества природе, исторического познания — естественнонаучному. Абсолютизируя роль сознательного в истории, он приходит к выводу, что внутренним двигателем истории является цель или намерение в уме исторических личностей. Мысль становится первопричиной и объяснением всех явлений. Поэтому необходимость установления объективных причин и закономерностей в явлениях общественного развития отрицается Р. Коллингвудом. Задача историка, исследующего например, действия полководца, сводится к описанию хода событий. Он не может вскрыть объективных причин и создать целостную картину всей кампании, так как его возможности ограничены сферой «мысли» полководца. Все, что лежит вне этой сферы, для историка не существует. Так, Р. Коллингвуд приходит к идиографическому взгляду на функцию историка. Вместо того, чтобы разъяснять, историк вынужден «разделять иллюзии» описываемой эпохи.

---

[120]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 306.
[121]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 12, стр. 728.
[122]) См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5 издание, т. 1, стр. 133, 134, 138, 139, 166.

Как же может историк познать прошлую мысль? В этом вопросе Р. Коллингвуд противопоставляет свою точку зрения представлению, в основе которого лежит признание объективного существования прошлого. История, говорит Р. Коллингвуд, является процессом, с которым историк «составляет целое, одновременно, как часть его и самопознание его»[123]). Критикуя Г. Зиммеля за взгляд на историческое прошлое, как мертвое прошлое, Р. Коллингвуд сомневается в возможности, в этом случае, «оживления» прошлого в сознании историка. В действительности, по мнению Р. Коллингвуда, сознание историка является наследником прошлого, оно стало тем, чем оно является, через развитие прошлого в настоящее, поэтому «в нем прошлое живет в настоящем»[124]).

Из своеобразия соотношения объекта и субъекта в историческом познании, которое выступает как самопознание, Р. Коллингвуд, таким образом, делает вывод о тождестве объекта и субъекта, объективной истории и субъективной. «Не ясно, — пишет Г. Ренир,—когда «история» Коллингвуда ссылается на прошлое, а когда — на знание о прошлом. Сутью его эпистемологии является отождествление того и другого с помощью творческого исторического воображения»[125]). Познание, утверждает Р. Коллингвуд, должно вестись с двух сторон: со стороны познающего субъекта и со стороны самого объекта. Предмет (т. е. прошлая мысль) должен сам возродиться в уме историка; историк, в свою очередь, должен предоставить место в уме ожившей прошлой мысли[126]). Этот «изысканный симбиоз» (как иронизирует Г. Ренир) происходит посредством воображения историка, которое наделяется Р. Коллингвудом необыкновенными способностями. Познавательная задача историка заключается в «перемыслении» прошлого. Он «должен перевоплотить прошлое в своем собственном уме»[127]). В самой истории, — объявляет Р. Коллингвуд, — нет ничего, кроме перевоплощения прошлой мысли в уме историка[128]).

Практически это означает, что при чтении, например, кодекса Феодосия историк, чтобы познать историческое значение этого документа, а не просто ограничиться переводом греческого оригинала, должен подвергнуть себя процессу, которому подвергался император при составлении своего кодекса. В этом случае он «перевоплощает опыт» императора. «Перевоплотить опыт или перемыслить мысль[129]), «пережить в своем уме» существенные черты и ценности[130]) — это те пути по которым, по мнению Р. Коллингвуда, следует идти историку в познании прошлого. Какова же достоверность хотя бы того мизерного знания, которое историк мог случайно приобрести путем «перевоплощения мысли» исторической личности? Где, другими словами, критерий истинности в рассматриваемой теории познания прошлого?

Р. Коллингвуд не дает прямого ответа на этот вопрос. Он подразумевается, по всей вероятности, в самом понятии «перевоплотить мысль». Но можно ли положиться только на «интеллектуальную честность» историка? Сами требования Р. Коллингвуда, предъявляемые

---

[123]) R. G. Collingwood, The Idea of History. New York, 1956, p. 181.
[124]) Ibid., p. 171.
[125]) G. J. Renier, History. Its Purpose and Method. London, 1950, p. 215. См. также, стр.: 46, 255 п. «Он прилежно трудится для отождествления испытывающего и того, что испытывается»,—писал Г. Ренир, подчеркивая связь концепции Р. Коллингвуда с идеями кембриджского философа, субъективного идеалиста М. Б. Окшотта.
[126]) R. J. Collingwood, The Idea of History. Now York, 1956, pp. 294, 304.
[127]) Ibid., p. 282.
[128]) Ibid., p. 228.
[129]) Ibid., p. 284.
[130]) Ibid., p. 327.

к историку, отвечают на этот вопрос отрицательно. «Размышление историка, — пишет он, — должно вытекать из органического единства всего его опыта и быть функцией всей его индивидуальности с ее практическими, а также теоретическими интересами»[131]). Гарантия истинности интуитивного познания, заключенная в самом историке, таким образом, снимается. Признание субъективности в историческом познании неизбежно должно привести Р. Коллингвуда к отрицанию возможности объективной истины.

Несмотря на целый ряд интересных идей, теория Р. Коллингвуда, в целом, не открывает новые перспективы в развитии буржуазной историографии. Это сознают сами буржуазные историки. На вопрос, могут ли историки, опираясь на теорию Р. Колингвуда, избежать неопределенностей прежней историографии, охватить всеобщую историю в ее внутренней полноте, познать историю, написать ее так, как она действительно была, Ч. Бирд дает отрицательный ответ[132]). Сам Р. Коллингвуд в своих конкретно-исторических изысканиях должен был отказываться от этих требований, предъявляемых к исторической науке.

Исследованию задач, предмета и методов исторической науки посвящена работа Г. Ренира «История. Ее цель и метод», книга, в оценке П. Гейла, «изобилующая живым умом и мудростью»[133]). Труд Г. Ренира представляет собой обширную попытку разрешить гносеологические проблемы исторической науки на основе философии прагматизма и инструментализма конца XIX — первой четверти XX века. Объявив себя последователем У. Джемса, Дж. Дьюи и Ф. К. С. Шиллера, Г. Ренир стремится распространить их субъективизм и релятивизм на историографию. «В сражении Шиллера против «абсолютистской» философии с ее «ходячей» теорией истины как воспроизведения действительности, — пишет он, — историк узнает многие характерные черты непрерывного действия, которое должно быть защищено от псевдонаучного догматизма с его мечтами о цельном воспроизведении прошлого»[134]). По мнению Г. Ренира, без прагматистского подхода честный историк, который размышляет о своем ремесле, находится в затруднении[135]).

Г. Ренир выражает полную убежденность во всеобщую применимость метода прагматизма в историографии. «Историки являются прагматистами, идут ли они от следа к событию, или открывают и упорядочивают свои события, отвечают ли они на вопросы, которые общество задает через них о своем прошлом опыте, или излагают рассказ, который общество требует от них»[136]). Исходя из этой приверженности к прагматизму, Г. Ренир подвергает критике концепцию истории Р. Коллингвуда, как «слишком одностороннюю» и «опасную»[137]). «Идею истории» Р. Коллингвуда Г. Ренир характеризует как «манифест левых экстремистов в истории Англии»[138]). Критика Г. Ренира концепции Р. Коллингвуда тесно связана с его стремлением встать выше философских споров материализма и идеализма, найти некоторый «средний», «примиряющий» путь в философии, основы истолкования теоретико-методологических проблем исторической науки.

---

[131]) Ibid., p. 305.
[132]) «The American Historical Review». Vol. LII, No 4. July, 1947, p. 707.
[133]) P. Geyl, Use and Abuse of History. New Haven, 1955, pp. 75—76.
[134]) G. J. Renier. History. Its Purpose and Method. London, 1950. p. 151.
[135]) Ibid., p. 152.
[136]) Ibid., p. 149.
[137]) Ibid., pp. 7n, 41.
[138]) Ibid., p. 44.

Две опасности, по мнению Г. Ренира, угрожают истории, как дисциплине: одна исходит со стороны тех, кто хотел бы ограничить задачу истории сбором конкретных фактов, игнорируя социальную функцию истории (Ч. Омэн), другая — со стороны тех, кто пытается свести историю к философии истории (Б. Кроче, Р. Коллингвуд, А. Тойнби) или к социологии (историко-марксисты). Г. Ренир занимает промежуточное положение между этими двумя «крайностями», правой и левой оппозицией в «парламенте историков». Реальную угрозу истории для Г. Ренира представляют гегелевский идеализм, с одной стороны, и марксистский материализм, с другой. Действительное положение историка Г. Ренир мыслит только «между суверенным правлением идеи и диктатурой события,»[139]) или, выражаясь еще более определенно, «между панидеализмом Кроче — Коллингвуда и марксистским отрицанием права всякой идеи на свое собственное существование»[140]). Попытка Г. Ренира пренебречь классовыми и гносеологическими корнями идеализма и материализма и встать над «крайностями» того и другого не могла увенчаться ничем, кроме эклектизма и релятивизма в толковании вопросов истории.

Согласно Г. Рениру, история не является наукой. Интерес историка направляется к индивидуальному и неповторимому. Он желает знать вещь, которая была, событие, которое имело место. Наука, с другой стороны, выходит за индивидуальное, она пытается найти в частном общее. Обобщение в науке выступает как необходимое условие к объяснению всякого отдельного случая, который может встретиться[141]). Существенными чертами науки, которые отличают ее от истории, по Г. Рениру, являются, далее, эксперимент и возможность предвидения. Независимо от цели науки, пишет он, все ученые сходятся на том, что не может быть научного знания без эксперимента, или во всяком случае, без предсказаний. В этом заключается различие между научным и историческим знанием, поскольку не может быть исторического знания, зависящего от экспериментирования.

История является воскрешением того, что случилось однажды, она совершенно равнодушна к тому, повторится ли прошлый случай снова. В то же время ученого интересует будущее. Он хочет знать то, что должно повториться[142]). «Наука может и должна предсказывать,— утверждает Г. Ренир, — история не предсказывает... пророчество не входит в компетенцию историка и не в его власти[143]).

Очевидно, что устанавливаемые Г. Рениром критерии науки не ведут сами по себе к отрицанию истории как науки. Обобщение не является достоянием только естествознания, в той или иной мере, в зависимости от того, на какие идейно-методологические принципы опираются историки, обобщает также и история. Если большинство буржуазных историков в силу ограниченности идеалистического мировоззрения и методологии не в состоянии выйти за пределы частных обобщений, непосредственно связанных с их предметом исследования, не способны представить весь исторический процесс в целом, то марксистская исто-

---

[139]) Ibid., p. 72.
[140]) Ibid., p. 75.
[141]) Ibid., p. 223.
[142]) Ibid., p. 224.
[143]) Ibid., 222. Относительно предмета истории Ф. К. С. Шиллер писал: «Ее сферой является прошлое; ее цель — открывать его, спасать его от забвения, рассказывать его настоящему с тем, чтобы мы могли иметь власть над вещами, которая приходит из знания их прошлого. Из этого определения следует, что пророчество не является основным занятием истории; она оставляет его науке...»—«Mind». Vol. XXXI. No. 124. October, 1922, p. 462.

риография, определяя в конкретном общее, устанавливает причинную связь явлений, вскрывает объективные закономерности, повторяемость в историческом процессе. Не может выступать в качестве всеобщего критерия определения науки — эксперимент. «Науку, — писал Ф. Дж. Теггарт, — нельзя отождествлять с областью «экспериментирования», так как эксперимент не может быть применен к историческому содержанию таких предметов, как геология и палеонтология»[144]).

Опираясь на критический метод, необходимость которого отрицается Г. Ренио́м в его понятии «история», историческая наука может с достоверностью, приближающейся к уровню достоверности в естествознании, устанавливать и проверять события прошлого. Предвидение само по себе не является основополагающим принципом в определении науки. Суждение об основных направлениях развития событий в будущем является результатом устанавливаемых историком объективных закономерностей. Вывод Г. Ренира, что историография не является наукой, коренится в несостоятельности его понимания самого исторического развития. Рассматривая отдельное событие как уникальное явление, отрицая объективную причинность, закономерность и повторяемость в истории, Г. Ренир ограничивает познание историка описанием прошлых событий, без разъяснения их смысла, без обобщения, без признания возможности судить о тенденции развития исторических событий в будущем.

История, по определению Г. Ренира, это «рассказ об опыте людей, живущих в цивилизованных обществах»[145]). Смысл, вкладываемый Г. Ренио́м в это определение, является полностью прагматистским. «Наше определение, — пишет он, — схватывает историю в действии, а не в ее сущности; как процесс, а не как вещь»[146]). «История является не дедуктивной наукой, а деятельностью и ремеслом»[147]). Отождествление истории с «действием» или «деятельностью» с необходимостью предполагает отрицание ее объективной, истинности и превращение ее в средство, «инструмент» для достижения определенных целей. В этом отношении история не отличается для прагматистов от науки[148]). Рассматривая в то же время историю только как рассказ, Г. Ренир тем самым упрощает ее, сводит ее к примитиву. Интерес историка в исследовании, пишет он, «будет направляться к единственному и конкретному, так как подобно газетному репортеру, он стремится к рассказу»[149]). Теоретическая вооруженность исследователя, его критический подход и научный метод не являются для Г. Ренира отличительными признаками историка.

«Жизненный принцип» Г. Ренира заключается в том, «что критика или метод является не историей, а ее частным случаем и что тот, кто излагает рассказ об опыте человеческих обществ или людей, живущих в обществе, является историком, независимо от того критичен он или нет»[150]). Отсюда Г. Ренир выступает против монографических исследований в исторической науке. Если профессиональные историки, предуп-

---

[144]) F. J. Teggart, Theory and Processes of History, Berkeley and Los Angeles, 1941, p. 158.

[145]) G. J. Renier, History. Its Purpose and Method. London, 1950. p. 38. Определяя историю через «рассказ», Г. Ренир указывает на целый ряд предшественников, среди которых: Ип. Тэн, А. Пиренн, Дж. М. Тревельян, Б. Кроче, Р. Арон.

[146]) Ibid., p. 79.

[147]) Ibid., p. 98.

[148]) См. «Mind», Vol. XXXI. No. 124. October, 1922, pp. 461—462.

[149]) G. J. Renier, History. Its Purpose and Method. London, 1950, p. 117.

[150]) Ibid., pp. 21—22.

реждает он, не начнут писать общую историю, их обязанность будет выполнена любителями[151]). Имеется другая отличительная черта в определении истории Г. Рениром. История для него — это период «цивилизованных обществ», т. е. период существования государства. Все, что существовало до государства, относится Г. Рениром к «предыстории». Классовый смысл этого ограничения является очевидным: из него легко выводимо отрицание прогресса в развитии человеческого общества, а следовательно, и преходящего характера капитализма.

Необходимость определения истории через «рассказ», по Г. Рениру, заключается в том, что если история является менее, чем рассказ, она не сможет выполнить свою социальную функцию, в то же время, если она является более, чем рассказ, то она с необходимостью вступает в соперничество с другими дисциплинами, говорит неопределенным голосом и скорее приводит к путанице, чем к руководству[152]). В чем же заключается социальная задача историка? «Задача историка, — пишет Г. Ренир, — просто и исключительно сохранять доступным для общественного употребления знание о прошлом опыте человеческих обществ»[153]). Историку не вверена задача объяснения[154]). Рассказ излагает то, что произошло и как произошло. Если он также будет излагать почему произошло, это будет превышением его задачи»[155]). Ограниченность этого взгляда очевидна даже для самих буржуазных историков. «Отказ историка объяснять свою работу, — говорит Дж. Барраклоу, — не предохраняет историю от объяснения; он просто означает, что объяснение лишается квалифицированной критики и что дело историка не выполняется»[156]). Практически, пишет П. Гейл, «историк часто и справедливо играет более активную роль»[157]).

Рассматривая задачу историка как задачу «социального агента», Г. Ренир ставит его отношение к прошлому в полную зависимость от политики настоящего. История должна излагаться, по его мнению, «с постоянно изменяющейся точки зрения, определяемой вопросами, которые общество ставит перед историком»[158]). Сама по себе эта не лишенная известного смысла постановка вопроса при отрицании объективной истинности результатов познания ведет к абсолютному релятивизму. На вопрос о возможности всецело объективной истории Г. Ренир дает категорический отрицательный ответ. Историки могут путем механического соединения общего в своих суждениях о прошлом прийти к некоторому соглашению. Но это соглашение будет временным, так как «в области интеллекта все навсегда условно»[159]). В своем исследовании историк, по мнению Г. Ренира, должен руководствоваться «этическим» и «практическим» критерием[160]).

«Его личная этика, следовательно, способ, при помощи которого он слышит предписание жизни, будет его руководителем в то время, когда он выполняет свою задачу»[161]). Несмотря на то, что в качестве критерия достоверности излагаемого историком материала выступают, кроме его собственного представления о честности, еще и представления

[151]) Ibid., p. 78.
[152]) Ibid., p. 36.
[153]) Ibid., p. 222.
[154]) Ibid., p. 38.
[155]) Ibid., p. 117.
[156]) G. Barraclough, op. cit., p. 24.
[157]) P. Geyl, Use and Abuse of History. New Haven., 1955, p. 76.
[158]) G. J. Renier, History. Its Purpose and Method. London, 1950, p. 50.
[159]) Ibidem.
[160]) Ibid., p. 155. «Критерий историка будет практическим и этическим, он никогда не будет метафизическим».
[161]) Ibid., p. 254.

других историков, выдвигаемые Г. Рениром принципы неизбежно ведут к субъективизму в истории, так как он отрицает объективный критерий, заключающийся в самом предмете познания историка. «Картина прошлого, воссоздаваемая историком, — пишет он, — подтверждается не каким-нибудь особым достоинством его следов, но приемлемостью для ума подготовленного читателя»[162]). Отрицая возможность достижения объективной истины, Г. Ренир выступает за открытое провозглашение субъективизма и релятивизма в исторической науке[163]).

Изменения, происшедшие в исторической науке за последнее время, в особенности успехи археологии и антропологии, были использованы частью буржуазных историков для выступления с требованием превращения всей истории в культурную историю. Сейчас, когда имеются большие достижения во всех областях исторического знания, когда уже невозможно игнорировать решающего значения социально-экономической истории, подобное требование не может иметь под собой сколько-нибудь прочной основы. Это особенно видно из неспособности сторонников этого требования четко определить задачи, предмет и методы понимаемой в таком смысле культурной истории.

Истолкование этих проблем с позиций исторического релятивизма дает, например, в своей работе «Культурная история как синтез», включенной в американский сборник «Разновидности истории» (Нью-Йорк, 1956), Ж. Барзун[164]). Отказываясь от разграничения исторических периодов соответственно изменениям в «стиле» искусства, он тем не менее утверждает, что каждый период имеет свою особую «атмосферу», свой особый «стиль». Текучая связь между этим неопределенным фоном и ощутимой жизнью становится предметом исследования культурного историка. В познании своего предмета историк не может руководствоваться строгими правилами метода, он должен опираться на свой «esprit de finesse» («изощренный дух»). Ясно, что такое истолкование задач, предмета и метода культурной истории не может сколько-нибудь укрепить точку зрения, по которой вся история должна превратиться в культурную историю.

Вопросам задач, предмета и методов истории исторической науки был посвящен доклад на XI Международном Конгрессе историков в Стокгольме видного английского историка Г. Баттерфильда «История историографии».[165]) Значительное место в докладе Г. Баттерфильда занимают вопросы, касающиеся выяснения связи и взаимного влияния между исторической наукой и современностью каждой эпохи, прослеживания развития исторического мышления во всех веках в связи с конкретной исторической ситуацией того или иного времени. Однако при рассмотрении этих важных самих по себе вопросов Г. Баттерфильд исходит из идеалистического представления о самой истории исторической науки. Последняя у него «имеет дело с миром идей». Историография отдельных исторических периодов (средних веков, например) служит у него в качестве «доказательства определенной стадии в развитии человеческого сознания». Но чем порождено отличие самого человеческого сознания одной эпохи (например, эпохи Ренессанса) от сознания, современного другой, например, предшествующей эпохе средних веков — этот вопрос Г. Баттерфильд обходит полным молчанием.

---

[162]) Ibid., p. 160.

[163]) Ibid., p. 174.

[164]) См. XI Congrés International des Sciences Historiques, Rapports, Vol. I, Göteborg, 1960, pp. 48—49.

[165]) Основные мысли в этом докладе были изложены Г. Баттерфильдом в ряде ранних работ (См. H. Butterfield, Man on his Past, Cambridge, 1955, pp. 1—31).

История исторической науки у него оказывается сменой различных идей, методов, форм сознания. Сама современность, о влиянии которой на историческую науку каждой эпохи говорит Г. Баттерфильд, становится в конечном счете совокупностью идей и форм сознания, современных этой эпохи. Задача историографа поэтому заключается в том, чтобы раскрыть эти идеи и формы сознания. «Изучающий Ранке,— пишет Г. Баттерфильд, — подобно изучающему Галелея, углубляется в мир основных предположений, и стремится восстановить интеллектуальные системы, которые люди прошлого не всегда находили нужным открывать друг другу»[166]). В трактовке истории исторической науки Г. Баттерфильдом игнорируется главное содержание всякого исторического периода: социально-экономическая структура общества, классовая борьба, порождаемая этой структурой. Установить же происхождение и объяснить различные формы сознания, мировоззрения, что лежит в основе всякого историографического исследования, можно только обратившись к этой материальной стороне человеческого общества.

Как уже указывалось, проблемами первостепенной важности для современной буржуазной историографии являются вопросы, связанные с теоретическим обобщением накопленного материала, его осмыслением, «превращением инстинктивных убеждений» буржуазных историков «в рациональные системы», т. е. вопросы, связанные с созданием в свете совершившихся изменений в мире и в самой исторической науке нового исторического мировоззрения, опирающегося на прочную или хотя бы устойчивую теоретико-методологическую основу. Эту задачу должна решить буржуазная философия истории. Современная буржуазная философия истории, основывающаяся на субъективном идеализме и релятивизме, не в состоянии разрешить поставленных перед ней вопросов.

Своими абстрактными рассуждениями и выводами, не имеющими реальной основы в истории, субъективно-идеалистическими концепциями и теориями, не применимыми к конкретному историческому исследованию, она скорее усложняла и запутывала проблемы, чем разъясняла их. Спекулируя на трудностях исторического познания, современная буржуазная философия истории стремится доказать невозможность объективной истины о прошлом и тем самым подорвать веру в историю как науку. Отказываясь от познания действительных законов и закономерностей, она обращается к иррациональному и релятивистскому толкованию истории. Ясно, что все это не остается в стороне от самой исторической науки. Буржуазные историки заражаются скептицизмом и сомнением даже по отношению к тому, что раньше казалось прочной и незыблемой истиной. В этом смысле современная буржуазная философия истории имеет непосредственную связь с релятивизмом в буржуазной историографии.

Релятивизм, положенный буржуазными историками в основу исторического познания, неизбежно вел к субъективизму, отрицанию объективной истины. «Релятивизм как основа теории познания, есть не только признание относительности наших знаний, но и отрицание какой бы то ни было объективной, независимо от человечества существующей, мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание»[167]). Выше говорилось об историческом релятивизме как оформлении теоретико-методологических принципов современных буржуазных историков. Включая в себя агностицизм и идеализм, исторический релятивизм выступает уже не как принцип исторического познания (принцип относительности исторических знаний), а как общая методо-

[166]) Rapports, Vol. I, p. 27.
[167]) В. И. Ленин. Соч., т. 14, изд. 4, стр. 124.

логическая основа конкретного исторического исследования. Поэтому критика исторического релятивизма с необходимостью должна была вестись по более обширному кругу вопросов. Отрицая существование объективной истины, исторический релятивизм ведет к ликвидации истории как науки. В этом заключается социальная функция исторического релятивизма в общественной науке.

Релятивистское истолкование методологических проблем исторической науки имеет свои социальные и гносеологические корни. Общественное положение и практика классовой борьбы потребовали от буржуазии в современную эпоху непримиримого отношения ко всяким попыткам проведения в истории строго научного взгляда на общество и его развитие. Крайне заинтересованная в искажении подлинной картины истории общества, буржуазия потребовала от своих идеологов в области исторического познания осуществления все более и более изощренной апологетики империализма.

С другой стороны, исторический релятивизм является результатом попыток буржуазных историков разрешить в рамках общего идеалистического мировоззрения некоторые философско-исторические проблемы, непосредственно связанные с разрешением общих вопросов диалектики. Выступая как общая методологическая основа исторического познания, исторический релятивизм оказывает крайне отрицательное влияние на историографическую практику. Он стоит в наиболее близкой связи с общим реакционным политическим курсом империалистической буржуазии и направлен своим острием против марксистско-ленинского исторического мировоззрения.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 166 Серия историческая

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ РУССКОЙ БУРЖУАЗНОЙ МЕДИЕВИСТИКИ СЕРЕДИНЫ 70-х ГОДОВ XIX — начала XX вв.[1])

Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

В истории русской медиевистики период с середины 70-х годов XIX века до начала 900-х годов занимает особое место. Это — годы ее расцвета, уверенного выхода на мировую арену. В трудах П. Г. Виноградова и М. М. Ковалевского, И. В. Лучицкого и Н. И. Кареева, Д. М. Петрушевского и А. Н. Савина, В. К. Пискорского и Р. Ю. Виппера было подвергнуто в различных аспектах глубокому исследованию развитие феодальных отношений в Западной Европе[2]). При всем своеобразии названных здесь историков, взгляды которых по ряду частных вопросов далеко не совпадали между собой, их построениям, каких бы проблем

[1]) Статья публикуется в порядке постановки вопроса. За отсутствием места в ней не рассматриваются такие существенно важные для раскрытия темы вопросы, как влияние на русскую буржуазную медиевистику революционно-демократической и народнической идеологии, взаимоотношение русской и западной буржуазной историографии и т. д. В статье главное внимание уделяется либеральным историкам, занимавшимся проблемами западноевропейского феодализма. При этом рассматриваются взгляды и тех историков, чьи работы выходят за хронологические рамки средневековья, но посвящены исследованию различных сюжетов истории западноевропейского феодализма (напр., работы Кареева и Лучицкого по истории французского крестьянства XVIII века). Поскольку главные конкретно-исторические работы Кареева, не говоря уже о Лучицком или Савине, посвящены изучению различных сторон жизни феодального общества в Западной Европе, представляется возможным рассматривать в рамках общей концепции западноевропейского феодализма в русской буржуазной историографии идейно-методологические взгляды этих ученых наряду со взглядами историков, занимавшихся главным образом средневековой историей, медиевистов в полном смысле этого слова.

[2]) В советской историографии идейно-методологические и исторические взгляды русских буржуазно-либеральных медиевистов рассматриваются в работах: Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог. М., 1960; А. И. Данилов. Эволюция идейно-методологических взглядов Д. М. Петрушевского и некоторые вопросы историографии средних веков Сб. «Средние века», вып. VI. М., 1955, Н. И. Фролова. Значение исследований Н. И. Кареева для разработки истории французского крестьянства в эпоху феодализма. Сб. «Средние века», вып. VII, 1955; П. Ф. Лаптин. Проблемы общины в трудах М. М. Ковалевского. «Вопросы истории», 1955, № 9; С. С. Лукичев. Политические и методологические позиции М. М. Ковалевского. Ученые записки Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева, секция юридическая, № 33, 1957; Б. Г. Вебер. Происхождение религиозных войн во Франции в освещении И. В. Лучицкого. «Французский ежегодник», 1958. М., 1959; М. А. Алпатов. П. Г. Виноградов как историк Французской буржуазной революции конца XVIII в. «Французский ежегодник», 1958. М., 1959 и др. См. также «Очерки истории исторической науки в СССР», т. II, М., 1960.

они не касались, присущи определенные общие черты, дающие основание говорить об особой концепции западноевропейского феодализма, созданной в русской буржуазной историографии середины 70-х годов прошлого века — начала 900-х годов.

Идейно-методологические основы этой концепции нельзя рассматривать вне связи с особенностями пореформенного развития России, оставившими на ее содержании свой неизгладимый отпечаток. Вне русской действительности 70—900-х годов с ее наболевшими вопросами, и прежде всего — аграрным, с ее классовыми противоречиями и общественным движением, с ее прямым и непосредственным воздействием на формирование политических и методологических идей русской буржуазной медиевистики, не может быть правильно понята и ее историческая концепция. В сущности, прежде всего именно общность (или во всяком случае близость) основных идейно-методологических принципов вышеуказанных историков и позволяет говорить о наличии единой для всех них концепции феодального развития Западной Европы. Естественно, что на протяжении интересующего нас периода эта концепция не оставалась неизменной. Мы попытаемся наметить тенденции ее эволюции, установить прежде всего характер и направленность развития ее идейно-методологических основ.

В истории западноевропейского феодализма преимущественное внимание русских ученых привлекали социально-экономические, в первую очередь, аграрные отношения. В эволюции аграрного строя они видели ключ к пониманию общих закономерностей феодального развития. Это дает основание говорить о наличии в русской буржуазной медиевистике так называемого социально-экономического направления, в рамках которого и сложилась рассматриваемая нами концепция западноевропейского феодализма и которое является предметом нашего анализа.

Наряду с социально-экономическим направлением в русской буржуазной медиевистике конца XIX — начала XX вв. существовало и другое направление, в центре внимания которого в истории средних веков были вопросы религии и культуры, трактовавшиеся в откровенно идеалистическом плане (так называемая школа В. И. Герье).

Конечно, выделение этих двух направлений в русской дореволюционной медиевистике до известной степени является условным, так как оно преимущественно основывается на различии в предмете исследования. Оба они объединяются в рамках буржуазной историографии. Однако нельзя упускать из виду и существенного различия между ними. Если Герье и его последователи видели в истории средних веков арену деятельности идей, прежде всего, религиозных, которым они отводили решающую роль во всех изменениях, совершавшихся в средневековом обществе, то круг научных интересов представителей социально-экономического направления лежал в иной плоскости. Знаменательным было уже самое стремление рассматривать аграрные отношения феодального Запада как центральную проблему исторического исследования. Но дело не сводится только к различию в проблематике исследования. Оставаясь в целом в рамках идеалистического мировоззрения, социально-экономическое направление расходилось со школой Герье в оценке роли идей в историческом процессе, пытаясь в отдельных случаях связать их генезис с материальными условиями жизни общества.

Не абсолютизируя различие между главными направлениями русской буржуазной медиевистики, необходимо все же подчеркнуть, что магистральная дорога развития русской исторической науки лежала в сфере деятельности социально-экономического направления, которое

не только далеко превзошло школу Герье по своей научной плодотворности, но и являлось ведущим, в значительной степени определяя собой лицо нашей дореволюционной науки. Именно в области изучения социально-экономических отношений русские буржуазные историки добились наибольших успехов, именно здесь они сумели в ряде случаев сделать глубокие обобщения общеметодологического характера.

Возникновение социально-экономического направления в русской буржуазной медиевистике падает на вторую половину 70-х годов XIX века. Почти в одно и то же время разные ученые независимо друг от друга обращаются к исследованию аграрного строя средневекового общества, ставят своей задачей изучение социально-экономических отношений западноевропейского феодализма, т. е. поднимают такие вопросы, которые до этого почти совершенно не разрабатывались в русской буржуазной историографии. В 1876 г. выходит в свет работа М. М. Ковалевского «Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт», в 1879 г. — его же «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения», ч. I. В 1878 г. начинает печататься в киевских «Университетских известиях» обширная, так и оставшаяся незаконченной, работа И. В. Лучицкого «История крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 г.». (Надо сказать что все опубликованные разделы этой работы до 1789 г. так и не дошли — в них рассматривается процесс закрепощения крестьянства в Восточной Германии XVI—XVIII вв., борьба мнений по вопросу о крестьянской реформе и т. д.).

В 1879 г. выходит известная книга Н. И. Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века», а спустя два года его же «Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 года». Наконец, в 1880 г. было опубликовано исследование П. Г. Виноградова «Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии». Так в русской буржуазной историографии возникло социально-экономическое направление, которое уже в следующем десятилетии стало преобладающим в русской медиевистике и обеспечило ее несомненные успехи, выдвинувшие ее в последней четверти XIX в. на почетное место в мировой исторической науке.

Естественным рубежом, завершающим этот период, является революция 1905—1907 годов, после которой развертывается глубокий кризис русской буржуазной историографии, в полной мере отразившийся и на русской буржуазной медиевистике.

Характеризуя политические идеи русской буржуазной медиевистики, необходимо иметь в виду, что ведущие русские медиевисты не просто выражали политические взгляды буржуазии, но и, выступая идеологами буржуазии, во многом содействовали их формированию, в известном смысле слова были их творцами. Это не означает, конечно, что их научные труды являлись простым выражением их классовых, политических позиций. Было бы нелепым искать там развернутые планы общественного и государственного переустройства России в интересах буржуазии. Их роль идеологов буржуазии заключалась, прежде всего, не в создании или ученом обосновании таких планов, а в политическом воспитании русской буржуазии.

С одной стороны, здесь идет речь о выработке и распространении (в этой связи подчеркнем обилие научно-популярных исторических работ в России конца XIX — начала XX столетия как отечественного происхождения, так и зарубежных, в переводе и издании которых принимали участие многие видные русские историки) в широких (отнюдь не только буржуазных) массах концепции всемирно-исторического развития, отвечающей потребностям и конкретным условиям существова-

ния русской буржуазии, о вооружении ее историческими представлениями, соответствовавшими ее классовым интересам. С другой стороны, для русской буржуазии особое значение приобретал исторический опыт Западной Европы, прошедшей как раз тот путь, который предстояло пройти России.

При всем разнообразии тематики и характера исследований русских медиевистов их объединяет убеждение, во-первых, в том, что нормальным типом исторического развития является закономерный прогрессивный эволюционный процесс и, во-вторых, что залогом такого нормального прогрессивного развития является органическое единение правительства и общества, чуткая реакция первого на запросы и потребности второго. Отсутствием этого последнего условия, как правило, и объяснялись всякого рода общественные неустройства и потрясения, начиная от кризиса и краха Римской империи и кончая Великой французской революцией. При этом политические идеалы русских буржуазных медиевистов были весьма умеренными и для большинства из них не шли дальше конституционной монархии английского типа, английского государственного устройства.

Было бы несправедливо безоговорочно утверждать, что русские медиевисты выступали певцами классового мира, проповедовали гармонию хозяйственных и социальных интересов различных классов как основное содержание общественного развития и необходимое условие его прогресса. На определенном этапе общественного развития (кстати сказать, обусловленного развитием экономическим) классовые антагонизмы и даже классовая борьба признавались явлением не только неизбежным, но и правомерным, составляющим характерную черту общественной жизни, органически ей присущую. Ограниченность русской медиевистики — не в принципиальном отрицании классовой борьбы и ее значения в истории. Ограниченность ее в другом — в стремлении доказать, что эта борьба может и должна носить только эволюционный характер, что она поддается успокаивающему воздействию государства, которое должно вносить в нее примиряющее начало, способствуя мирному разрешению спорных вопросов и — таким путем — прогрессивному развитию всего общества. Другими словами, классовая борьба является правомерной постольку, поскольку она не ведет к революции, поскольку она находится под контролем государства, которое своевременно вмешивается в нее в интересах всеобщего блага и прогресса.

Не трудно видеть, что такая концепция исторического развития и его движущих сил прямо перекликается с политическими идеями русской либеральной буржуазии, выступает порождением ее общественной практики и в свою очередь ее теоретическим обоснованием. Печально знаменитые «Политические письма» Виноградова не являются его случайным грехопадением или проявлением внезапного поворота либеральной мысли в условиях революции. Напротив, выдвигавшиеся в них взгляды суть не что иное, как закономерное развитие в условиях бурного подъема революционной активности масс всей предшествующей идеологии русской либеральной буржуазии, идеологии, создававшейся и русскими либеральными медиевистами.

Для понимания идейно-методологических позиций русской буржуазной медиевистики изучаемого периода принципиально важными являются многочисленные ленинские указания о незавершенности процесса общественного размежевания в России до 1905 г. В. И. Ленин подчеркивает совершенно еще не определившиеся отношения классов к самодержавию и между собой до 1905 года[3]), указывая, что только ре-

[3]) В. И. Ленин. Полное собрание сочинений (ПСС), т. 17, стр. 53.

волюция 1905—1907 годов и последовавшая за ней реакция обеспечили точное «самоопределение» всех классов русского общества[4]). Рассматривая «объективные перемены, которые произошли в классовой группировке и в политическом соотношении сил России с 1904 по 1908 год», В. И. Ленин указывает как одну из важнейших в числе их: «Классы в открытой политической борьбе впервые размежевались и определились в России за это время»[5]).

Особое значение для нас приобретают ленинские указания о том, что ни в организационно-политическом, ни в идейном отношении русская буржуазия как класс до 1905 года еще не созрела. Он говорит об «утробном» периоде ее развития до 1905 года[6]), о «юношески-мечтательном возрасте», в котором она тогда находилась[7]). «Буржуазия, — утверждал В. И. Ленин, — впервые начала в нашей революции (речь идет о революции 1905—1907 годов. — *Б. М.*) складываться в класс, в единую и сознательную политическую силу»[8]).

Соответственно этому и ее идеология до первой революции оставалась расплывчатой, неоформившейся. В. И. Ленин говорит о русском либерализме до 1905 г., как о «добродушной, мечтательной, рыхлой и сырой оппозиции благих пожеланий»[9]). Поэтому не случайно в литературном наследии буржуазных идеологов этого периода мы встречаем наряду с типично буржуазными воззрениями и неопределенные народнические чаяния, и несомненные симпатии к простому человеку с его нуждами и заботами. Нельзя видеть в этих настроениях один только сознательный пропагандистский или тактический маневр с целью привлечения на сторону буржуазии широких народных масс, хотя, очевидно, и этот момент нельзя сбрасывать со счета. Все же не будет ошибкой предположить, что у целого ряда авторов эти чаяния и симпатии объяснялись их искренними субъективными побуждениями, которые они не считали несовместимыми с классовыми интересами буржуазии. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе исторических взглядов русских буржуазных медиевистов, в частности, мы имеем в виду их взгляды на классовую борьбу и отдельные, несомненно, антикапиталистические высказывания, объективную почву для которых создавала сама противоречивая русская пореформенная действительность.

Она, эта действительность, и являлась важнейшим источником формирования идейно-методологических, а вместе с тем и исторических взглядов русских медиевистов. Ее характерной чертой было превращение России крепостнической в Россию буржуазную. Важнейшим рубежом в этом превращении является, как известно, падение крепостничества, которое, по словам В. И. Ленина, было «крупным историческим переломом»[10]). Не менее известно, однако, и то, что вплоть до 1917 г. задачи буржуазной революции в нашей стране разрешены не были, что обусловливало своеобразное положение русской буржуазии и ее идеологов, особенно до 1905 г., когда противоречия между буржуазией и рабочим классом еще не играли определяющей роли в общественной жизни страны.

Как писал В. И. Ленин, «в течение этого периода (1861—1905 гг.—

---

[4]) В. И. Ленин. Полное собр. соч. 4, т. 31 стр. 12.

[5]) Там же, т. 17, стр. 272. Здесь же В. И. Ленин подчеркивает, что все классы русского общества «за три года созрели во сто раз больше, чем за предыдущие полвека».

[6]) Там же.

[7]) Там же, т. 8, стр. 85.

[8]) Там же, т. 16, стр. 125.

[9]) Там же, т. 19, стр. 410.

[10]) В. И. Ленин. Полное собр. соч., т. 5, стр. 26.

Б. М.) следы крепостного права, прямые переживания его насквозь проникали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю политическую жизнь страны»[11]). Результатом этого было противоречие между буржуазией и самодержавием как органом диктатуры помещиков-крепостников. Но это противоречие не могло разрешиться революционным путем вследствие того, что буржуазия тысячами нитей была связана с самодержавием и помещичьим землевладением, а также в силу ее страха перед революционным движением народных масс, что побуждало ее стремиться не столько к ликвидации самодержавия, сколько к его модификации, «обуржуазиванию». Это обстоятельство определило политическое бессилие буржуазии и робость ее идеологов, не скрывавших своего стремления к компромиссу, к реформе как своего политического кредо.

В своеобразии русской пореформенной действительности следует искать и истоки научных интересов русских медиевистов. Как известно, важнейшим вопросом общественой жизни России того времени был аграрный вопрос. Его решение в том или ином направлении (а решение это требовалось безотлагательно самой жизнью, всем ходом исторического развития) имело определяющее значение для дальнейших судеб страны. Поэтому закономерно, что аграрная проблематика становится главной в буржуазной историографии. Причем особый интерес у идеологов буржуазии вызывали страны Запада, из истории аграрных отношений которых они стремились извлечь опыт для практической политики своего класса, найти ответ на животрепещущие вопросы, выдвигавшиеся русской действительностью.

Примечательно, что русские ученые-исследователи аграрных отношений Запада сами отлично сознавали эту связь между потребностью времени и направленностью своих научных интересов. Хорошо известны слова Савина о Ковалевском, о том, что работы последнего по истории общинного землевладения и его форм в большой степени были вызваны к жизни жаркими спорами о судьбах великорусской передельной общины, которые сплетались «со жгучими вопросами об особности русской судьбы, о русской, особенно русской крестьянской душе, об обходе злой страды капиталистического своекорыстия и насилия, о кратчайших стезях к царству социальной справедливости»[12]). Еще поучительнее высказывание Кареева. Подчеркивая, что его книга о французском крестьянстве вышла в свет как раз в то время, когда печаталась «История крестьянской реформы» Лучицкого, Кареев продолжает: «Мы друг друга тогда еще не знали, и каждый самостоятельно пришел к своей теме, но совпадение не было случайным. Крестьянский вопрос в 70-х годах в сознании русского общества был центральным социальным вопросом. О себе могу утвердительно сказать, что выбор мной указанной темы был обусловлен этим обстоятельством, и думаю, что так было и с Лучицким»[13]).

На формирование идейно-методологических основ концепции западноевропейского феодализма в русской буржуазной историографии известное влияние оказал позитивизм.

---

[11]) Там же, т. 20, стр. 38.

[12]) А. Н. Савин. М. М. Ковалевский как историк. «Исторические известия», 1916, № 1, стр. 176.

[13]) Н. И. Кареев. Памяти двух историков. «Анналы», 1922, № 1, стр. 167. В этой связи показательно, что именно с конца 70-х годов развертывается активная общественная деятельность Лучицкого, в частности, его большая работа в различных земских учреждениях, которая вплотную столкнула его с широкими крестьянскими массами, способствовала пробуждению внимания к их положению и нуждам, оказала определенное влияние на направление его научных интересов.

Не останавливаясь сейчас на сущности англо-французского позитивизма, следует отметить его широкое распространение в России в 60—70-х годах прошлого столетия. Его пропагандой занимались специальные органы печати, вроде позитивистского «Знания», страницы которого щедро представлялись в распоряжение русских и зарубежных позитивистов. В течение короткого времени в России появилась значительная по своему объему позитивистская литература, позитивистские идеи нашли свое отражение в деятельности целого ряда русских мыслителей.

Не подлежит сомнению и тот факт, что в этот период идеи позитивизма имели широкое хождение как раз в передовых кругах русского общества (достаточно назвать Д. И. Писарева), которым импонировали антитеологическая направленность позитивизма, его критика «метафизики», преклонение перед «реальным фактом», его декларация о связи наук общественных с науками естественными, о необходимости использования первыми данных последних и в особенно большой степени — его просветительские тенденции, сочетавшиеся с непоколебимой верой в закономерный общественный прогресс, рассматривавшийся прежде всего как прогресс интеллектуальный. В позитивизме видели теорию, утверждавшую торжество человеческого разума в его борьбе с невежеством и суевериями. Отмечая отдельные «нелепости» позитивизма, Писарев заявлял, что нельзя «несочувствовать основной мысли Конта и Бокля, той мысли, что вся история есть борьба рассудка с воображением и что сильнейшим двигателем прогресса оказывается накопление и распространение знаний»[14]).

Впрочем, уже в это время позитивизм подвергался острой критике слева—факт весьма знаменательный. На страницах прогрессивного журнала «Космос» систематически вскрывалась его несостоятельность как научной системы[15]). Резкую критику позитивизма мы находим у Н. Г. Чернышевского, охарактеризовавшего пресловутый контовской «великий основной закон» трех стадий интеллектуальной эволюции человечества как формулу «совершенно вздорную»[16]). Однако в целом позиции позитивизма в этот период в России были, повторяем, достаточно прочными, типичной критикой его тогда была критика справа, со стороны реакционных философов и публицистов, обвинявших позитивизм во всех смертных грехах и прежде всего — в материализме и атеизме.

Влияние позитивистских идей испытали на себе и крупнейшие представители русской буржуазно-либеральной медиевистики, начинавшие в 60—70-х годах прошлого столетия свою научную деятельность. Восторженным почитателем Конта выступает молодой Лучицкий, утверждавший даже, по словам современника, что главной задачей исторической науки должен был быть фактический комментарий к V

---

[14]) Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах, т. 4, М., 1956, стр. 199. В другом месте к числу «великих и плодотворных» идей контовского «Курса положительной философии» Писарев относит мысль о том, что «явления общественной жизни подлежат естественным законам» (Полное собрание сочинений, т. V, Спб., 1894, стр. 314).

[15]) В качестве показательного примера приведем опубликованную в этом журнале статью известного английского естествоиспытателя Т. Гексли «Физическое основание жизни. Новая философия и позитивизм». «Космос», 1896, № 2). Этой статье предпослано любопытное редакционное примечание. Указывая на свое отрицательное отношение к «пресловутому позитивизму» и его русским приверженцам из числа интеллигенции, редакция возлагает надежду, что «авось либо хоть имя Гексли остановит это нахальство либеральничающих невежд, желающих прикрываться пустыми и пошлыми словоизвержениями». (Там же, стр. 140).

[16]) Н. Г. Чернышевский. Избранные философские сочинения. т. 3, 1951, стр. 691.

и VI томам «Курса положительной философии»[17]). Печать сильного влияния контовского позитивизма лежит и на ранних работах Кареева, посвященных теоретическим вопросам исторической науки[18]). Стойкое влияние контовских идей испытал Ковалевский[19]). Общепризнан и факт влияния позитивизма на Виноградова.

Однако, на наш взгляд, является неправомерным на этом основании утверждать, что названные ученые на протяжении всей своей деятельности остались правоверными позитивистами, что в своих исторических изысканиях они неизменно руководствовались позитивистской методологией. Прежде всего, на заре своей научной деятельности ни один из крупных русских либеральных медиевистов, за исключением разве только Лучицкого, не разделял безраздельно все основные позитивистские идеи, подчас полемизируя с Контом или Спенсером по существенно важным вопросам. Тот же самый Кареев при всем своем почтении к контовскому позитивизму не останавливается перед критикой ряда его принципиальных положений. Считая нужным дать в одной из своих статей «беглое обозрение ошибок Конта», он в первую очередь указывает на то, что «Конт за развитие человечества выдает один прогресс его миросозерцаний»,[20]) т. е. в сущности выступает против центрального положения контовской философии истории. Характерным образом Кареев в этой же статье полемизирует с контовским пониманием западноевропейского феодализма.[21]) Подобные примеры легко умножить. Но дело заключается не только и, пожалуй, даже не столько в критике тем или иным историком отдельных положений Конта или Спенсера. Более существенным является вопрос, насколько глубоко позитивистская методология отразилась на его научной деятельности, как она воплотилась в его конкретно-исторических исследованиях. С этих позиций и следует рассматривать вопрос о влиянии позитивизма на русскую буржуазную медиевистику.

Нам представляется, что круг интересов крупнейших представителей социально-экономического направления в русской буржуазной медиевистике в пору их научной зрелости лежал вне традиционной позитивистской тематики. В самом деле, вспомним основные принципы позитивизма. Конт своим известным законом трех стадий провозглашал интеллектуальное развитие человечества основным содержанием исторического процесса, а Бокль — крупнейший представитель позитивистской историографии — сделал грандиозную попытку представить историю цивилизации человечества, как историю его умственного развития, т. е. воплотить центральное положение контовского позитивизма в конкретном историческом исследовании, дать ему всестороннее историческое обоснование. Другой родоначальник позитивизма, Спенсер, провозглашал решающим фактором исторического развития изменение нравственной природы человека.

---

[17]) Н. И. Кареев. Памяти двух историков. «Анналы», 1922, № I, стр. 166—167.

[18]) См. в особенности его статью «Мифологическое мировоззрение и положительная философия», «Знание», 1876, № 11, где позитивизм как «научная философия» противопоставляется «изжившему свой век идеализму и потерявшему всякий кредит материализму».

[19]) См. Б. Г. Сафронов. М. М. Ковалевский как социолог. М., 1960. Ср. А. Н. Савин «...Ковалевский в сущности всего ближе был к самому старому из социологов (О. Конту.— *Б. М.*)». Ковалевский настаивает на том, что «социологическая мысль до наших дней течет по руслу, предуказанному ей Контом» (Исторические известия, 1915, № 1, стр. 170—171.)

[20]) Н. И. Кареев. Философия истории и теории прогресса. «Знание», 1876, № 2, стр. 53.

[21]) Там же, стр. 52.

Нельзя не признать, что эти позитивистские принципы не получили сколько-нибудь серьезного развития в конкретно-исторических исследованиях русских либеральных медиевистов. Более того, становление социально-экономического направления в русской буржуазной медиевистике в известном смысле проходило в процессе преодоления нашими учеными позитивистской философии истории. Практика исторического исследования оказывалась несовместимой с обветшалыми контовскими догмами. С позиций «великого закона» трех стадий интеллектуальной эволюции человечества было невозможно исследовать действительные закономерности развития феодальной Европы. Точно так же нельзя было серьезно думать о проникновении в существо феодальных отношений, разделяя твердое убеждение основоположников позитивизма в непознаваемости мира, в том, что задачей исторической науки является простое описание прошлого, без претензии проникнуть в сущность протекавших там процессов и явлений.

Между тем, созданная в русской буржуазной историографии концепция западноевропейского феодализма характеризуется именно стремлением наших ученых постичь сокровенное содержание феодальных отношений на Западе, которое они искали главным образом в развитии аграрного строя. Без этого они не считали возможным понимание важнейших исторических явлений и процессов. Замечательно, что именно так в ряде случаев подходили русские медиевисты к проблеме роли и места классовой борьбы в истории. Достаточно вспомнить книгу Петрушевского «Восстание Уота Тайлера», в которой делается попытка показать это крупнейшее проявление классовой борьбы английского крестьянства в средние века как закономерное следствие всего предшествовавшего восстанию развития аграрных отношений в стране. Другой, пожалуй, еще более яркий пример представляет так называемая русская школа в историографии Франции XVIII века, подходившая к пониманию Великой Французской буржуазной революции с точки зрения процессов, совершавшихся во французской деревне XVIII столетия.

Следует отметить и другое обстоятельство. В русской медиевистике не получило значительного распространения характерное для буржуазной историографии Запада стремление дать социально-экономическим отношениям психологическое обоснование, ее повышенный интерес к проблемам этическо-нравственного характера как первооснове всякого исторического развития. Как известно, многие буржуазные историки и экономисты Запада, занимавшиеся изучением социально-экономических отношений эпохи феодализма, рассматривали эти отношения как производные, являвшиеся продуктом действия иных, более высоких сил — интеллектуальных, психологических, нравственных.

В этом и проявилось влияние на них позитивизма. Напротив, в русской медиевистике изучаемого периода мы не можем найти ни одной сколько-нибудь значительной попытки связать анализ социально-экономических отношений в определенную эпоху и в определенной стране с психологическими или морально-этическими категориями, показать зависимость первых от вторых. Точно так же мы не встречаем развернутой попытки положить эти категории в основу исторических построений, рассматривать под их углом зрения весь ход общественного развития[22]).

---

[22]) Правда, Кареев в своей книге «Основные вопросы философии истории», конструируя «общую теорию исторического прогресса», указывает, что она может быть построена на данных двух наук — психологии и социологии. Однако этот позитивистский принцип не нашел отражения в его собственных конкретно-исторических работах.

Конечно, нельзя отрицать влияния позитивизма на русских медиевистов и в зрелую пору их жизни. Однако характерным образом это влияние проявлялось скорее в их общественно-политических взглядах, чем в исследовании конкретного исторического материала. Позитивистские идеи использовались историками-идеологами русской буржуазии для теоретического обоснования консервативной политики своего класса, оправдания его страха перед революцией, его стремления к сговору с царским самодержавием. В частности, это относится к известной конговской формуле «согласование порядка и прогресса», проповедывавшей необходимость прогресса в рамках «порядка», т. е. существующего общественного строя. В сущности, эта формула необычайно удачно выражала политическое кредо русской буржуазно-либеральной медиевистики.

Реакционные политические идеи, которые еще до 1905 года проникали в произведения русских медиевистов, преимущественно носили позитивистскую окраску, являлись перепевами различных позитивистских откровений. Особенно показательна в этом отношении работа Виноградова «О прогрессе», составленная из публичных лекций, прочитанных автором в начале 1898 года в Москве. В этой работе Виноградов проповедует реакционную теорию Спенсера, уподобляющую человеческое общество биологическому организму. Вслед за Спенсером он отрицает наличие коренного различия между процессами, протекающими в неживой природе, органическом мире и человеческом обществе, и доказывает полную применимость биологических законов к развитию этого последнего.[23]) Этот биологизм Виноградов, подобно Спенсеру, использует для апологетики существующего эксплуататорского строя, уподобляя его организму, каждый член которого органически связан со всеми остальными и не может быть устранен без ущерба для всего организма. Признавая наличие известного антагонизма внутри общества, он предупреждает: «Но если антагонизм этот возрастает до слишком сильной степени, то плохо будет общественному организму. Нравственная связь, его замыкающая, ослабнет, отдельные люди будут плохо поддерживать общество, выдадут в момент опасности, будут обманывать и уклоняться в будничных отношениях, отвернутся от опостылевшего организма и перекочуют к какому-либо другому.[24])

До конца фальшиво и реакционно звучит заключение брошюры. Виноградов призывает человечество к приспособлению к окружающей среде, воспитанию людей и общества в духе человечности и справедливости, познанию вечной истины и разумному пониманию человеческих отношений. «Не достижение благоденствия может быть поставлено конечной целью, — продолжает автор, — благоденствие не зависит вполне от человеческих условий. Но пока люди живы, они будут деятельны, будут стремиться к благоденствию. А если б непреодолимые внешние преграды стали на дороге к осуществлению благоденствия, для деятельных и разумных людей все-таки останется путь к счастью — внутреннее удовлетворение, которое делает человека свободным и счастливым даже на костре»[25]). Так, уже за несколько лет до революции

---

[23]) П. Г. Виноградов. О прогрессе. М., 1898, стр. 33, 43.

[24]) Там же, стр. 49.

[25]) Там же, стр. 61—62. Ср. с этой сентенцией уверение Конта, что действительное счастье совместно со всякими условиями существования, лишь бы они были честно выполнены и разумно приняты» (О. Конт. Дух позитивной философии. Спб. 1910, стр. 65). Словно для того, чтобы не оставить никакого сомнения насчет подлинного смысла подобных откровений, Конт тут же заявляет, что позитивизм не имеет ничего общего с «гибельным стремлением ко всеобщему уничтожению классовых различий».

1905—1907 гг. позитивистские идеи используются для «ученого» обоснования предательства русской буржуазии, ее стремлений к приспособлению к «непреодолимым внешним препятствиям».[26])

Одной из центральных проблем, встающих при изучении методологических идей русской буржуазной медиевистики конца XIX — начала XX вв., является отношение ее представителей к марксизму, влияние материалистического понимания истории на развитие ее идейно-методологических позиций.

Проблема эта в нашей литературе последних 15 лет получила несколько одностороннее освещение. Основное внимание было направлено на доказательство того, несомненно, справедливого положения, что русские буржуазные историки были далеки от марксизма. Но при этом отрицалось всякое влияние на некоторых из них материалистического понимания истории. Такая постановка вопроса не только противоречит действительности, но и является методологически неверной. Вольно или невольно ее сторонники представляют дело таким образом, будто в условиях капитализма марксизм лежит вне столбовой дороги развития профессиональной исторической науки, а вся сложность взаимоотношений между ними сводится к извращению и фальсификации марксизма буржуазной историографией.

Между тем появление и широкое распространение марксизма, которое шло об руку с обострением классовой борьбы в капиталистическом обществе и успехами революционного движения рабочего класса, становившегося крупнейшей силой современной общественной жизни, оказало неизгладимое влияние и на буржуазную общественную науку. Конечно, основные усилия буржуазных идеологов сосредоточивались на задаче «опровержения» и «уничтожения» марксизма, чем они с неизменным «успехом» занимаются вот уже больше столетия. Но нельзя не заметить и другое. Уже Энгельс констатировал, что «присяжные экономисты Германии годами столь же усердно списывали «Капитал», сколь упорно замалчивали его»[27]).

То же самое можно отнести и к разработанной Марксом и Энгельсом концепции исторического развития. Неприемлемая для буржуазной историографии в целом, она тем не менее оказала благотворное влияние на отдельные ее направления. Тот факт, что со второй половины прошлого столетия в буржуазной историографии возникает целое направление, пытающееся исследовать материальные условия жизни общества, и, исходя отсюда, установить закономерность исторического развития, не может быть правильно понят и оценен без учета влияния марксизма (а отнюдь не позитивизма) на буржуазную историческую науку.[28])

---

[26]) В этой связи небезынтересно будет заметить, что уже с 90-х годов прошлого столетия начинается пересмотр отношения к позитивизму со стороны русской реакционной науки, для представителей которой он из врага все более превращается в союзника. В этом отношении характерна небольшая брошюра русского реакционного аграрника и социолога Д. А. Столыпина «Несколько слов о классификации наук О. Конта» (М., 1890). В ней автор защищает Конта от обвинений в материализме и видит главное значение его философии в борьбе с «революционными принципами 1789 года», со всякой смутой в политике и философии. Курьезным образом автор использует философию Конта для доказательства необходимости разрушения русской общины и внедрения хуторской системы.

[27]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 21, стр. 25.

[28]) Конечно, и вне прямого или косвенного влияния марксизма возможно было появление в буржуазной историографии трудов, авторы которых стремились подходить с материалистических позиций к некоторым явлениям общественной жизни, в частности, пытались выводить социальные отношения из перемен в экономической организации общества. Достаточно назвать работы известного немецкого буржуазного ученого Ло-

Начиная с 70-х годов прошлого столетия, марксизм получает широкое распространение в передовых кругах русского общества. В произведениях Маркса и Энгельса, в личной переписке и общении с ними русские революционеры стремились найти ответы на волновавшие их вопросы современной общественно-политической жизни и — главное — путей грядущего развития страны. Но не только в этих кругах распространялся марксизм. На страницах либеральной печати появляются статьи с изложением отдельных сторон марксистского учения, в среде буржуазной интеллигенции возникает целое направление, стремившееся использовать некоторые положения марксизма в классовых интересах русской буржуазии. Не остались чуждыми марксистскому влиянию и различные отрасли русской общественной науки, прежде всего, политическая экономия, но, в известной степени, — и историческая наука.

Сложность вопроса об отношении буржуазной общественной науки в России к марксизму глубоко раскрыта В. И. Лениным в его оценке так называемого «легального марксизма». Обычно, говоря об этой оценке, подчеркивают ее негативную сторону. И действительно, В. И. Ленин беспощадно бичевал струвизм, как «стремление теоретиков буржуазии убить марксизм «посредством мягкости», удушить посредством объятий, путем якобы признания «всех» истинно-научных» сторон и элементов марксизма, кроме «агитаторской», «демагогической», «бланкистски-утопической» «стороны его»[29]). В ленинских работах с уничтожающим сарказмом высмеивается невежество буржуазных интерпретаторов и оппонентов Маркса, их исконное непонимание материалистической диалектики и теории классовой борьбы, разоблачаются попытки идеологов русской буржуазии приспособить марксизм к потребностям своего класса, выхолостить его революционное содержание.

Но, вместе с тем, в ленинской критике «легального марксизма» нельзя упускать из виду и другую ее сторону. Подчеркивая непонимание буржуазными учеными азбучных истин марксизма, вскрывая несостоятельность их «критики» учения Маркса, В. И. Ленин отмечал и факт известного позитивного отражения марксистских идей в буржуазной общественной науке. Характерна уже сама ленинская постановка вопроса о «легальном марксизме», как «отражении марксизма в буржуазной литературе». Эта формула, бесспорно, шире понятия «извращение марксизма в буржуазной литературе» и наряду с ним включает в себя и нечто иное. Вспомним ленинский анализ написанных в 90-е годы прошлого столетия экономических работ Струве. Давая суровую отповедь буржуазно-объективистским взглядам Струве, его попыткам ревизии марксизма, В. И. Ленин в то же время отмечает и отдельные пра-

ренца Штейна, в особенности его трехтомную «Историю социалистического движения во Франции с 1789 года до наших дней» (1850). Проповедуя идею надклассовой «социальной монархии» как надежную гарантию против революционных потрясений, Штейн, тем не менее, делает в этой книге немало интересных наблюдений относительно зависимости жизни общества от господствующих в нем экономических отношений. Еще раньше, в самом начале XIX в., была опубликована трехтомная «История происхождения германских сословий» (1806—1808) Гюллмана, где проводилась мысль о том, что господствующий характер хозяйственной деятельности народа обусловливает его общественное устройство. Такие примеры можно продолжить, но все они будут единичными. Работы подобного рода оставались изолированным явлением в буржуазной историографии, продолжавшей быть по преимуществу политической, и не оказали существенного влияния на ее развитие. Ничего принципиально нового не принесло с собою и возникновение позитивистской историографии, выдвинувшей на первый план изучение интеллектуального развития человечества, рассматривавшегося в отрыве от материальных условий его жизни. И лишь только в последней трети XIX в. в буржуазной историографии появилось большое и влиятельное направление, порвавшее с традиционными воззрениями на задачи исторической науки и обратившееся к изучению социально-экономических основ исторического развития.

[29]) В. Ленин. Полное собр. соч., т. 26, стр. 227.

вильные мысли Струве, являвшиеся следствием применения марксистских положений к изучению социально-экономического развития пореформенной России. Более того, как известно, В. И. Ленин считал возможным в своей полемике с народниками использовать работы Струве, остро критикуя при этом содержавшиеся в них ошибочные положения.

Ленинская оценка струвизма как стремления идеологов буржуазии «взять из марксизма все, что приемлемо для либеральной буржуазии, вплоть до борьбы за реформы, вплоть до классовой борьбы (без диктатуры пролетариата), вплоть до «общего» признания «социалистических идеалов» и смены капитализма «новым строем», и отбросить «только» живую душу марксизма, «только» его революционность»[30]) — эта оценка в известной степени приложима и к русской буржуазно-либеральной историографии изучаемого периода. Пусть не в такой яркой форме, но все же принципиальная линия отношения к материалистическому пониманию истории, характерная для «легального марксизма», нашла свое выражение и в научной деятельности целого ряда русских буржуазно-либеральных историков, в том числе и историков, занимавшихся изучением западноевропейского феодализма.

Отношение буржуазной историографии, как и других отраслей русской общественной науки, к марксизму для В. И. Ленина всегда определялось классовыми позициями русской буржуазии, ее местом в классовой борьбе своего времени и поэтому на разных этапах ее развития не могло быть одинаковым. В общем виде характер его эволюции вскрывает известная ленинская формула: «До 1905 года буржуазия не видела другого врага, кроме крепостников и «бюрократов»; поэтому и к теории европейского пролетариата она старалась относиться сочувственно, старалась не видеть «врагов слева». После 1905 года нарождается в России контрреволюционная либеральная буржуазия, и профессорская либеральная наука, *нисколько не теряя* престижа в «обществе», принимается всерьез уничтожать Маркса»[31]). С этих позиций В. И. Ленин подходит и к оценке отдельных представителей буржуазной общественной науки. На примере Струве, Милюкова и др. он показывает, как после революции 1905—1907 годов буржуазная наука перешла от признания отдельных положений исторического материализма к ожесточенной борьбе с ним, к откровенной фальсификации истории.

С этих позиций необходимо рассматривать и развитие русской буржуазно-либеральной медиевистики. В отношении русских историков социально-экономического направления к марксизму есть одна особенность, вытекающая из указанного В. И. Лениным своеобразного положения русской буржуазии и ее идеологов до 1905 г.: в отличие от буржуазных ученых Запада русские медиевисты, за небольшим исключением, в своих конкретно-исторических исследованиях не ставили перед собой непосредственной задачи борьбы с марксистской концепцией исторического развития. Это в известной степени облегчало усвоение ими и проведение в своих трудах некоторых положений материалистического понимания истории.

Отражение марксизма в русской буржуазной медиевистике следует искать в самом подходе ученых к исторической действительности, в стремлении разглядеть за исследуемыми явлениями их социальную природу, классовые взаимоотношения, проследить воздействие социально-экономических отношений на идейно-политическую сторону жизни общества. В 80—90-е годы прошлого столетия в русской буржуазно-ли-

[30]) В. И. Ленин. Полное собр. соч., т. 26, стр. 227.
[31]) В. И. Ленин. Полное собр. соч., т. 25, стр. 34.

беральной медиевистике распространяется убеждение в первостепенном значении экономических отношений в историческом процессе. Выражая это убеждение, Лучицкий говорит о рождении нового направления в исторической науке.

«Оно сделалось, — характеризует он это направление, — одною из самых характерных черт научной жизни и деятельности и обещает в близком будущем радикально изменить то, что называют научной историей, научной политической экономией... Благодаря ему на первый план выдвинуто изучение важнейшего из факторов жизни: экономического фактора, и вполне ясно поставлено, как главная задача изучения, выяснение во всех деталях процесса экономических изменений, происходивших в жизни как отдельных народов, так и всей Европы, но процесса не самого лишь в себе (как то было раньше), а в связи с остальными явлениями и факторами жизни». Он видит задачу исторической науки в установлении того, «какое влияние оказывали экономические явления на ход событий, какое взаимодействие существовало между экономическими факторами и тем калейдоскопом событий и фактов, который составляет содержание того, что называют обыкновенно историей»[32]).

Еще более важно, что дело не ограничивалось простым провозглашением подобных взглядов. И Лучицкий и другие представители социально-экономического направления в русской буржуазной медиевистике в той или иной степени пытались проводить их в своих конкретно-исторических работах. Занимаясь тщательным изучением материальных условий жизни феодального общества, русские историки в отдельных случаях стремились показать определяющее влияние их на социально-политические отношения и, в частности, на классовую борьбу.

Вместе с тем зачинатели социально-экономического направления в русской буржуазной медиевистике были далеки от понимания действительного значения марксизма в исторической науке. Тот же Лучицкий, говоря о новом направлении в исторической науке, поставившем во главу угла изучение экономических отношений, связывает его исключительно с деятельностью Лампрехта, Шмоллера и других буржуазных ученых, а инициатором его объявляет Роджерса.[33]) Даже Ковалевский, влияние на которого марксизма является общепризнанным и в буржуазной литературе,[34]) понимал марксистское учение весьма своеобразно. Для него Маркс — последовательный гегельянец, марксистское учение он считает необходимым дополнить позитивистской доктриной.[35])

Наконец, к старшему поколению русских буржуазно-либеральных медиевистов относится и Кареев, едва ли не первым в нашей либеральной историографии выступивший с развернутой критикой марксизма. Испытавший сам некоторое влияние марксистских идей,[36]) он тем не

[32]) В. Лучинский. Джемс Сорольд Роджерс (некролог). «Юридический вестник», 1891, февраль, стр. 172.

[33]) Там же.

[34]) См., в частности, А. Н. Савин, М. М. Ковалевский как историк. «Исторические известия», 1916, № 1, стр. 172, 176—177; В. П. Бузескул. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX вв., ч. I, М., 1929, стр. 204.

[35]) См. Б. Г. Сафронов, Цит. соч., стр. 74—78.

[36]) Это влияние можно усмотреть, в частности, в лучшем его конкретно-историческом исследовании «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века». Эта книга написана под определенным влиянием учения К. Маркса о первоначальном накоплении капитала, на что указывает не только наличие первого тома «Капитала» в списке использованной автором литературы и его ссылки на этот труд К. Маркса, но и сама постановка вопроса об обезземеливании французского крестьянства в процессе аграрного развития страны. Критикуя взгляды Токвиля, Кареев, в частности, заявляет: «История, которая с формально-юридической точки зрения является процессом свободы и приобретения крестьянами собственности, с точки зрения социально-экономической получает несколько иной смысл» и далее — о прогрес-

менее в целом занимает в отношении материалистического понимания истории враждебную позицию, неправомерно отождествляя марксизм с вульгарным экономизмом. При этом обращает на себя внимание, что Кареев боролся не столько с материалистическим пониманием истории вообще, сколько с «односторонним экономизмом» на русской почве, критикуя, в частности, за «излишнюю склонность к экономическому фактору» Лучицкого и Петрушевского[37]). Впрочем, подобные взгляды не были типичными в тогдашней русской либеральной историографии. Характерным образом сам Кареев жаловался, что о марксизме «писали до сих пор главным образом его сторонники, тогда как критиков его почти не появлялось»[38]).

Если формирование методологических взглядов основателей социально-экономического направления в русской медиевистике происходило в обстановке широкого распространения позитивистских идей, что, конечно, не способствовало их знакомству с марксизмом, которое, как правило, приходило лишь позже, по мере изживания позитивистских увлечений, то иначе обстояло дело с младшим поколением русских либеральных медиевистов. Складывание методологических и исторических взглядов Петрушевского, Пискорского и их современников падает на конец 80-х—90-е годы прошлого столетия, т. е. на период, когда марксизм все более широко распространялся в России, когда под влиянием марксистской критики оказалась очевидной несостоятельность откровенно идеалистических концепций исторического развития, когда в стране назревала революционная ситуация, приведшая к первой в эпоху империализма народной революции. Поэтому не случайно, что ученые этого поколения в своих методологических работах, игнорируя позитивизм, не только не обходят молчанием марксизм, но и считают необходимым открыто сформулировать свое отношение к нему, признают за материалистическим пониманием истории значение теории, без учета которой нельзя правильно понять важнейшие исторические явления

сирующем обезземеливании крестьянства (стр. 116). Вообще, стремление при анализе так называемого крестьянского вопроса проникнуть в самое существо социально-экономических отношений эпохи является отличительной чертой этой содержательной книги. Сам автор подчеркивает: «Главной своей задачей я и поставил рассмотрение... аграрных и социальных отношений, определяющих положение крестьян как земледельческого сословия. Такова моя точка зрения. С этой же точки зрения я рассматриваю историю крестьянского вопроса, можно сказать — и возникшего, и окончившего свое существование в последней четверти прошлого века: вся суть этого вопроса в отношениях аграрно-социальных, и как постановка его, так и способ решения обусловливались, с одной стороны, принципами, лежавшими в основе тогдашнего поземельного устройства, а с другой, потребностями, интересами и стремлениями отдельных общественных классов» (стр. 480).

Примечательным образом влияние марксизма сказалось также на попытке Кареева показать сложный и противоречивый характер исторического прогресса, осуществляющегося в антагонистическом обществе за счет народных масс. Выступая против «пошлого оптимизма» и указывая в этой связи на противоречивый характер исторического развития, он, в частности, подчеркивал, что промышленный переворот в европейских странах вел к резкому ухудшению положения непосредственных производителей. Ссылаясь на «Капитал» Маркса, он писал: «...Введение машин, **благодаря известному социальному строю**, вызвало множество явлений несомненно регрессивного свойства: оно привлекло к фабричному труду женщин и детей, что вызвало ужасные физические и моральные последствия, оно удлинило рабочий день, что сделало труд более тяжелым и однообразным, оно превратило работника в автомат и т. д.» (Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории. М., 1883, т. I, стр. 422. (Подчеркнуто нами. — *Б. М.*). Далее Кареев именно этим объясняет «народную ненависть против машин в начале широкого их применения к фабричному производству» (там же).

[37]) См. его статью «Экономический материализм в истории». — «Вестник Европы». 1894, № 7, стр. 22—24, 30—34.

[38]) Там же, стр. 31.

и процессы, характер общественного развития в целом, подчеркивают ее плодотворность для развития исторической науки.[39])

В первую очередь это относится к представлению о значении материальных условий жизни общества в историческом процессе. Так, Петрушевский в уже упоминавшемся введении к «Очеркам из истории средневекового общества и государства» приближается к материалистическому решению вопроса о соотношении общественного бытия и общественного сознания. Марксистское учение о происхождении общественных идей Петрушевский рассматривает как крупнейшее завоевание науки, открывающее новые горизонты в ее развитии, как переворот в науке, видит в этом учении бессмертную заслугу марксизма[40]). Важно подчеркнуть, что Петрушевский не ограничивался простой декларацией требования выводить общественные идеи из изучения материальной жизни общества, но и пытался в ряде случаев проводить этот принцип в своем исследовании конкретного исторического материала.

В своей работе «Восстание Уота Тайлера» Петрушевский, наряду с тщательным изучением социально-экономической истории средневековой Англии, рассматривает также (правда, значительно менее обстоятельно) и общественные идеи и теории, имевшие хождение в тогдашней Англии. Исследуя, в частности, движение лоллардов и его роль в восстании 1381 года, он пытается поставить анализ этого движения в связь с материальными условиями жизни английского общества во второй половине XIV века. Петрушевский объясняет успехи лоллардизма тем обстоятельством, что различные общественные группы находили в идеях лоллардов формулировку и санкцию своим жизненным, материальным интересам.[41])

Приступая к анализу программ, выдвинутых восставшими крестьянами, Петрушевский рассматривает эти программы как отражение материальной действительности. Так, говоря о Майл-Эндской программе, он подчеркивает, что выражавшиеся ею социальные идеи созрели значительно раньше восстания, что они формировались в сознании народа десятилетиями классовой борьбы, социально-экономическими условиями жизни английских крестьян. Петрушевский ставит вопрос, «можно ли сказать, что антифеодальные идеи восставших были лишь формулировкой тенденций материальной действительности...?»[42]) И вся вторая часть «Восстание Уота Тайлера» является в сущности попыткой найти положительное решение этого вопроса[43]).

Книга Петрушевского «Восстание Уота Тайлера» — может быть, самый яркий, но отнюдь не единственный пример обращения русских медиевистов на пороге нашего столетия к изучению классовой борьбы

---

[39]) См., например, методологическое введение Д. М. Петрушевского к его «Очеркам из истории средневекового общества и государства», опубликованное впервые в 1904 г. (Журнал «Научное слово», 1904, № 3); работу В. К. Пискорского «О предмете, методе и задачах науки всеобщей истории» (Казань, 1906), а также статьи А. Н. Савина «Социальная история Англии XV—XVI веков в новой историографии» (Журнал Министерства народного просвещения, 1901, июнь) и «Заметка о первоначальном накоплении в изображении Маркса» (Сборник «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая», Спб., 1901).

[40]) Д. М. Петрушевский. Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 1907, стр. 12.

[41]) Д. М. Петрушевский. Восстание Уота Тайлера, ч. 2. М., 1901, стр. 348—350.

[42]) Там же, ч. I, Спб. 1897, стр. 382.

[43]) Интересные замечания о близости Петрушевского к марксизму в период его работы над «Восстанием Уота Тайлера» мы находим у М. Н. Покровского (См. его статью «Новые течения в русской исторической литературе». «Историк-марксист», 1928, № 7, стр. 5, 10).

в средневековой Европе как закономерного результата всего ее социально-экономического развития. Менее известна книга Пискорского «Крепостное право в Каталонии в средние века». Между тем она заслуживает особенного внимания. На примере средневековой Каталонии Пискорский сделал попытку показать место и роль классовой борьбы в развитии общества. В центре его внимания — судьбы крепостного права в Каталонии, значение крестьянских восстаний в его ликвидации. Не случайно из четырех глав книги две последние посвящены классовой борьбе каталонского крестьянства.

Характеризуя крепостное право как «выражение определенной стадии экономического развития»[44]) и связывая его разложение с переменами в хозяйственной организации общества (появление и рост городов, развитие товарно-денежных отношений), Пискорский вместе с тем видит в крестьянской борьбе силу, значительно ускорившую процесс ликвидации крепостнических отношений. В итоге своего исследования он приходит к следующему выводу: «медленный процесс... разложения (крепостного права.— *Б. М.*), который мог затянуться на неопределенное время вследствие нежелания сеньоров расстаться с выгодами крепостного труда и зависимости и колебания королевской политики по крестьянскому вопросу, был ускорен крестьянскими восстаниями. Они способствовали окончательному разрешению одной из труднейших проблем социальной истории Каталонии в средние века»[45])

Тем самым Пискорский подходит к правильному пониманию вопроса о соотношении двух путей общественного развития, о роли насилия в решении назревших проблем экономической эволюции. Для Пискорского классовая борьба в средневековой деревне — закономерное явление, обусловленное коренным различием в экономическом положении феодальных сеньоров и крепостных крестьян. Он подчеркивает «противоположность интересов крестьянства и высших сословий»[46]), показывает их непримиримость. Поэтому в его изображении «освободительное движение среди крестьян» и высшая его форма — восстания выступают как единственное средство радикального улучшения положения крестьянских масс.[47])

---

[44]) В. К. Пискорский. Крепостное право в Каталонии в средние века. Киев, 1901, стр. 6.

[45]) Там же, стр. 220.

[46]) Там же, стр. 169.

[47]) Тема классовой борьбы в средневековом обществе не является новой для русской медиевистики. Уже С. В. Ешевский, рассматривая в своей диссертации «Апполинарий Сидоний. Эпизод из литературной и политической истории Галлии V века» (М., 1855) проблему перехода от античности к средним векам, указывает и на классовую борьбу в этот период, отмечая ее значение в гибели Римской империи. Серьезное внимание народным движениям в средневековой Франции уделял Лучицкий (См. опубликованную в настоящем сборнике статью «И. В. Лучицкий о роли народных масс в гугенотских войнах»). Признание закономерности классовой борьбы следует признать характерной чертой его идейно-методологических взглядов. Недаром он заявляет о «борьбе между двумя обширными классами общества, проходящей под различными формами через всю известную нам историю» (в кн. Э. Зеворт «История нового времени (XVI—XVIII вв). Перевод под редакцией и с дополнениями И. В. Лучицкого, т. I, Киев, 1883, стр. 213), И. Лучицкий и Кареев подчеркивают значение крестьянских восстаний в ликвидации сеньериальных отношений во время революции 1789—1793 годов. Значительное место находит классовая борьба и в исторических построениях Ковалевского. Однако у всех этих ученых тема крестьянских движений не является ведущей, занимает в общем подчиненное положение в системе их исторических взглядов. В отличие от этого и для Петрушевского, и для Пискорского классовая борьба — кардинальный факт всего социально-экономического развития. Оба они посвящают свои главные труды крупнейшим крестьянским движениям в средневековой деревне.

Не был Петрушевский одинок и в своем подходе к решению вопроса о соотношении материальной и идейной сторон жизни общества. Отражение материалистических взглядов на эту одну из самых важных и сложных проблем исторической науки представляется возможным проследить и в некоторых работах Виппера. «Самые явления духовной культуры, под беглым впечатлением которых прежде выводились смелые и красивые воздушные линии над земною обыденностью, — заявляет Виппер, — самые эти явления новый исследователь стремится привести в тесную связь с ближайшими социальными и материальными условиями»[48]).

С этих позиций Виппер и подходит к изучению переломного в европейской истории XVI столетия. Если для большинства современных ему буржуазных ученых XVI век являлся в первую очередь веком реформации и контрреформации, веком ожесточенной идеологической борьбы, то Виппер обращает главное внимание на социально-экономические предпосылки этих религиозных потрясений. Показательно, что свою работу «Общество, государство, культура Запада в XVI веке» Виппер начинает с образа экономического развития Западной Европы, подчеркивая, что «с XV века на Западе наблюдается крупный экономический переворот»[49]). Именно здесь он и стремится найти решающую причину бушевавшей в XVI веке идейно-политической борьбы.

Полемизируя с традиционным в буржуазной историографии взглядом, отрывающим религиозную и политическую борьбу в XVI столетии от ее материальных основ, Виппер пишет: «...Мы не можем более выделять от великих колебаний религиозной и политической борьбы эпохи реформации одновременного им развития материальных условий общественной жизни. Это развитие не представляет только течения, параллельного ходу идей или комбинациям и сцеплениям политики, течения, лишь по временам врывающегося в сферу, где, по-видимому, действуют логические аргументы и психические настроения. Крупные столкновения политических сил, например, Габсбургов и Валуа, Голландии и Испании, гугенотских дворян и католических горожан Франции, не могли бы разыграться без скопления и борьбы масс капитала; характерные черты самих религиозных программ, их широта и распространенность, их социальный оттенок останутся нам непонятны, если мы не схватим тех могущественных пружин материальной жизни, влияние которых объединило в XVI веке Европу, подняло или разрушило различные общественные группы в среде европейских наций».[50])

Взгляд на религиозные движения эпохи Реформации как на специфическое отражение социальных отношений своего времени позволил

---

[48]) Р. Ю. Виппер. Общество, государство, культура Запада в XVI веке. «Мир божий», 1897, № 2, стр. 6.

[49]) Там же, № 3, стр. 43. Однако надо заметить, что, указывая на зарождение капиталистического производства как на характерную черту этого переворота, Виппер вместе с тем, преувеличивает значение торговли, объявляя ее развитие решающей причиной социально-экономических сдвигов в средневековой Европе. Она, пишет он о торговле, «обращается в могущественный фактор, определяющий условия производства, она всюду начинает перестраивать социальные отношения» (там же, № 3, стр. 46). На этом примере ясно видна ограниченность буржуазного экономизма. Даже обращаясь к экономическим отношениям как первооснове всего общественного развития, буржуазные ученые часто скользили по поверхности, будучи не в состоянии проникнуть в их сокровенное существо. До известной степени повинен в этом и Виппер, хотя он обращает внимание и на сферу производства, связывая с происходившими в ней радикальными сдвигами бурные политические и идеологические битвы XVI столетия.

[50]) Р. Ю. Виппер. Общество, государство, культура Запада в XVI веке. «Мир божий», 1897, № 8, стр. 218.

Випперу по-новому в буржуазной историографии поставить вопрос о природе кальвинизма. В своей известной книге «Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма» Виппер предпринял попытку, пусть во многом несовершенную, рассмотреть кальвинизм под углом зрения политической борьбы, преимущественно в Женеве. Исходя главным образом из анализа эволюции социально-политических отношений в Женеве, он делает важный вывод о социальной природе кальвинизма. Вопреки широко распространенным в буржуазной историографии взглядам об аристократических симпатиях Кальвина и аристократическом характере его учения, Виппер указывает на буржуазную сущность кальвинизма.

Отмечая «враждебное отношение к дворянству», «злую критику» его, которую Кальвин повторяет повсюду «с редкой настойчивостью», Виппер подчеркивает, что «все подобные выражения в сочинениях, проповедях и переписке Кальвина, которых можно привести сколько угодно, не могут быть сведены на одно негодование против придворной среды, вызванное у реформатора задержкою или искажением в этой среде, окружающей государей, церковных преобразований;... в характере раздражения, в содержании нападок на высший класс, по-видимому, чувствуется критика представителя дельного и экономного буржуазного слоя...»[51])

Самое утверждение Кальвина в Женеве и превращение города в опорную базу его учения Виппер связывает с протекавшими в Женеве на протяжении XV—XVI вв. социально-политическими сдвигами. Определяя сущность этих сдвигов, он указывает: «в Женеве не только не усиливается аристократия, но, наоборот, старые, в значительной мере дворянские, фамилии уступают место новому, исключительно буржуазному слою»[52]). Так создавалась благоприятная почва для утверждения в городе кальвинизма. Отмечая буржуазную природу кальвинизма, Виппер характерным образом подчеркивает его «социальный консерватизм», проявлявшийся прежде всего в отношении к народным низам и их идеологам. В частности, он подчеркивает резко враждебное отношение Кальвина к анабаптизму[53]), его осуждение «полной демократии»[54]).

Представляет интерес проследить отношение русской буржуазно-либеральной медиевистики к государству. В подходе к этому, одному «из самых сложных, трудных и едва ли не более всего запутанных буржуазными учеными, писателями и философами»[55]) вопросу, пожалуй, ярче всего проявилась буржуазная, идеалистическая ограниченность наших ученых. Тем большее значение имеют отдельные материалистические элементы в трактовке этого вопроса у некоторых из них.

Основатели социально-экономического направления в русской дореволюционной медиевистике в целом придерживались сугубо идеалистических воззрений на место и роль государства в системе общественных отношений. Несмотря на то, что в своих конкретно-исторических исследованиях они в ряде случаев рассматривали правительственную политику как выражение интересов определенного общественного класса (класса феодалов), для их общеметодологических взглядов был типичен подход к государству как силе надклассовой, стоящей вне клас-

---

[51]) Р. Ю. Виппер. Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма. М., 1894, стр. 81.
[52]) Там же, стр. 11.
[53]) Там же, стр. 131.
[54]) Там же, стр. 523.
[55]) В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 29, стр. 433.

совых противоречий, призванной регулировать и смягчать их в интересах всего общественного организма в целом.

Яркий пример этому — Кареев. На страницах своей книги «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции...« он неоднократно говорит о враждебной крестьянству политике французского правительства, объясняя ее союзом королевской власти с привилегированными сословиями[56]) указывает, что всякая реформа сеньериальных отношений являлась невозможной, ибо была бы «против интересов привилегированных сословий, державших в своих руках власть».[57]) Но наряду с этим он заявляет:«Смотреть на королевскую власть как на гарантию злоупотреблений, как на орудие в руках привилегированных, слишком односторонне: это значило бы патологические симптомы принять за нормальное отправление органа. Нормальной функцией королевской власти было блюсти и внутри, и вне страны интересы государства, заботиться о его силе и могуществе, о развитии национального богатства и если требования государственной необходимости в этом отношении встречались народом недружелюбно, то виноваты в том не солидарность правительства с привилегированными и не употребление им произвольных мер, а то, как понимались требования государства».[58]) Другими словами, ярко выраженная классовая политика королевской власти во Франции, феодальный характер которой в сущности не отрицает и сам Кареев, объясняется им чем-то исключительным, не только не соответствующим природе государства, но и прямо ему противоречащим, болезненно отклоняющимся от некоей «идеи государства».

Представление о надклассовой природе феодального государства имело широкое хождение и в трудах младшего поколения русских буржуазно-либеральных медиевистов. Когда, например, Пискорский рассматривает социально-политическое развитие средневековой Каталонии, у него королевская власть выступает в качестве самостоятельной силы, отстаивающей свои специфические интересы в сложных отношениях со всеми общественными классами. С этих позиций Пискорский подходит и к анализу взаимоотношений между королевской властью и крестьянством, рассматривает ее роль в процессе ликвидации крепостного права в Каталонии. В его изображении королевская власть в целях укрепления своего положения в отношении каталонской знати выступает во главе антифеодального движения крестьян, хотя он и подчеркивает, что в игре королевской политики крестьяне «служили не более, как орудием для достижения своекорыстных целей».[59])

Вместе с тем в появившихся на рубеже XX столетия работах русских либеральных медиевистов встречаются и элементы подхода к пониманию классовой природы феодального государства. В наиболее отчетливом виде они могут быть прослежены в трудах Савина, в особенности в его «Английской деревне в эпоху Тюдоров». Анализируя социальную политику Тюдоров, Савин подчеркивает дворянскую природу абсолютизма. Он приводит многочисленные факты, свидетельству-

---

[56]) Н. И. Кареев. Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века, стр. 484—485.

[57]) Там же, стр. 295.

[58]) Там же, стр. 159.

[59]) В. К. Пискорский. Крепостное право в Каталонии в средние века, стр. 182. Пискорский указывает, что королевская власть действительно сумела воспользоваться крестьянской борьбой для укрепления своего положения, но взамен она крестьянам ничего не дала. Впрочем он объясняет это непоследовательностью и своекорыстным характером королевской политики (см. стр. 219).

ющие о том, что английский абсолютизм в своей политике последовательно защищал коренные классовые интересы дворянства, был враждебен городским и сельским низам. Но самое главное — подобный взгляд на сущность английского абсолютизма не является для Савина случайным. Он вытекает из савинского понимания природы государства вообще. «В моих глазах, — заявляет Савин, — всякий государственный порядок в гораздо большей степени определяется подвижными сочетаниями общественных сил, нежели определяет последние.»[60])

Конечно, элементы материалистического объяснения общественных явлений не всегда могли быть результатом марксистского влияния. Часто дело обстояло наоборот: глубокое исследование конкретного исторического материала приводило серьезного ученого к тем или иным выводам материалистического характера. Поэтому наряду с установлением действительного масштаба марксистского влияния на русскую медиевистику необходимо изучать исследовательские приемы и методы работы историков, которые делали возможным такие выводы. С другой стороны, это обстоятельство предостерегает против попыток везде видеть марксистское влияние. Представляется несомненным лишь одно. Вне связи с революционным переворотом в науке, совершенном Марксом и Энгельсом, нельзя правильно понять все последующее развитие исторической науки. Прежде всего, это относится к тому ее направлению, которое занималось изучением социально-экономической истории. Конечно, было бы наивным сводить всю проблему возникновения и развития социально-экономического направления в русской буржуазно-либеральной историографии к влиянию марксизма.

Более того, самый факт такого влияния отнюдь еще не означал, что тот или иной историк переходил на позиции материалистического понимания истории. Ленинское положение об исконном непонимании даже теми учеными, которые пытались относиться сочувственно к марксизму, материалистической диалектике и теории классовой борьбы, в полной мере относится и к русским либеральным медиевистам. Отбрасывая с порога «живую душу» марксизма, его революционность, они не могли принять и его учение о характере и закономерностях общественного развития. Несмотря на свои претензии подняться выше «односторонности» материализма и идеализма и даже критику отдельных разновидностей идеализма, они вполне оставались в рамках идеалистической методологии истории. И все же даже ограниченное влияние исторического материализма на русскую буржуазно-либеральную медиевистику конца XIX — начала XX вв. нельзя недооценивать. С ним органически связаны многие выдающиеся достижения русских ученых в изучении западноевропейского феодализма.

Не будет преувеличением сказать, что главным объектом исследования в русской буржуазной медиевистике изучаемого периода был народ и прежде всего феодально-зависимое и крепостное крестьянство. Его экономическое и правовое положение, хозяйственные нужды, взаимоотношения с феодалами и государством, до известной степени и классовая борьба — все эти сюжеты были господствующими в русской историографии западноевропейского феодализма. И этот «крестьянский уклон» был настолько устойчивым, что когда, например, А. М. Ону приступает к исследованию знаменитых «Наказов», он сосредоточивает свое внимание именно на крестьянских наказах, переносит центр тяже-

[60]) А. Н. Савин. Английская секуляризация, М., 1906, стр. 558. О взглядах Савина на государство см. Б. Г. Могильницкий. К вопросу о методологических основах исторических взглядов А. Н. Савина. Сб. «Средние века», вып. XVI, М., 1959, стр. 116—121

сти своей работы на положение французского крестьянства перед революцией.[61])

В итоге проведенной нашими учеными работы историческая наука получила развернутое изображение истории западноевропейского феодального крестьянства от его возникновения вплоть до ликвидации феодальных отношений. Конечно, в этом изображении были пробелы, русские историки работали не изолированно, а в тесном общении со своими западноевропейскими коллегами, целый ряд сделанных ими выводов и обобщений не может быть принят современной исторической наукой. И тем не менее значение этой работы чрезвычайно велико. Впервые изучение истории непосредственных производителей материальных благ стало господствующим направлением в целой отрасли исторической науки. Оно составило главное содержание концепции западноевропейского феодализма, из которой исходили все наши крупные медиевисты. В истории крестьянства, его хозяйственных и социальных отношений с феодалами они видели существо истории западноевропейского феодализма (в его социально-экономическом плане так называемого социального феодализма).

Выделяя в истории русской медиевистики период с середины 70-х годов XIX в. до 1905 г. как предмет специального изучения, мы далеки от мысли представлять его как нечто застывшее, лишенное внутреннего движения. В рамках этого периода русская медиевистика, конечно, не стояла на одном месте, и при сходстве в главном, в существе дела, ее идейно-методологические позиции кануна революции 1905 г. значительно отличаются от тех, на которых стояли ее главные представители в начале изучаемого периода. Развитие это было отнюдь не прямолинейным, и изучение его тенденций имеет существенное значение для понимания общих судеб буржуазной историографии в эпоху империализма. С одной стороны, это было развитие по восходящей линии, которое характеризовалось освобождением от откровенно идеалистических позитивистских догм и все более пристальным вниманием к народным массам и их борьбе в прошлом и настоящем, к марксистской концепции исторического развития.

Но возможности продвижения по этому пути были для буржуазных медиевистов ограниченными, так как логическим завершением его явился бы разрыв с буржуазным миропониманием, буржуазной идеологией и переход на позиции марксизма, т. е. радикальное изменение своей классовой природы, что в условиях политического и идеологического господства буржуазии в стране, в условиях органической связи исторической науки со своим классом было, конечно, невозможно. Поэтому, в частности, при всем своем видимом или действительном почтении к марксизму русские буржуазные историки не только не разделяли его основных положений, но и прямо или косвенно вели с ним борьбу.

Таким образом, отказавшись от старомодного идеализма, русские медиевисты не смогли прийти к историческому материализму, результатом чего для многих из них явилась потеря исторической перспективы, безысходный методологический кризис. Отказавшись от гегельянских или позитивистских закономерностей исторического процесса и не восприняв марксистские, многие буржуазные ученые вообще поставили под сомнение существование объективных исторических законов, пришли

---

[61]) См. А. Н. Ону. Выборы 1789 года во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны. Спб., 1908. Первоначально эта работа публиковалась на страницах «Журнала Министерства народного просвещения» в 1898—1905 годах.

к взгляду на историческую науку, как науку чисто индивидуализирующую, не способную по самой своей природе, по самой природе изучаемых ею объектов к научным обобщениям, к изучению объективно существующих закономерностей.

Но, как известно, развернувшийся в буржуазной историографии эпохи империализма методологический кризис был порожден не столько гносеологическими причинами, сколько социальными. В его сокровенной основе лежит страх буржуазии перед закономерностями истории в условиях загнивания капитализма. Но именно поэтому кризис буржуазной историографии развертывается только там и тогда, где и когда буржуазия лицом к лицу встретилась с революционным пролетаритом, ощутила в полной мере его силу, где и когда она становится контрреволюционным классом.

В России это произошло после 1905 года. Но уже до этого в русской буржуазной историографии можно наблюдать определенные кризисные тенденции, порожденные самим ее развитием. Были они и в медиевистике. Проявлением таких тенденций следует считать растущий отказ медиевистов иметь дело с историческими законами. Собственно, сама закономерность исторического процесса не отрицалась, но росло убеждение, что открытие исторических законов — дело будущего, а современная наука должна лишь готовить материал для будущих социологических обобщений. Более того, провозглашалось, что исторических законов вообще не существует, что речь может идти только о законах социологических и психологических, управляющих историческим процессом. Это —точка зрения Кареева, который уже в начале 80-х годов совершенно определенно заявлял, что историческая наука имеет дело с индивидуальным, неповторимым, неподдающимся обобщениям[62]), и в определенной степени своими трудами подготовил почву для распространения в русской буржуазной историографии неокантианства.

В связи с кризисными явлениями в русской медиевистике изучаемого периода находятся и элементы антиисторизма в трудах отдельных ее представителей, особенно младшего поколения. Так, уже в первых работах Петрушевского мы встречаем по существу отрицание единого поступательного всемирно-исторического процесса, переход на позиции теории исторического круговорота.[63])

Можно говорить о нарастании кризисных явлений в русской буржуазной медиевистике к 1905 г. Однако до первой русской революции они отнюдь не определяли ее лицо и — что особенно важно — не были в большинстве случаев связаны с реакционными социально-политическими взглядами. В их основе лежали преимущественно причины гносеологического порядка, о которых речь шла выше.

---

[62]) См. Н. И. Кареев. Основные вопросы философии истории, т. I, стр. 113—115.

[63]) См. Б. Г. Могильницкий, Д. М. Петрушевский как историк западноевропейского феодализма. Ученые записки Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева, № 30, 1958, стр. 74—75.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 166 Серия историческая

И. В. ЛУЧИЦКИЙ О РОЛИ НАРОДНЫХ МАСС В РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЙНАХ ВО ФРАНЦИИ XVI ВЕКА

Б. Г. МОГИЛЬНИЦКИЙ

Работы И. В. Лучицкого по истории гугенотского движения давно уже получили признание в исторической науке. Однако дореволюционная историография видела их значение главным образом в том, что они установили тесную связь между движением гугенотов и феодальной реакцией. Наиболее отчетливо эту точку зрения выразил Е. Н. Петров[1]). Ограниченность подобной постановки вопроса уже отмечалась в советской историографии. Так, полемизируя с Петровым, К. Б. Шустерман подчеркивала, что заслуга Лучицкого заключается прежде всего в том, что он показал размах народного движения в период религиозных войн.[2]) Однако в небольшой статье К. Б. Шустерман это положение не получило достаточного развития. Отмечая, что Лучицкий указал на широкое антифеодальное крестьянское движение в это время, К. Б. Шустерман оставляет в стороне такой важный вопрос, как оценка Лучицким значения классовой борьбы во французском городе во второй половине XVI в. Более обстоятельно интересующий нас вопрос затронул Б. Г. Вебер.[3])

Рассматривая происхождение религиозных войн в освещении Лучицкого, он останавливается и на оценке Лучицким роли различных слоев французского общества в этих войнах. Вместе с тем исследование Б. Г. Вебера ограничивается лишь начальным периодом работы Лучицкого над историей религиозных войн, отраженным в его магистерской диссертации «Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции» (Киев, 1871). Между тем именно в последующие годы, в период работы над докторской диссертацией «Католическая лига и кальвинисты во Франции» (Киев, 1877), Лучицкий, как отмечает и сам Б. Г. Вебер, более глубоко и верно подошел к изображению роли народных масс в религиозных войнах.

В настоящей статье делается попытка показать значение, которое придавал Лучицкий разнообразным формам и проявлениям демократи-

---

[1]) Е. Петров. Исследования И. В. Лучицкого по социальной истории Франции в эпоху религиозных войн. «Научный исторический журнал», 1914, № 4.

[2]) К. Шустерман. Проблемы религиозных войн во Франции в XVI в. в освещении И. В. Лучицкого. «Ученые записки Хабаровского государственного педагогического института», т. III, Магадан, 1958.

[3]) Б. Г. Вебер. Происхождение религиозных войн во Франции в освещении И. В. Лучицкого. «Французский ежегодник, 1958 г.» М., 1959 г.

ческого движения во время религиозных войн именно в этот, второй период своего изучения гугенотского движения.

Представляет несомненный интерес проследить, с каких позиций Лучицкий подходил к изображению роли народных масс в религиозных войнах, какое место уделял он в этом плане классовой борьбе во французской деревне и особенно в городе во второй половине XVI века. Рассмотрение этих вопросов имеет серьезное значение для более четкого и глубокого определения методологических взглядов Лучицкого, ибо отношение историка к народным массам, их борьбе, их роли в историческом процессе является одним из наиболее существенных критериев для общей оценки его методологического кредо, его взглядов на характер и движущие силы исторического развития.

Приступая к изучению религиозных войн, Лучицкий разделял откровенно идеалистические воззрения на характер исторического развития, был ревностным поклонником позитивизма Ог. Конта. О методологических взглядах Лучицкого этого периода дает представление его работа «Адам Фергюсон и его историческая теория», где насквозь идеалистическая система Ог. Конта объявлялась последним словом науки, критерием для определения ценности той или иной философской теории.[4]) В соответствии с позитивистскими догмами Лучицкий выдвигал здесь на первый план необходимость изучения законов человеческой природы как определяющих социальную жизнь людей, провозглашая решающим фактором исторического развития прогресс в умственных убеждениях человечества.[5])

Представление о руководящей роли умственных и нравственных идей в истории, естественно, отразилось и на проблематике собственных научных изысканий молодого Лучицкого. Все они посвящены изучению различных идей и всех их пронизывает глубокая вера, что именно умственный прогресс является главным рычагом всякого исторического развития.[6]) Подобными представлениями руководствовался Лучицкий и обращаясь к изучению истории религиозных войн. Характерно, что в одной из своих первых работ, посвященных этому периоду, он видит свою главную задачу в исследовании интеллектуального движения, направленного на утверждение принципа религиозной терпимости, считая это движение условием всего дальнейшего прогресса общества.[7]) Идеалистическая ограниченность исходных методологических позиций Лучицкого в полной мере сказалась и в процессе всей его дальнейшей работы в области изучения религиозных войн.

С особенной силой она проявилась в его отношении к вопросу о причинах войн. Посвятив почти десять лет напряженного труда исследованию социально-политической борьбы во Франции второй половины XVI века, собрав и проанализировав огромное количество архивного материала по этой теме, Лучицкий, по существу, даже не поставил вопроса об экономической подоплеке гугенотского движения. Подобная проблема для Лучицкого не существует вообще, и в своих работах он ограничивается отдельными беглыми замечаниями по этому вопросу

---

[4]) Эта работа публиковалась в Киевских университетских известиях. См. «Университетские известия», Киев, 1868 г. № 9, 11, 12; 1869 г. № 1, Оценка Ог. Конта и его системы дается в «Университетских известиях», 1868 г., № 11, стр. 7—10.

[5]) «Университетские известия», 1868 г., № 11, стр. 35—37.

[6]) Помимо упоминавшейся уже работы «Адам Фергюсон и его историческая теория», следует назвать его обширный «Очерк развития скептической мысли во Франции», опубликованный в журнале «Знание», 1873 г. № 1, 3, 8, 11.

[7]) См. его работу «Мишель Лопиталь и его деятельность по отношению к французским религиозным партиям XVI века» в книге: И. В. Лучицкий. Две пробные лекции, Киев, 1870.

в связи с оценкой характера войн. Оставляя в стороне всю сложность экономического развития Франции в позднее средневековье, он сводит совокупность причин, породивших во второй половине XVI в. в стране гражданские войны, к чисто политическому фактору — реакции феодальной знати против проводившейся королевским абсолютизмом политики централизации Франции.[8])

Подчеркивая социально-политический характер религиозных войн, рассматривая их как борьбу различных социально-политических группировок французского общества 2-й половины XVI века, Лучицкий искусственно изолирует эту борьбу от экономического развития страны. В его изображении расстановка политических сил оказывается оторванной от глубоких экономических сдвигов, происходивших в позднесредневековой Франции (кризис феодального хозяйства в условиях начавшегося процесса первоначального накопления капитала). Вследствие этого и его характеристика социально-политических отношений во Франции во 2-й половине XVI столетия оказывается неполной, не раскрывающей до конца всей глубины антагонизмов, имевших место во французском обществе в период религиозных войн. Лучицкий, по существу, не ставит вопрос об экономических мотивах поведения различных политических сил в этот период. Поэтому остается неясным, почему именно в 2-й половине XVI века социально-политические противоречия во Франции вылились в религиозные войны.

В отношении Лучицкого к вопросу о причинах религиозных войн нельзя не видеть прямое влияние позитивистских догм Ог. Конта[9]). Вслед за Контом Лучицкий уделяет главное внимание исследованию самого явления, явления как такового, обстоятельств, при которых оно возникло, но не причин, обусловивших его возникновение. Естественно, что при таком подходе само явление не может получить исчерпывающего по своей глубине и достоверности освещения, становятся невозможными обобщения, правильно отражающие закономерности исторического процесса. Так произошло и с религиозными войнами в изображении Лучицкого. Несмотря на проделанную Лучицким громадную работу, ему так и не удалось создать цельную и законченную картину этого крупнейшего явления в истории средневековой Франции, определить его подлинное место в историческом развитии как Франции, так и всей Европы в позднее средневековье.

И дело здесь не только в том, что Лучицкий не создал законченного исследования всей эпохи религиозных войн в целом, что его известные труды в этой области захватывают хронологически незначительный отрезок времени, что они посвящены всего лишь отдельным, пусть и очень важным, этапам развертывавшихся на протяжении более три-

---

[8]) И. В. Лучицкий. Гугенотская аристократия и буржуазия на юге после Варфоломеевской ночи (до Булонского мира) СПб, 1870, стр. 5, 10—11; Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции, ч. I, Киев, 1871 г. стр. 24—25 и другие.

[9]) См. Ог. Конт. Курс положительной философии, т. I, Спб., 1899, стр. 8; Дух позитивной философии (слово о положительном мышлении) Спб., 1910, стр. 22—23 и многие другие. Пытаясь защитить Конта от обвинения в том, что он «пренебрегает изучением причин», видный английский позитивист Дж. Ст. Милль в конечном итоге вынужден признать, что понятие причинности Конт подменяет понятием последовательности и сосуществования (см. его статью «Огюст Конт и позитивизм» в сборнике «Огюст Конт и позитивизм», М., 1897, стр. 61—62). Исходя из этих позитивистских канонов, Лучицкий и заявляет, что его «исследование... принадлежит к роду работ чисто описательного характера, единственно возможного в настоящее время в исторической науке» (И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции. Опыт истории демократического движения во Франции во второй половине XVI века, т. I, Киев, 1877, стр. 1).

дцати лет гражданских войн. [10]) Главным является то, что в изображении Лучицкого эти войны оказались лишенными своей материальной основы, своей тесной связи с развитием феодальной экономики. Достаточно сказать, например, что Лучицкий нигде не ставит вопрос об экономических предпосылках выступления феодального дворянства юга, благодаря чему, естественно, его действия в период гражданских войн далеко не всегда получают убедительное объяснение.

С идеалистических позиций подходит Лучицкий и к рассмотрению положения и политики королевской власти в период гражданских войн. Он полностью разделяет господствующий в буржуазной науке взгляд на государство как на надклассовую силу, регулятор общественного порядка, руководящий и направляющий элемент общественного организма. Для него государство — это «сила, которая при нормальном состоянии общественного организма и даже в случаях кризиса должна была бы сдерживать проявления неправильной деятельности общественных сил и элементов, давать им направление и сохранять материальный порядок в стране».[11]) Правда, в отдельных случаях Лучицкий пытается ставить вопрос о социальной опоре королевской власти во Франции, о ее классовой базе.

Однако эти попытки не могут быть признаны удачными. Если в одном месте, например, он утверждает, что сильнейшей опорой правительства, важнейшим его орудием влияния и источником доходов явилось во Франции XVI века духовенство, то буквально на следующей же странице главной опорой власти правительства объявляется народ.[12]) В другом месте Лучицкий говорит уже о знати, как о почве, на которой стояло правительство.[13]) Примеры эти легко умножить; все они свидетельствуют о том, что Лучицкому было чуждо понимание действительных отношений между государством и общественными классами в антагонистическом обществе.

Исходя из подобных взглядов на природу государства, Лучицкий и рассматривает политику королевской власти в период религиозных войн. В его изображении королевская власть выступает как самостоятельная сила, противостоящая всем остальным социально-политическим группировкам в этот период, то ведущая с ними открытую борьбу, то пытающаяся лавировать между ними. Он уделяет много внимания взаимоотношениям между королевской властью, с одной стороны, и различными группировками феодального дворянства, духовенством, горожанами — с другой. В характере этих отношений он стремится найти объяснение разгула феодальной реакции во Франции второй половины XVI века. В очень большой степени ответственность за это возлагается на королевскую власть, как на силу, оказавшуюся неспособной поддерживать общественный порядок. Говоря о слабости королевской власти в период религиозных войн, Лучицкий прямо заявляет, что та роль, которую она должна была играть в «общественном организме, была ей далеко не под силу, и тот стержень, на котором вращается общественная жизнь, оказывался расшатанным».[14])

---

[10]) Они охватывают, в основном, период с 1572 по 1579 гг. Замысел Лучицкого, о котором он писал в предисловии к своей работе «Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции», посвятить этой эпохе трехтомное исследование так и остался неосуществленным.

[11]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 248.

[12]) Там же, стр. 542, 543.

[13]) И. В. Лучицкий. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции, стр. 379.

[14]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 249.

Правда, следует указать, что Лучицкий при этом далек от фетишизации государства, приписывания ему творческой, определяющей роли в историческом процессе, равно как и от наивного представления, что политика правительства, степень ее эффективности определяется главным образом личными качествами государственных деятелей. Так, рассматривая политику королевской власти после Варфоломеевской ночи и отмечая ее жалкое положение как внутри страны, так и в отношениях с внешними силами, он подчеркивает, что оно определялось не личными качествами правительственных деятелей и сроднившейся с ними жалкой политикой, а соотношением основных элементов французского общества, «взаимодействие которых определяло ход развития общества и образ его деятельности», в частности, он говорит об «изменившемся взаимном положении различных элементов французского общества по отношению к правительству».[15]) Эта идея — о зависимости положения и политики королевской власти от соотношения различных общественных сил — проводится на протяжении всего исследования Лучицким религиозных войн. Однако, не видя во Французском государстве второй половины XVI в. органа господствующего класса феодалов, в силу ряда причин временно оказавшегося неспособным выполнять свои функции и тем самым вступившего в конфликт с различными группировками феодального дворянства, Лучицкий не сумел определить и действительное место королевской власти в религиозных войнах, подлинные мотивы ее политики в этот период.

Бесспорно, идеалистическая ограниченность методологии Лучицкого, его некритическое восприятие контовских идей оказали свое отрицательное влияние на его исследования гражданских войн во Франции второй половины XVI века, обусловили наличие ряда серьезных недостатков и пробелов в нарисованной им картине этих войн. Тем не менее, в своем исследовании конкретной исторической действительности Лучицкий сумел в отдельных случаях преодолеть контовский позитивизм, прийти к ряду ценных выводов, имеющих определенное методологическое значение. В особенности это относится к его исследованию народных движений в период религиозных войн. Именно в этой области достигнутые им результаты являются наиболее значительными и во многом не потеряли своего значения и сейчас.

Как убедительно показал Б. Г. Вебер, Лучицкий, приступая к своим исследованиям религиозных войн, был далек от правильного понимания действительной роли народных масс в этих войнах.[16]) Лишь постепенно, привлекая все новый и новый архивный материал, шел Лучицкий к более углубленному пониманию социальных отношений во Франции в период гражданских войн, уделяя все большее внимание роли народных масс в этот период. Если в опубликованной в 1870 г. небольшой работе «Гугенотская аристократия и буржуазия на юге после Варфоломеевской ночи (до Булонского мира)» он говорит главным образом о политической борьбе, ограничивая ее рамки отношениями дворянства и буржуазии, то в своих дальнейших исследованиях он делает все больший акцент на изучение положения городских и сельских низов и, особенно, на борьбу внутри третьего сословия и влияние этой борьбы на ход гражданских войн. В этом плане большой интерес представляет его содержательный «Отчет о занятиях заграницей»[17]). Рассказывая здесь о своей работе во французских архивах, Лучицкий прямо подчер-

[15]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 446.
[16]) См. Б. Г. Вебер. Указ. соч., стр. 528—531, 556—557.
[17]) И. В. Лучицкий. Отчет о знаниях за границей. «Университетские известия», Киев, 1874 г., № 5.

кивает, что его преимущественное внимание привлекали документы о взаимоотношениях между различными сословиями в различных местностях Франции, в особенности между буржуазией и городскими низами, что именно необходимость изучения социальной борьбы, борьбы сословий заставила его перенести центр тяжести своих архивных изысканий из Парижа в местные архивы южнофранцузских городов.

Конечно, изменение Лучицким своего отношения к проблеме народных движений в период гугенотских войн не может быть объяснено только его более углубленным изучением источников. Не случаен уже сам его выбор источников, его подход к изучению архивных документов. Представляется возможным поставить вопрос о том, что несомненный интерес Лучицкого к положению и борьбе народных масс в период религиозных войн тесно связан с эволюцией его политических взглядов в обстановке общественного подъема 70-х годов прошлого века в России. Нарастающее революционное движение в стране и, в частности, деятельность народников и первые выступления пролетариата вызывали определенное сочувственное отношение передовой части русской интеллигенции к народным массам, привлекали ее внимание к их истории. К этой интеллигенции относился и Лучицкий, всегда принадлежавший к левой части русской профессуры, живо интересовавшийся злободневными вопросами современной ему общественно-политической жизни.[18])

В этой связи характерно, что свои поездки во Франции Лучицкий использовал не только для научных занятий, но и для глубокого изучения политической жизни страны, встреч с французскими и русскими общественными деятелями. Знаменателен интерес, проявленный им к Парижской Коммуне. Как свидетельствует близко его знавший Е. В. Тарле, Лучицкий изучал историю Коммуны «по рассказам свидетелей шаг за шагом, час за часом» и даже вместе с Глебом Успенским присутствовал на нескольких заседаниях версальского военного суда, судившего пленных коммунаров, а затем читал лекции по истории Коммуны русской учащейся молодежи в Париже.[19]) Небезынтересно отметить и близкое знакомство его с одним из идеологов русского революционного народничества П. Л. Лавровым.[20])

К проблеме участия широких народных масс, и прежде всего городских низов, в религиозных войнах Лучицкий подходит с позиций анализа их взаимоотношений с буржуазией. Поэтому представляется необходимым остановиться на оценке Лучицким роли буржуазии в религиозных войнах XVI в. во Франции.

Рассматривая движущие силы гражданских войн, Лучицкий убедительно показывает, что руководящая роль в обоих враждующих лагерях — католическом и гугенотском — принадлежала феодальному дворянству, преследовавшему своекорыстные политические цели, что как гугенотская феодальная знать, так и католическая стремились к феодальной реакции, к воскрешению в стране порядков феодальной раз-

---

[18]) О демократических настроениях Лучицкого, его передовых для буржуазного ученого общественно-политических взглядах свидетельствуют воспоминания Е. В. Тарле (И. В. Лучицкий. К пятидесятилетию его научно-литературной деятельности. 1863—1913. «Голос минувшего», 1914, № 1); См. также Н. И. Кареев. Памяти двух историков (В. И. Герье и И. В. Лучицкий). «Анналы», 1922, № 1.

[19]) Е. В. Тарле. Указ. соч., стр. 51—52.

[20]) Н. И. Кареев. Указ. соч., стр. 170—171.

дробленности.[21]) Вместе с тем в своих исследованиях он обращает серьезное внимание на влияние демократического движения на планы и действия обеих феодальных группировок, усматривая именно в этом движении, во взаимных отношениях составляющих его элементов решающий фактор религиозных войн. Все работы Лучицкого в сущности представляют собой изложение попыток феодальной знати из обеих враждующих группировок привлечь на свою сторону народные массы и объяснение причин неудач этих попыток.

О том значении, которое Лучицкий уделял демократическому движению, свидетельствует характерный подзаголовок его докторской диссертации: «Опыт истории демократического движения во Франции». В предисловии к ней он указывает, что исследование периода зарождения демократического движения во Франции XVI в., что составляет предмет диссертации, «в высшей степени важно для уяснения всех последующих фаз развития французского общества в XVI в.»[22])

Особенно большое влияние на судьбу гражданских войн Лучицкий отводит среднему сословию и, прежде всего, буржуазии. Рассматривая борьбу феодальной аристократии против государственной централизации, он, по собственным словам, «старался обратить особенное внимание на существенный факт всей борьбы, факт, оказывавший всегда громадное влияние на исход борьбы, именно на отношения между буржуазиею и знатью».[23]) Лучицкий подробнейшим образом останавливается на тщетных попытках королевского правительства, Гизов, гугенотской знати привлечь на свою сторону среднее сословие, на той роли, которая отводилась ему в плане создания Католической лиги и других организаций сил, соперничающих феодальных группировок.

Он подчеркивает, что и феодальная знать севера, и гугенотская аристократия в равной степени потерпели неудачу в своих попытках и что эта неудача сыграла роковую роль в судьбах обеих феодальных группировок. Так, говоря о роли среднего сословия в гугенотской коалиции, он пишет: «Та самая сила, которая своим пассивным сопротивлением задержала развитие и чрезмерное усиление дворянской Католической лиги и затем подорвала в самом основании союз, заключенный Лигою с правительством, и здесь, в среде коалиции, сыграла подобную же роль. Как и буржуазия католических городов, гугенотская буржуазия оказалась разлагающим элементом для партии, к которой она принадлежала».[24])

Лучицкий подчеркивает, что отрицательное отношение среднего сословия к планам феодальной реакции, ко всем действиям феодальной знати в период религиозных войн не было случайным явлением, порождением случайных обстоятельств: оно явилось закономерным следствием тех отношений, которые веками складывались между этими сословиями, оно определялось их противоположными классовыми интересами. «Вражда между ними, — говорит Лучицкий, — составляла

---

[21]) При этом необходимо оговориться, что Лучицкий ошибочно утверждает, что религиозные войны приняли характер феодальной реакции лишь после Варфоломеевской ночи, а до нее обе стороны боролись якобы во имя чисто религиозных интересов (См. И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 40 и многие другие)

[22]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. II.

[23]) И. В. Лучицкий. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции, стр. III.

[24]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 296—297. Подобных высказываний у Лучицкого много. Так, в другом месте он видит главную причину ослабления гугенотов « в той борьбе, которая возникла между буржуазией и дворянством» (там же, стр. 332).

всегда существенную черту французской истории»[25]). Он показывает, что эта вражда вытекала из враждебного отношения среднего сословия к «средневековому порядку вещей, ко всему тому, что стесняло индустриальную деятельность»[26]).

Как указывает Лучицкий, среднее сословие в ряде случаев пыталось играть самостоятельную роль в период религиозных войн, и там, где это ему удавалось, оно проводило ясно выраженную антидворянскую политику. В этом плане Лучицкий рассматривает борьбу горожан и дворянства в политических собраниях на гугенотском юге. Он показывает, что там, где в политическом собрании преобладали горожане, там его решения носили совершенно определенный антидворянский отпечаток. Так было, в частности, на политическом собрании в Ниме (1580 г.). Согласно его решениям, дворянство было отстранено от отправления правосудия, руководства полицией и финансами; под контроль политического собрания ставилась армия, да и все органы власти в контролируемых гугенотами провинциях[27]). Это, конечно лишь один эпизод из истории борьбы среднего сословия и дворянства в период гражданских войн, но, приводя его и ряд других подобных же, Лучицкий рельефно показывает всю глубину классовых противоречий в гугенотском лагере, убедительно аргументирует свой вывод о том, что эти противоречия взрывали изнутри гугенотский лагерь.

Лучицкий не оставляет без внимания и вопрос, чем объясняется такая большая роль среднего сословия в период гражданских войн. В этой связи он отмечает возросшее значение среднего сословия в социально-экономической жизни страны, особенно подчеркивая тот факт, что ему принадлежало будущее. «Среднее сословие и буржуазия, — пишет Лучицкий, — являлись, бесспорно, главным и наиболее важным элементом строя тогдашнего времени. В их руках были капиталы, финансовые средства и связанные с ними силы и влияние. Среднее сословие являлось представителем индустриальных интересов, этой основы европейского общества нового времени, ему принадлежало будущее, оно одно росло и развивалось, крепло, когда феодальная военная аристократия старела и слабела».[28])

Далеко не во всем можно согласиться с этим определением Лучицким положения среднего сословия во французском обществе XVI столетия. Бесспорно, он преувеличивает его роль в общественной структуре тогдашней Франции. В самом деле, утверждая, что буржуазия являлась главным и наиболее важным элементом общественного строя, Лучицкий, по существу, отрицает феодальный характер общественных отношений во Франции XVI в., отвергает господство феодальной знати в политической жизни страны, что противоречит не только исторической действительности, но и его собственному изображению религиозных войн, вся логика которого подводит к выводу, что именно феодальное дворянство было господствующей силой в стране.

Выше отмеченное преувеличение политического значения среднего сословия во Франции XVI в. не является единичным. Особенно ярко оно проявляется, в частности, в освещении деятельности его представителей в различных государственных учреждениях страны. С таких позиций

---

[25]) И. В. Лучицкий. Гугенотская аристократия и буржуазия на юге после Варфоломеевской ночи, стр. 18—19.

[26]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 223.

[27]) Там же, стр. 340—346.

[28]) Там же, стр. 450. См. также его утверждение, что в XVI в. во Франции в руках среднего сословия «сосредоточивалась вся судебная, административная и финансовая власть» (И. В. Лучицкий. Гугенотская аристократия и буржуазия на юге после Варфоломеевской ночи, стр. 21).

Лучицкий, например, рассматривает вопрос о деятельности Генеральных штатов в Блуа (1576—1577 гг.). Подробнейшим образом излагая положение в стране накануне созыва штатов, цели и политику королевской власти и сословий, перипетии борьбы между ними во время работы Генеральных штатов, Лучицкий подводит своих читателей к выводу, что среднее сословие явилось решающей силой на Генеральных штатах, что его поведение имело определяющее влияние на выработку тех или иных решений штатов[29]).

Если Лучицкий с самого начала своей работы над историей религиозных войн подчеркивал большое значение, которое сыграла в этих войнах буржуазия, то, как уже отмечалось, к изучению движения народных низов он подходит лишь впоследствии, по мере углубления своих исследований. Тем большее значение он придает этому движению в своих последних работах.

Провозглашая, что «борьба социальная, борьба сословий» составляет «существенное содержание истории Франции как в эту (т. е. в период религиозных войн. — *Б. М.*), так и в другие эпохи»[30]), Лучицкий далеко не ограничивал это положение только борьбой между дворянством и средним сословием. Именно под углом зрения борьбы внутри третьего сословия он и рассматривает движение городских низов в период гражданских войн, их влияние на ход событий.

Нарисованная Лучицким картина социальной борьбы во французском городе XVI в., бесспорно, не свободна от ряда значительных пробелов и противоречий. Он не мог раскрыть всю сложность и запутанность социально-экономических отношений в позднесредневековом городе. Как известно, в XVI в. города Западной Европы являлись ареной борьбы зарождавшихся капиталистических отношений с разлагавшимся цеховым строем. Эта борьба обусловливала сложность социальной структуры и социальных противоречий в городе. Наряду с возникшими противоречиями капиталистического уклада, переплетаясь с ними, сохранялись антагонизмы, характерные для традиционной цеховой организации.

Однако Лучицкий упрощает и модернизирует социально-политические отношения во французском городе XVI в. В его изображении основными классами городского населения в этот период выступают буржуазия и рабочий класс. Он явно недооценивает значение старых цеховых элементов в политической жизни города. Если к этому добавить небрежность и противоречивость терминологии Лучицкого, то станет ясным, что в его работах нельзя обнаружить изображения всей многогранности и своеобразия социально-политической борьбы во французском городе в период религиозных войн. И все же взгляды Лучицкого по этому вопросу представляют несомненный интерес.

Прежде всего надо сказать, что для Лучицкого борьба во французском городе XVI в. — явление закономерное. Он указывает, что для буржуазии «борьба с рабочими в XVI веке стала весьма обыкновенным фактом»[31]). Лучицкий подчеркивает всеобщность этой борьбы, ее распространение как в гугенотских городах, так и в городах, оставшихся верными католицизму. Он говорит о «борьбе классов» в Лионе и Тулузе,[32]) подробно останавливается от различных фазах этой борьбы

[29]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции. Глава II. Штаты в Блуа (1576—77).

[30]) «Университетские известия». Киев, 1874, № 5, стр. 294.

[31]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 270, прим. I.

[32]) «Университетские известия». Киев. 1874, № 5, стр. 296—298.

в Ла-Рошели и Сансерре,[33]) посвящает ей специальный «Очерк истории Монтобана».[34])

В ряде случаев Лучицкий пытается выяснить корни этой борьбы. На первый план им выдвигаются политические мотивы — стремление городских низов добиться участия в городском управлении, завоевать политические права. Он указывает, что menu peuple уже с конца XV века стал обнаруживать все сильнее и сильнее свою наклонность стать деятельным участником в управлении. История внутренняя большинства французских городов (особенно в XVI веке) представляет нам сильную борьбу, которая велась в этом смысле».[35]) Вместе с тем он подчеркивает и социально-экономические истоки этой борьбы, в частности вопрос о заработной плате, говорит о стачках «придавленного рабочего класса», об его экономической борьбе с буржуазией.[36])

Правда, надо признать, что в целом экономические предпосылки борьбы во французском городе XVI в. не получили всестороннего освещения в трудах Лучицкого, что главное внимание он сосредоточивает на характеристике политической борьбы.

Лучицкий подчеркивает, что «между буржуазией и menu peuple существовало резкое и строгое разграничение; то были два класса, стоявшие совершенно отдельно, ревниво берегшие свою обособленность друг от друга».[37]) Таким образом, когда Лучицкий говорит о противоречиях и борьбе среди горожан, у него идет речь о **классовых противоречиях** во французском городе XVI в., о **классовой** борьбе. Всей логикой своего изображения событий он показывает непримиримый характер этих противоречий, напряженность и ожесточение борьбы. Он делает интересные наблюдения, отмечая, что городская верхушка не останавливается ни перед чем, чтобы не допустить низы к участию в управлении городом. Обобщая историю борьбы за городское самоуправление во французском городе XVI в., Лучицкий указывает: «Богатая буржуазия... часто готова была пожертвовать своими вольностями, отдаться королю, чем допустить низшее сословие, menu peuple принять участие в управлении городом»[38]).

Лучицкий стремится проследить влияние напряженной классовой борьбы во французском городе XVI в. на ход религиозных войн, обращая, в частности, особое внимание на значение движения городских низов для поведения городской верхушки, той социальной категории, которую он называет «буржуазия». Борьба городских низов угрожала жизненным интересам городской верхушки, и этот страх перед торжеством народных масс, опасность потери своего господствующего положения в городе в значительной степени определяли линию ее поведения в период религиозных войн. «Этот страх пред рабочим классом и эти отношения к нему буржуазии играют видную и важную роль в событиях французской истории XVI века»[39]), — заявляет Лучицкий и пытается конкретизировать это свое положение на примере важнейших явлений и фактов из истории гражданских войн.

---

[33]) И. В. Лучицкий, Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции, стр. 211—298.

[34]) И. В. Лучицкий. Очерк истории Монтобана. «Университетские известия», Киев, 1874, № 8, 9.

[35]) «Университетские известия», Киев, 1874 г., № 5, стр. 305.

[36]) Там же, стр. 305—307.

[37]) Там же, № 8, стр. 653.

[38]) Там же, № 5, стр. 305.

[39]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 270, прим. 1.

Особенно большое внимание в этом плане Лучицкий уделяет судьбам Католической лиги. В его изображении вся история этой крупнейшей организации, созданной феодальной знатью севера для борьбы с гугенотским дворянством, оказывается самым живым и непосредственным образом связанной с развитием демократического движения в стране. Детально характеризуя отношение буржуазных элементов католических городов к Лиге, их изменчивые взаимоотношения с организаторами и руководителями Лиги, Лучицкий подчеркивает, что сама позиция буржуазии во многом определялась острой политической борьбой, бушевавшей в это время в городах, что именно в напряженной социально-политической борьбе внутри города скрывается объяснение важнейших моментов истории Католической лиги.

Он указывает, что «Лига, рассматриваемая с политической точки зрения, была результатом борьбы между жирною буржуазиею и menu peuple»[40]). В другой своей работе он заявляет, что борьба партий внутри городов, борьба между большими и меньшими людьми привела к распаду Лиги[41]). Красной нитью через все исследование Лучицким истории Католической лиги и отношения к ней буржуазии проходит идея о том, что ожесточенная борьба с городскими низами серьезно подрывала позиции буржуазных элементов, в большой мере объясняя их вынужденное миролюбие, их нежелание раздувать пламя гражданских войн, которое могло поглотить и их самих.

Вместе с тем, Лучицкий подчеркивает, что «эта борьба внутри городов не была принадлежностью лишь католических городов: она проявлялась и в городах протестантских».[42])

При этом, естественно, религиозные противоречия, борьба вероисповеданий отступали на задний план. Лучицкий указывает, что в развернувшейся в период религиозных войн напряженной борьбе в городах во многих случаях «религиозные вопросы служили лишь покрывалом, под которым тогдашние деятели скрывали свои истинные намерения, что весь вопрос для тогдашнего городского общества состоял не столько в том, восторжествует ли та или иная религия, сколько главным образом в том, сохранит ли буржуазия неприкосновенными свои права, вольности и привилегии и против знати, и против menu peuple, и против королевской власти».[43]) Таким образом, происходившая в период религиозных войн борьба в городах объявляется борьбой социальной, а центральным вопросом ее — вопрос о власти.

Что же касается религиозной борьбы, религиозных движений в этот период, то Лучицкий подчас делает глубокие наблюдения о связи между религиозными движениями и социальной борьбой в городах. В этом плане он рассматривает действия так называемой «партии пасторов», т. е. кальвинистских проповедников, широко развернувших свою деятельность в городах юга в период религиозных войн. В частности, он обращает внимание на деятельность пасторов среди городских низов и приходит к выводу, что своими проповедями, всеми своими действиями они способствовали обострению социальной борьбы в городе. Лучицкий указывает, что пасторы находили наилучшее орудие для борьбы в «меньших людях», в низах городского населения, боровшихся за по-

---

[40]) «Университетские известия». Киев, 1874, № 5, стр. 298, ср. стр. 308: «...сама Лига, рассматриваемая по отношению к городам, была прямым результатом борьбы двух классов городского населения».

[41]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 274, прим. 2.

[42]) Университетские известия, Киев, 1874, № 5, стр. 308.

[43]) Там же, стр. 644.

литические права, за участие в городском управлении. «Борьба между классами, — подчеркивает он, — становилась благодаря вмешательству пасторов более упорною и ожесточенною...»[44]).

Следует, однако, сказать, что в целом трактовку Лучицким «партии пасторов» и ее деятельности в период религиозных войн нельзя признать правильной. Трактовка эта носит чрезвычайно непоследовательный, противоречивый характер. С одной стороны, мы уже приводили слова Лучицкого о роли пасторов в обострении социальной борьбы во французском городе второй половины XVI в. О враждебных отношениях между пасторами и городской верхушкой Лучицкий говорит и в других местах. Он указывает, что «в своих отношениях к пасторам буржуазия руководилась теми же побуждениями, тою же боязнью, что они будут действовать заодно с меньшими людьми, но этим только еще более толкала их в объятия массы».[45]) Развивая эту мысль, Лучицкий заявляет, что ввиду враждебного отношения к пасторам городского управления и богатой буржуазии они постоянно вербовали своих союзников в среде городской бедноты,[46]) что, опираясь на этих союзников, консисториальная партия вела с богатою буржуазией борьбу внутри городов.[47])

Однако в той же работе, где Лучицкий говорит о борьбе пасторов с буржуазией, он буквально через несколько страниц утверждает, что «в пасторах... буржуазия находила естественную и сильную поддержку...»[48]). Правда, в данном случае он говорит о конкретном факте — о борьбе среднего сословия и дворянства в гугенотских политических собраниях: может возникнуть мысль, что здесь он имеет в виду лишь тактический маневр со стороны среднего сословия (или буржуазии, по его терминологии), который не изменяет общей принципиальной оценки взаимоотношений между ними. Но зато в другом месте Лучицкий совершенно определенно рассматривает партию пасторов как часть буржуазии.[49])

Подобная противоречивость в трактовке положения «партии пасторов» в период религиозных войн не является случайной. Она закономерно вытекает из отрицания Лучицким классовых основ той или иной религиозной системы, социальной обусловленности политики тех или иных религиозных деятелей. Он прямо утверждает внеклассовую природу «партии пасторов»: «Сегодня она соединялась с принцем Конде, на другой день она обращалась в открытого врага своего вчерашнего союзника. То она шла заодно с буржуазией против дворянства, то подрывала силы той же буржуазии тою поддержкою, которую она оказывала меньшим людям».[50]) Чем же в таком случае определялась политика «партии пасторов», что заставляло ее метаться от одного общественно-

---

[44]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 319.

[45]) «Университетские известия», Киев, 1874, № 9, стр. 685.

[46]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 318—319.

[47]) Там же, стр. 324.

[48]) Там же, стр. 338.

[49]) Там же, стр. 303.

[50]) Там же, стр. 332. Следует подчеркнуть, что Лучицкий вообще глубоко неверно понимал сущность кальвинизма. Он видел главное в кальвинизме в проповеди религиозной нетерпимости, в подавлении всякой свободной мысли и на этом основании сближал его с католицизмом. Он даже утверждал, что «кальвинизм стремился сохранить во всей неприкосновенности основные начала средневекового строя» («Знание», 1873, № 3, стр. 104). Постоянно им подчеркиваются аристократические тенденции кальвинизма (см., напр., его работу «Гугенотская аристократия и буржуазия на юге после Варфоломеевской ночи», (стр. 10). Подробнее об этом см. Б. Г. Вебер. Указ. соч., стр. 517—521.

го класса к другому? Для Лучицкого ответ на этот вопрос чрезвычайно прост. Пасторы были воодушевлены религиозными идеями, лишенными всякой социальной окраски, и всю свою политику, все свои действия подчиняли осуществлению своего религиозного идеала, торжеству правой веры. Таким образом, несмотря на отдельные наблюдения о связи религиозного движения и классовой борьбы, Лучицкий в целом решить эту проблему не смог. Тем самым ему не удалось полностью раскрыть специфику классовой борьбы во французском городе в период религиозных войн.

Развернувшаяся во французском городе XVI в. острая социальная борьба нашла свое отражение и в отношениях между городами и королевской властью. Проблема взаимоотношений между правительством и народом всегда в той или иной форме вызывала интерес Лучицкого. Значительное внимание этой проблеме уделяет он и в своих исследованиях по истории религиозных войн. Он много говорит о расколе между широкими народными массами и правительством, о возникшей между ними пропасти и видит в этом одну из главных причин того жалкого положения, в котором очутилась в период религиозных войн королевская власть. «От поведения народа, от его отношения к правительству, — заявляет Лучицкий, — зависело окончательное решение вопроса: быть или не быть правительству».[51]) И он показывает все более углубляющийся «разрыв между народом и властью», обнаружившийся в 70-х гг. XVI в. и поставивший королевскую власть во Франции на край пропасти.

Лучицкий говорит о падении авторитета королевской власти в городах, об отказе горожан платить налоги, изгнании королевских гарнизонов из городов.[52]) При этом в ряде случаев он стремится показать разницу в отношении к королевской власти различных социальных слоев городского населения, выяснить ее причины. Лучицкий приводит многочисленные факты оппозиционного отношения к правительству со стороны среднего сословия. Это отношение находило многообразное проявление — и в оппозиции к королевской власти в Генеральных штатах и в отказе от присоединения к Королевской лиге, и в нежелании брать на себя материальные тяготы в связи с религиозными войнами (постой королевских войск, возросшее налоговое бремя и т. п.).

Однако Лучицкий все время подчеркивает нерешительность среднего сословия, его стремление не выходить за рамки мирных, легальных форм борьбы, отсутствие у него революционного духа. Так, говоря о проекте реформ, выдвинутом средним сословием на Генеральных штатах в Блуа, Лучицкий указывает, что у него не доставало смелости заставить правительство немедленно произвести требуемые реформы, что «оно не было настолько проникнуто революционным духом, чтобы прибегнуть к насилию», что все, на что оно было способно, «заключалось лишь в оборонительной борьбе, в оппозиционной деятельности»[53]). В другом месте он пишет, что среднее сословие в большинстве своем готово было следовать мирному пути реформ, что революционный дух был ему чужд[54]).

Умеренную политику буржуазии Лучицкий рельефно подчеркивает, противопоставляя ей радикальные настроения городских низов. На этом

---

[51]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 513.
[52]) Там же, стр. 523—527; стр. 455: «Имя короля произносилось не с уважением, как прежде, а с проклятиями».
[53]) Там же, стр. 221.
[54]) Там же, стр. 230.

противопоставлении построен весь его рассказ о борьбе гугенотских городов против королевских войск после Варфоломеевской ночи. То же самое происходило и в городах, оставшихся верными католицизму, в частности, в самом Париже. Рассматривая отношение парижского населения к королевской власти накануне созыва Генеральных штатов в Блуа, Лучицкий подчеркивает, что враждебное отношение к королю проявлялось главным образом в среде мелкого люда, что жирные буржуа далеко не разделяли подобных мнений, хотя и среди них росло недовольство политикой королевской власти, затрагивавшей их карманы[55]). Нежелание буржуазии идти на разрыв с королевской властью, ее стремление добиться удовлетворения своих требований мирным путем, готовность к уступкам Лучицкий объясняет разными причинами. Он подчеркивает господство монархического духа в среде буржуазии, ее давние традиции союза с королевской властью, потребность ее в сильной королевской власти для обуздания городских низов.

Однако Лучицкий делает еще одно, не менее глубокое наблюдение. Он подчеркивает, что недовольство буржуазии королевской властью в период религиозных войн в значительной степени объясняется как раз тем, что она оказалась не в состоянии твердой рукой поддержать «порядок» в стране, в том числе и в городах, что ее действия, и прежде всего налоговый гнет, вызывали повсеместные выступления городских низов. Он пишет: «Богатая буржуазия, власти и влиянию которой грозила сильная опасность в случае торжества рабочих, чувствовала, что почва начинает колебаться под ее ногами, и не щадила усилий, чтобы удержаться. В правительственных мерах она видела главную причину зла и потому в оппозиции правительству и в независимости города видела сильное и могучее средство спасения. Ее протесты и отказ правительству в исполнении его указов получили вследствие ее страха еще большую энергию»[56]).

Важно подчеркнуть, что Лучицкий отнюдь не считает острую социальную борьбу в городе лишь достоянием периода религиозных войн. Из его отдельных высказываний следует признание им закономерности социальной борьбы в средневековом городе на всем протяжении его существования. Так, он говорит о г. Монтобане: «...его муниципальная свобода развивалась путем борьбы классов. То была сначала реакция чисто аристократического элемента против сеньериальной власти..., потом она перешла в борьбу буржуазии против старых аристократических элементов, наконец (но это случилось уже гораздо позже), Монтобан стал ареною соперничества и борьбы menu peuple и жирной буржуазии из-за политических прав».[57]) Таким образом, политическая история Монтобана для Лучицкого — это история борьбы классов, причем на примере Монтобана он правильно выделяет три основные этапа классовой борьбы в средневековом городе, подчеркивая, что развитие городского самоуправления является прежде всего результатом социальной борьбы, что эта борьба ведет к дальнейшему углублению социальных противоречий в самом городе.

Усматривая в истории средневекового города историю борьбы классов, Лучицкий особое внимание обращает на последний, третий этап классовой борьбы в городе — на борьбу между собой антагонистических элементов зарождавшегося в позднее средневековье капиталистического уклада. Исследование борьбы menu peuple и жирной буржуазии с самого момента ее возникновения, определение ее влияния на

[55]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 99—103.
[56]) Там же, стр. 528.
[57]) «Университетские известия». Киев, 1874, № 8, стр. 649.

ход исторического процесса составляют, по мнению Лучицкого, одну из первоочередных задач исторической науки и имеют несомненное практическое значение в жизни современного общества. В этом смысле представляет значительный интерес его содержательный «Обзор последних работ по новой истории».[58]) Эта опубликованная в самый разгар работы Лучицкого над историей религиозных войн, богатая мыслями и фактами статья буквально пронизана (в той ее части, которая посвящена трудам по истории дореволюционной Франции) идеей о необходимости и важности изучения социальной борьбы внутри третьего сословия. Подчеркивая в своей статье, что вопрос об «отношении рабочих и буржуазии» менее всего разработан исторической наукой, Лучицкий пытается привлечь внимание к этому вопросу, показать его значение в истории Франции.

Говоря об отношениях между различными социальными группами во французском городе, Лучицкий подчеркивает, что эти отношения не оставались неизменными на протяжении всего средневековья. Начиная с XIV в происходит резкое обострение социальных противоречий в городе. С этого времени, говорит Лучицкий, исчезает некогда существовавшая известная связь между буржуа и рабочим, сдерживавшая социальные противоречия между ними, складываются новые отношения, проникнутые непримиримой враждебностью. «Связи между ними не было, существовала одна лишь ненависть». Лишенные, по существу, доступа к званию мастера, рабочие стали создавать самостоятельные отдельные корпорации, особые союзы, направленные против буржуа, которые тщетно пытались с помощью королевской власти и церкви задержать это движение. Наконец, Лучицкий отмечает и «то обстоятельство, что городское управление находилось в руках одной буржуазии, что доступ к управлению был загражден для рабочего, отчего взаимная вражда и ненависть увеличивались все более и более»[59]).

Конечно, Лучицкий непозволительным образом модернизирует историю, когда он без всяких оговорок говорит о рабочих и буржуа применительно не только к XIV—XVI вв., но и к еще более раннему времени. Конечно, он неправ, когда вслед за французским историком Дебаком видит главную причину обострения социальных противоречий во французском городе XIV—XV вв. в наплыве в город пришлого элемента, в частности, массы крестьян, искавших убежища после подавления Жакерии и принесших с собою вражду ко всякому угнетению[60]). Такое объяснение, хотя и содержит интересные наблюдения, оставляет в стороне главное — зарождение капиталистического уклада, который нес с собою разрушение старых, патриархальных цеховых отношений, появление беспощадной эксплуатации наемного труда. Но и при всех этих недостатках важным остается то, что Лучицкий указал на обострение социальных противоречий в городах позднего средневековья, подчеркнул всю глубину антагонизма между зарождавшимися классами капиталистического общества.

Именно с этих позиций Лучицкий критикует труды французских ученых, посвященные социально-политической истории средневековой Франции. Так, капитальным недостатком двухтомного сочинения Перранса «Демократия во Франции в средние века» он считает непонимание его автором «существенного факта в истории французской демокра-

---

[58]) И. В. Лучицкий. Обзор последних работ по новой истории. «Знание». 1874 г. № 1 2.

[59]) «Знание», 1874 г., № 1, стр. 9.

[60]) Там же, стр. 8—9.

тии: борьбы жирной буржуазии с «меньшими людьми»[61]). Показывая несостоятельность объяснения Перрансом причин неудачи восстания 1413 года в Париже, Лучицкий указывает, что «он упустил из виду такой важный факт,как, например, отношения народа (menu peuple) к «жирной буржуазии», ни одним словом не коснулся их развития и потому не понял настоящих причин неуспеха движения»[62]).

Критика Лучицким книги Перранса показательна и в другом отношении. Здесь он с большой силой вскрывает тенденциозность Перранса как апологета буржуазии, его ненависть к народным массам и страх перед ними. Так, критикуя изложение Перранса Парижского восстания 1356—1358 гг., он пишет: «Автор, слишком сочувственный буржуазии и враждебно относящийся к народу, вовсе не указывает настоящих причин неудачи движения. Он склонен приписать ее «неумеренности» народа, крестьян, начавших жакерию». Показывая несостоятельность такого «объяснения», Лучицкий указывает далее, что одной из главных причин поражения восстания Этьена Марселя были действия самой буржуазии, ее ошибки, интриги и заговоры, неумение вести дела, а главное, ее превращение из революционного деятеля в защитника королевской власти, сговор с Карлом V. Но этим вопрос не решается, продолжает Лучицкий, «за буржуа стоит народ», масса, на которой слишком тяжелым гнетом лежит существующий порядок вещей; «и она восстает, берет на себя дело, которое не сумела повести буржуазия»[63]).

Опубликованная в 1872 г. книга Перранса отразила страх французской буржуазии перед Парижской Коммуной. Грозный призрак Коммуны видится Перрансу в каждом крупном народном движении средневековых горожан. Он ставит на одну доску с Парижской Коммуной, например, восстание в Париже 1413 г., рассматривая оба эти события, как «уклонение от истинных принципов демократии», с позиции которых он подходит к критике народных движений в средневековом французском городе. Лучицкий заявляет, что тем самым он лишает свою книгу научного значения. «Возводить в научные истины, —продолжает он, — мнения буржуа о свободе и равенстве, оценивать ими прошедшее, значит не признавать основных правил исторической критики». Он подчеркивает, что у Перранса в силу этого исчезает всякое различие между Коммуною 1871 и 1413 гг., и его книга, не давая научной оценки событий, превращается в ряд общих мест о «народных эксцессах» и т. п.[64]).

С этих же позиций Лучицкий подвергает критике работу Дебака «Либерализм и демагогия в средние века». Он, правда, отмечает, что отношение Дебака к излагаемым событиям беспристрастнее, чем у Перранса, но тут же характерным образом добавляет: «насколько можно назвать беспристрастным отношение французского либерального писателя к явлениям вроде Парижской Коммуны 1413 г.». Лучицкий указывает, что изложение фаз демократического движения XIV—XV вв. является для Дебака средством «провести параллель между настоящим и прошедшим, развить несколько политических теорем собственного изделия». Важнейшей из этих «политических теорем собственного изделия» является положение Дебака о том, что и в прошлом, и в настоящем «сильные политические реформы пали под ударами демагогии», под которой понимаются радикальные выступления городских низов. Подвергая критике это положение, Лучицкий указывает, что Дебак «совер-

---

[61]) «Знание», 1874 г., № 1, стр. 7.
[62]) Там же.
[63]) Там же, стр. 6—7.
[64]) Там же, стр. 7.

шает непростительный промах», приписывая «демагогии», народным массам, ответственность за неудачу демократического движения XIV в., и объясняет этот «промах» Дебака тем, что «его либеральные тенденции увлекли его»[65]).

В своем «Обзоре последних работ по новой истории» Лучицкий выдвигает плодотворную идею о преемственности демократического движения, социально-политической борьбы в городах на протяжении столетий истории Франции. В частности, он подчеркивает наличие связи между городскими движениями XVI в. и социальной борьбой в городах XIV—XV вв. Отмечая, что за покровом религиозной борьбы в XVI в. историки не усмотрели того, что лежало в ее основе, совсем не подозревали связи между борьбой в городе в XVI в. и предшествующих столетиях, Лучицкий указывает, что «и в XVI в. социальный вопрос был живуч, как и в XV в., что и тогда между буржуа и menu peuple шла упорная борьба из-за вопросов о заработной плате, о suffrage universel (как то было, например, в Тулузе) и т. п.»[66]). Что касается следующего столетия, то и «в XVII в. повторяется вновь старая борьба между рабочими и мирною буржуазиею...»[67]).

В первый период научной деятельности Лучицкого главное его внимание приковывала история Франции, поэтому, естественно, что он говорит прежде всего о социально-политической борьбе во французском городе. Однако это отнюдь не означает, что он считал историю французского города в этом отношении чем-то исключительным. Напротив, там, где Лучицкий по тому или иному поводу касается истории других стран, он обращает внимание и на классовую борьбу в городе. Так, рассматривая в связи с историей скептической мысли во Франции развитие идей религиозной терпимости в Италии, Лучицкий подчеркивает более высокое индустриальное развитие Италии и в связи с этим указывает: «В городах выступают на сцену иные вопросы, о которых и не мечтали еще города Европы. В то самое время, когда во Франции среднее сословие, руководимое Этьеном Марселем, только пытается захватить в свои руки управление страною, в городах Италии идет борьба социальная, борьба классов». И далее он говорит о восстании чомпи во Флоренции с его экономическими и политическими требованиями, о подобных восстаниях в других итальянских городах, повсеместно в конечном итоге заканчивающихся торжеством буржуазии[68]).

Эти высказывания Лучицкого интересны не только потому, что они свидетельствуют о признании им острой классовой борьбы в средневековых итальянских городах. Представляется характерным, что Лучицкий счел необходимым указать на остроту социальных противоречий в итальянском городе для того, чтобы показать,«какой громадный шаг сделала Италия в своем развитии», и тем самым глубже объяснить причины раннего возникновения в стране скептической мысли, идей религиозной терпимости, новой, светской по своему характеру, культу-

[65]) «Знание», 1874 г., № 1, стр. 5. У самого Лучицкого совершенно иное представление о причинах неудачи городских восстаний во Франции XIV—XV вв. Выше уже отмечалось, что одной из главных причин поражения восстания Этьена Марселя он считает действия самой городской верхушки, перешедшей на сторону королевской власти. Еще более резко эту мысль он подчеркивает при анализе причин поражения восстания 1413 г. «Призыв к свободе, сделанный рабочими в 1413 г., — пишет он, — встретил в буржуа, которые 60 лет назад впервые произнесли его, лишь врагов. Они находили, что menu peuple забрал много власти в свои руки, что это опасно для государства; ...и они употребили все усилия, чтобы погубить революцию, погубить дело народа и демократии» (там же, стр. 9—10).

[66]) «Знание», 1874 г., № 1, стр. 11—12.

[67]) Там же, стр. 14.

[68]) Там же, 1873 г., № 1, стр. 90—91.

ры. Так Лучицкий вновь подчеркивает, какое значение он придает социальной борьбе в процессе исторического развития.

В период работы над проблемой религиозных войн преимущественное внимание Лучицкого привлекали вопросы, связанные с развитием средневекового города, со складывающимися там отношениями различных социальных групп между собой, причем особый его интерес вызывали отношения «жирной буржуазии» с городской беднотой, а также с феодальной аристократией и королевской властью. Такая направленность научных интересов Лучицкого вытекала из его общих взглядов на движущие силы исторического развития, которые он усматривал в индустриализме и науке[69]). При такой постановке вопроса изучение социальных отношений в деревне, естественно, отходило на задний план. Однако, рассматривая народные движения в период религиозных войн, Лучицкий обращает определенное внимание и на классовую борьбу в деревне.

«Но указанными выше элементами общества тогдашней Франции: знатью, буржуазией и menu peuple, — заявляет Лучицкий, — не исчерпывались еще деятели той политико-социальной борьбы, которая проявилась в XVI в. с значительною силою. Рядом с притязаниями разных слоев населения реорганизовать существующий строй общества и государства шло подобное же стремление и со стороны забитой и задавленной массы крестьян, на которых падали в конечном результате все бедствия, которые приводит за собой междоусобная война»[70]).

Признавая за крестьянством роль самостоятельно действующей силы в событиях второй половины XVI в. во Франции, Лучицкий показывает, что крестьянские выступления в этот период вызывались ухудшением экономического положения крестьян, усилением феодального гнета. Яркими красками рисует он грабежи и насилия дворян, их самоуправство, бесконтрольное хозяйничанье в деревне. Указывая, что крестьянские жалобы на своих притеснителей не только не достигали цели, но и приносили крестьянам новые мучения, Лучицкий подчеркивает, что в создавшемся положении у них «оставался единственный выход — восстание»[71]).

Рассматривая крестьянские восстания второй половины XVI в. как закономерный результат обострения феодальной эксплуатации во французской деревне, Лучицкий подчеркивает их социальный характер, их ярко выраженную антифеодальную направленность. Вместе с тем он пытается доказать, что в целом ряде случаев крестьянское движение в этот период выходило за рамки отдельных выступлений против феодального дворянства, поднимаясь до борьбы с самой королевской властью и всем господствующим строем. О таких восстаниях он пишет, что они «затрагивали более существенные, более важные интересы. Они

---

[69]) И. В. Лучицкий. Обзор литературы по философии истории за 1872 г («Знание», 1873 г. № 9, стр. 65). Особое значение он придает индустриальному элементу. «В истории развития этого элемента, — заявляет он, — ключ к правильному пониманию событий нового времени, почва, на которой с наибольшим удобством может быть построена действительная история нового времени» (историю нового времени Лучицкий датирует с XIV в. — *Б. М.*). Там же, 1874 г., № 1, стр. 2. При этом надо иметь в виду, что носителем индустриального развития он считает прежде всего буржуазию.

[70]) «Университетские известия». Киев, 1874, № 5, стр. 310.

[71]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 518. В этой связи представляется неубедительным утверждение одного из первых критиков Лучицкого, К. К. Арсеньева, что «источником всех многочисленных и разнообразных проявлений народного неудовольствия г. Лучицкий считает неисполнение требований, заявленных средним сословием на Генеральных штатах 1576—1577 годов» («Вестник Европы», 1877, № 11, стр. 200).

не были только реакциею против произвола дворян и феодальных злоупотреблений, — в них сказывалось стремление вступить в борьбу с королевской властью, избавиться и от того тяжелого гнета, который налагало на крестьян правительство. Постоянно изобретаемые правительством новые налоги, вводимые им финансовые меры, усиливающиеся вымогательства со стороны финансовых деятелей возбуждают в сильной степени ненависть к господствующему режиму в той среде, которая прежде долгое время исполняла безропотно волю правительства»[72]). В другом месте он говорит о стремлении крестьян «свергнуть с себя ненавистное иго, созданное феодальным режимом»[73]).

Важно отметить, что Лучицкий не рассматривает крестьянское движение изолированно, вне связи с борьбой против феодальной реакции других общественных сил страны. Особого внимания заслуживает его попытка показать общность крестьянских выступлений и движения городских низов, установить их взаимодействие. О том, какое значение придавал он этому вопросу, свидетельствует его «Отчет о занятиях за границей». Говоря о том, какие материалы архивов городов южной Франции вызвали его наибольший интерес, Лучицкий, в частности, указывает на материалы Тулузского архива «касательно сношений между крестьянскими ассоциациями и menu peuple городов»[74]).

Рисуя резкое обострение классовой борьбы французского крестьянства в 70-х годах XVI в., Лучицкий объясняет ее размах, известную организованность непосредственной ее связью с параллельным движением в городах. Он подчеркивает, что крестьянство выступало не в одиночку, а действовало «в связи и под руководством более развитых деятелей»[75]). Под этими более развитыми деятелями Лучицкий, без сомнения, имеет в виду наиболее радикальные элементы городского населения, стоявшие в оппозиции в отношении не только порядков, господствовавших в городе, но и общих политических порядков в стране. Недаром Лучицкий заявляет, что революционные городские деятели не имели успеха в среде среднего сословия и перенесли свою деятельность в деревню, благодаря чему крестьяне стали выступать более решительно и организованно[76]).

Лучицкий отмечает, что крестьянские восстания оканчивались неудачей. Однако было бы неверным утверждать, что он тем самым отрицает за ними всякое значение. Лучицкий далек от того, чтобы, как это любят делать многие буржуазные историки, проповедовать бесполезность, бессмысленность крестьянских востаний. Напротив, на примере крестьянского движения в период религиозных войн он как раз показывает, какую большую и грозную силу представляют собой восставшие крестьяне, даже если борьба их и заканчивается поражением. Так, он говорит о крестьянских выступлениях, охвативших к концу религиозных войн почти весь юг Франции: «Движение было так сильно, что не только государство, но и все сословия стали смотреть на него со страхом, начали понимать всю ту опасность, которая грозит и им, и их правам и привилегиям, если восстание одержит верх»[77]).

Давая общую оценку крестьянским восстаниям в 70-х гг. XVI в., Лучицкий пишет: «Крестьяне не достигли той цели, ввиду которой они подняли оружие, но сильный удар был, тем не менее, нанесен и прави-

---

[72]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 520.
[73]) Там же, стр. 515.
[74]) «Университетские известия». Киев, 1874, № 5, стр. 299.
[75]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 522.
[76]) Там же, стр. 499.
[77]) «Университетские известия». Киев. 1874. № 5, стр. 311.

тельству, и существовавшему строю: их ветхость и несостоятельность обнаружились вполне, как обнаружилось и то, что в массе народа началось движение, которое особенно в той форме, как оно проявилось в Дофинэ и некоторых других провинциях (Оверни, Нормандии), грозило радикально изменить установившиеся общественные отношения. Народ показал, что он может и хочет действовать, что он не желает оставаться пассивным зрителем происходящих событий и стремится к разрушению тесных рамок, в которых ему стало слишком тяжело жить»[78]).

Тем самым Лучицкий с большой силой подчеркивает прогрессивность классовой борьбы крестьянских масс и, что, пожалуй, еще более важно, связывает ее с выходом народа на арену самостоятельной исторической деятельности. При этом представляется несомненным сочувственное отношение Лучицкого к положению народных масс и их борьбе. Он не позволяет себе ни единого грубого выпада по их адресу, совершенно не останавливается на излюбленном в буржуазной историографии сюжете об «эксцессах» народных масс во время восстания, их «зверствах» и т. п.

Для лучшего понимания идейно-методологических позиций Лучицкого небезынтересно отметить, что анализ положения и борьбы народных масс в период религиозных войн он связывает с проблемой революции. Говоря о падении авторитета королевской власти в этот период, он прямо заявляет, что разрыв между правительством и народом вел к революции.[79]) Причем революцию Лучицкий считает явлением правомерным, являющимся при определенных обстоятельствах единственным выходом из создавшегося положения.

Именно в таком положении, чреватом революцией, по мнению Лучицкого, оказалась Франция в 70-е годы XVI века. Указывая на бедственное положение широких слоев городского и сельского населения, на невыносимый рост налогового бремени, подрывавшего торговлю и промышленность в стране, Лучицкий пишет: «Страна... разорялась все более и более, и при существующей системе управления для нее не существовало иного выхода, кроме разрушения установленного порядка»[80]).

Однако в подходе к проблеме революции с особой силой проявились ограниченность методологических взглядов Лучицкого и его буржуазный либерализм. В его понимании революция — это прежде всего политический переворот, порожденный разрывом между правительством и обществом и направленный на ликвидацию этого разрыва. Исходя из представления о надклассовой природе государства, Лучицкий сводит проблему революции, по существу, к проблеме авторитета государственной власти, определяемого ее способностью вести политику в интересах всего общества: падение этого авторитета, порожденное неправильной политикой правительства, и приводит в конечном счете к революции. Тяжелое экономическое положение страны объявляется следствием именно такой неправильной политики правительства.

С таких позиций Лучицкий подходит и к характеристике политических потрясений во Франции второй половины XVI века. Доказывая наличие в последний период религиозных войн революционной обстановки, он видит причину ее возникновения в несостоятельной политике королевской власти, доведшей всю страну до разорения. Говоря о восстании 1579 г., которое он рассматривает как начало революции, Лучиц-

[78]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 521—522.
[79]) Там же, стр. 544.
[80]) Там же, стр. 455.

кий пишет: «Действительною причиною восстания был он сам (король.— *Б. М.*), его система управления»[81]). Поэтому и предотвращение революции — дело несложное. Достаточно было королю издать в мае 1579 г. ордонанс с щедрыми обещаниями всевозможных благ своим подданным, как «революция была остановлена в самом начале ее развития»[82]). Во всех этих рассуждениях Лучицкого его идеалистическая методология теснейшим образом переплетается с политическими воззрениями буржуазного либерала на природу взаимоотношений народа и правительства и причины революции.

***

Большое внимание к борьбе народных масс в период религиозных войн, стремление вскрыть социальные пружины развертывавшихся в этот период событий не могли не отразиться на развитии методологических взглядов Лучицкого. В сущности, уже само обращение к истории социальной и революционной борьбы свидетельствовало об известном пересмотре ученым своих воззрений на характер и движущие силы исторического развития, о начавшемся отходе от основных догм контовского позитивизма.

В самом деле, всей направленностью своих исследований Лучицкий становится на путь разрыва с контовскими представлениями о том, что задачи историка должны сосредоточиваться главным образом в сфере изучения идейной стороны жизни общества, что именно в этой области, области развития и борьбы идей, следует искать определяющие факторы исторического процесса. Каждый новый шаг в изучении религиозных войн вел Лучицкого ко все более глубокому пониманию роли народных масс в истории, знаменовался дальнейшим его отходом от догматики Конта. В этой связи характерно, что к признанию и изучению роли крестьянского движения в событиях второй половины XVI века Лучицкий приходит лишь в последние годы своей работы над историей религиозных войн. Только в его последней книге на эту тему, — «Католическая лига и кальвинисты во Франции», — положению и борьбе крестьянства уделяется известное внимание, делается попытка показать влияние крестьянского движения на ход религиозных войн.

Для наметившейся в период изучения религиозных войн эволюции методологических взглядов Лучицкого показательной является статья «Отношение истории к науке об обществе»[83]), представлявшая собою своеобразное методологическое введение к читавшемуся Лучицким в Киевском университете в 1874/75 учебном году курсу новой истории. Эта статья, бесспорно, свидетельствует об идеалистических взглядах ее автора. Здесь мы вновь встречаем характерные для молодого Лучицкого утверждения о том, что мнения управляют действиями людей, что законы развития человеческой природы должны явиться необходимою исходною точкою при изучении социальных явлений и т. п. Однако в ней есть и нечто иное, свидетельствующее об изменении отношения Лучицкого к контовскому позитивизму. Если для его более ранних работ является показательным безоговорочное признание позитивистского учения Конта как последнего слова науки, то здесь он, в сущности, выступает против одного из центральных разделов этого учения — контовской социологии. Красной нитью через всю его статью проходит мысль о том, что в его время социология как наука не существует, что

[81]) И. В. Лучицкий. Католическая лига и кальвинисты во Франции, стр. 546.
[82]) Там же, стр. 560.
[83]) И. В. Лучицкий. Отношение истории к науке об обществе. «Знание», 1875 г., № 1.

не выработаны даже основы науки об общественных явлениях, и таким образом косвенно критикуется контовская социология.

Подведем итоги. В трудах И. В. Лучицкого впервые в исторической науке была предпринята серьезная попытка установить место и роль широких народных масс в гражданских войнах второй половины XVI в. во Франции. Подчеркивая размах демократического движения в этот период, рассматривая его через призму острой социальной борьбы, развернувшейся в стране, Лучицкий показал определяющее влияние социальных противоречий и классовой борьбы на характер религиозных войн. Уделяя особое внимание роли среднего сословия, он вместе с тем указал на большое, а в ряде случаев и решающее значение в это время борьбы городских низов и крестьянства. Знаменательно, что при этом Лучицкий подчеркивает размах и значение классовой борьбы между зарождавшейся буржуазией и городскими низами.

Несомненный интерес Лучицкого к проблеме классовых взаимоотношений в период религиозных войн не означал коренного переворота в его методологии. По своим методологическим взглядам он оставался идеалистом, что в полной мере проявилось в его недооценке экономических предпосылок религиозных войн, особенностей экономического развития различных районов Франции во второй половине XVI в., в признании им надклассовой природы королевской власти и т. п. Тем не менее в методологических воззрениях Лучицкого произошел известный сдвиг. Вопреки контовским догмам, в научном творчестве Лучицкого все решительнее выступает интерес к социальным отношениям, к положению трудящихся масс. Характерно, что непосредственно после своих исследований по истории религиозных войн он переходит к изучению крестьянской реформы в Западной Европе. Не случаен и тот факт, что в своих дальнейших трудах Лучицкий ни разу не упоминает о Конте и его учении, которое он так превозносил в своих ранних работах.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 136 Серия историческая

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНРИХА ФОН ЗИБЕЛЯ

В. А. ГАВРИЛИЧЕВ

Генрих фон Зибель (Heinrich von Sybel, 1817—1895) — один из видных немецких историков XIX века. Ученик Ранке и Савиньи, соратник Дройзена и Трейчке, один из основателей и руководителей так называемой малогерманской исторической школы, Зибель сыграл заметную роль в развитии германской буржуазно-юнкерской историографии средних веков и нового времени. На его труды как важные источники, необходимые марксистам для изучения некоторых проблем XVIII—XIX вв., в свое время обращал внимание Энгельс[1]).

Существенное значение имеют теоретико-методологические взгляды Зибеля. Они в известной степени отражают сложную эволюцию немецкого буржуазного историзма 2-й половины XIX века, особенно периода объединения Германии. Изучение их представляет несомненный интерес. Это тем более необходимо, если учесть, что в советской историографии методология Зибеля до сих пор не была предметом специального исследования, а в буржуазной историографии, ей, как правило, не уделялось должного внимания[2]). Даже такой крупный знаток истории немецкой исторической науки, как Генрих-Риттер Srbik, вскользь говорит о методологии Зибеля.[3]) Между тем без выяснения теоретико-методологиче-

---

[1]) См. Ф. Энгельс. Письмо К. Каутскому от 20/II. 1889 г. В кн. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. изд. 1-е, т. XXVIII, стр. 82—83; Ф. Энгельс. Письмо В. Либкнехту от 18/XII. 1890 г. Там же, стр. 272.

[2]) См. F. Meinecke. Heinrich von Sybel. «Historische Zeitschrift.» 1895. Bd. 75; K. Varrentrapp. Biographische Einleitung. In: H. v. Sybel. Vortrage und Abhandlungen. München und Leipzig, 1897, S. 5—155; G. Schmoller. Heinrich von Sybel und Heinrich von Treitschke. In: G. Schmoller. Charakterbilder. Lpz. und München. 1913, 189—201; E. Marcks. Heinrich von Sybel. In: E. Marcks. Männer und Zeiten... Bd 1: Lpz. 1911, S. 280—285; В. Бузескул. Генрих Зибель как историк-политик. В кн.: В. Бузескул. Исторические этюды. Спб. 1911 г; M. Ritter. Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft München und Berlin. 1919, S. 422—425; G. v Below. Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen. Zweite Auflage. München und Berlin. 1924, S. 50—51, 55—53; Н. И. Кареев. Генрих Зибель. В кн. Н. И. Кареев. Историки французской революции. Т. III, Л. «Колос», 1924, стр. 54—77; E. Fueter. Geschichte der neueren Historiographie, 2 Auflage... München und Berlin, 1925, 535—538; J. Wach. Das Verstehen, Grundzüge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19 Jahrhunderts Bd. III. Tübingen. 1933, S. 191—204. H. O. Sieburg. Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung des 19 Jahrhunderts (1848—1871) v. Wiesbaden, S. 200—205.

[3]) См. H. R. v. Srbik. Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus blis zur Gegenwart. Bd. I. München — Salzburg. 1950, S. 380—384.

ского фундамента исторических работ Зибеля нельзя правильно определить ни его место в развитии исторических знаний в Германии, ни содержание применяемой им методики исторического исследования, ни подлинный смысл используемых им приемов интерпретации исторических фактов.

Данная статья и является попыткой рассмотреть теоретико-методологические основы исторических исследований Зибеля.

I

Политическая и научная деятельность Генриха фон Зибеля[4]) тесно связана с эволюцией прусского либерализма 30—90-х годов XIX в. Зибель — типичный представитель либеральной буржуазии Германии, которая до 1848 года вела (хотя и непоследовательно) прогрессивную борьбу с феодализмом и аристократией, а после революции 1848 г., как писал В. И. Ленин, «отвернулась от демократии, позорно предала свободу, которую раньше защищала, и повернула к лакейству перед помещиками и клерикалами»[5]). Деятельность Зибеля может служить наглядным примером этой эволюции.

Начало политической и научной деятельности Зибеля (1838—1848 гг.) целиком проходит под знаком либерализма. Прогрессивные тенденции отчетливо сказываются в его первых исследованиях, особенно в работе «Entstehung des deutschen Königtums» (1844), где историк резко критикует отсталую феодальную систему Германии, выступает за национальное объединение раздробленной страны.

Как и многие другие либералы, молодой Зибель — сторонник объединения Германии под главенством Пруссии; его политический идеал (которому он остался верен на всю жизнь) — конституционная монархия. «Зибель, — пишет М. Феррес, — не признавал никакой другой государственной формы, кроме конституционной монархии»[6]).

На пути объединения страны стояли различные реакционные силы. В промышленной Рейнской провинции, где жил Зибель, особую непримиримость проявляло католическое духовенство (ультрамонтане), в союзе с феодальной аристократией, выступавшие против притязаний протестантской Пруссии на роль объединителя Германии. Накануне 1848 г. Зибель считает ультрамонтан наиболее опасным противником[7]) и выступает против них с многочисленными памфлетами. Широкую популярность в кругах либеральной буржуазии Рейнской провинции доставил памфлет «Der heilige Rock in Trir». Памфлет сыграл известную роль и в ученой карьере Зибеля: курфюрст Гессенский в пику ультрамонтанам предоставил Зибелю место профессора в Марбургском университете.

Но и в 40-е гг., в пору расцвета либерализма, обнаруживается непоследовательность и нерешительность Зибеля в борьбе с феодальной реакцией. Он решительно отвергает демократическую республику, а не-

---

[4]) Генрих Зибель — выходец из протестантской семьи (по отцу — крупный буржуа, по матери — прусский юнкер). Историческое образование получил в 30-х гг. в Берлинском университете под руководством Леопольда Ранке и Фридриха Савиньи. В 1838 году защитил докторскую диссертацию об Иордане. В 1840—1845 гг. — приват-доцент в Бонне, позднее — профессор в Марбурге, Мюнхене (1856—1860 гг.) и Бонне (1861—1874 гг.), член Баварской Академии наук, секретарь ее исторической комиссии. С 1875 г. — в Берлине, директор Прусского государственного архива. Неоднократный депутат рейхстага, тайный имперский советник.

[5]) В. И. Ленин. Новейшие данные о партиях в Германии. Соч., изд. 4-е, т. 19, стр. 241.

[6]) M. Ferres. Heinrich von Sybels Stellung zu den politischen Vorgängen 1859 bis 1862. (Teildruck). Berlin, 1930, S. 11.

[7]) F. Meinecke. Heinrich von Sybel — «Historische Zeitschrift». 1895, Bb, 75, S, 392.

задолго до 1848 г. помещает в либеральном журнале Адольфа Шмидта статью, где фактически оправдывает нападки ярого английского реакционера Эдмунда Бёрка на Великую французскую революцию[8]).

Революция 1848—1849 гг. оказала далеко идущее влияние на судьбу Зибеля и всего немецкого либерализма. Зибель участвовал в работе Эрфуртского парламента[9]). В его деятельности в этом парламенте явственно выразилось политическое бессилие и трусость, которые проявила в период революции немецкая либеральная буржуазия. Зибель резко выступает против всеобщего избирательного права, он отвергает республиканскую форму объединения страны, уверяя избирателей, что она не имеет никакого значения, ибо «можно быть несвободным в республике и свободным в монархии.»[10]) Такая позиция Зибеля была неслучайной. «Я был тогда молод и был, как тогда говорили, либералом, — вспоминал Зибель много лет спустя о своей «революционной» деятельности. — **Но я был историком из школы Ранке, и, следовательно, умеренным и врагом сущности радикализма»...**[11])

Мужественное выступление молодого рабочего класса Германии напугало Зибеля. Как и Ранке, ему мерещился призрак «красной республики». Уже вскоре после мартовских баррикад 1848 г. в Берлине Зибель писал, что господство масс — это «уничтожение собственности и господство насилия».[12]) Несколько позднее Зибель стремится «образумить» рабочих, он уверяет их, что коммунистическое учение их «окончательно погубит», что «свое спасение пролетариат... сможет найти не в уничтожении частной собственности и денежного обращения, но, напротив, только в их дальнейшем развитии»[13]).

Революция 1848—1849 гг. вызвала политическое поправение Зибеля, он стал умеренным либералом с заметным уклоном в сторону консерватизма. Причем этот консервативный уклон временами ощущался настолько сильно, что биограф Зибеля Мартин Феррес склонен был даже считать, что «Зибель в своих взглядах больше аристократ, чем буржуа.»[14]) Но аристократом или консерватором в 50—60 гг. Зибель не был, вопреки утверждениям Ферреса и некоторых из советских историков.[15—16])

После 1848 г. Зибель продолжает выступать против ультрамонтанства, он даже организует специальную «Немецко-Рейнскую ассоциацию для борьбы с ультрамонтанством». Реакционное католическое духовенство не остается в долгу, оно осыпает либерала-протестанта проклятиями. В «Католическом народном календаре на 1860 г», широко распространенном в Германии, было напечатано: «Боже, не вводи нас в искушение, но избави нас от Зибеля. Аминь!»[17]). В результате интриг католического духовенства Зибель вынужден был покинуть Мюнхен и перейти в Боннский университет (1861). Впрочем, борьба с ультрамон-

---

[8]) См. H. v. Sybel. Edmund Burke und die Französische Revolution.—«Allgemeine Zeitschrifte für Geschichte». 1847. Bd. 7, S. 1—49.

[9]) Здесь он сближается с видными малогерманцами И. Г. Дройзеном и М. Дункером.

[10]) K. Varrentrapp. Biographische Einleitung. — H. v. Sybel. Vorträge und Abhandlungen, S. 52.

[11]) H. v. Sybel. Pariser Studien, 1886. В кн.: H. v. Sybel. Votrage und Abhandlungen... S. 363 (курсив мой.— *В. Г.*).

[12]) M. Ferres. Heinrich von Sybels Stellung zu den politischen Vorgängen.... S. 11.

[13]) Varrentapp, op cit., S. 52.

[14]) M. Ferres. Heinrich von Sybels Stellung... S. 11.

[15—16]) См. «Французская буржуазная революция 1789—1794 гг.» Под ред. В. П. Волгина и Е. В. Тарле. М. Изд. АН СССР. 1941, стр. 707.

[17]) H. v. Sybel. An Droysen. 23.X.1859.—In: Iohann Gustav Droysen. Briefwechsel Bd. II. Lpz. 1929. S. 627.

танством для Зибеля уже не имела прежнего значения. Более опасным врагом казался «радикализм». Зибель чувствовал настоятельную потребность осмыслить опыт революции 1848 года. Много позднее, будучи уже глубоким стариком, Зибель откровенно рассказал, как его напугали «коммунистические тенденции» революции 1848 г. и как в конце-концов он решил отказаться от заветной мечты — написать историю Рима — и засел за историю Великой французской революции конца XVIII века.[18]) Таким образом, труд Зибеля диктовался явно политическими соображениями. На примере «коммунистических тенденций» Великой буржуазной революции 1789 г. Зибель хотел показать, что революции вообще (и недавняя немецкая революция 1848 г. в частности) являются опасными и гибельными для народа.

Так в 1853—1860 гг. появилась монография о революции конца XVIII века во Франции[19]), которую многие буржуазные историки единодушно признавали крупнейшим произведением Зибеля, а некоторые из них — самым значительным трудом всей немецкой историографии французской революции[20]). Для своего времени и в рамках буржуазной историографии труд Зибеля имел известное научное значение. Как справедливо отметил Н. И. Кареев, это был, по существу, «первый капитальный исторический труд о взаимоотношении между французской революцией и Европой».[21]) Уже рецензенты обратили внимание на то, что Зибель впервые сделал попытку нарисовать широкую картину международных отношений в период французской революции.

Русский консервативный журнал «Библиотека для чтения» отметил это как главную заслугу Зибеля, так как до него, писал журнал, историографы первой французской революции обычно считали «совершенно достаточным упомянуть в двух-трех словах о пильницком свидании, да о знаменитом манифесте герцога Брауншвейгского»[22]). 2-й раздел Польши, дипломатические отношения 1789—1795 гг., военные кампании — эти и другие малоизученные вопросы Зибель широко осветил, на основе привлечения архивных материалов, хранящихся в Берлине, Париже и других европейских столицах. Имея в виду «Историю Французской революции и ее времени» и примыкающие к ней статьи, Энгельс писал Каутскому, что «эти работы **основаны на архивных документах**, их, безусловно, можно использовать»[23]).

Зибель осветил также социально-экономические вопросы, посвятив специальную главу и ряд разделов книги аграрной и финансовой проблемам[24]). При этом им были сделаны интересные замечания

[18]) См. H. v. Sybel. Pariser Studien.—H. v. Sybel. Vorträge und Abhandlungen S. 363—364.

[19]) См. H. v. Sybel. Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795. Bd. 1—3. Bonn. 1853—1860. (4-е изд. вышло во Франкфурте-на-Майне в 1882 г.) Русск. пер. 2-го издания «История французской революции и ее времени (1789—1795 гг.)». Пер. с нем. под ред. В. Ососова и А. Путяты. ч. 4. I—IV. СПБ. 1863—1867 гг. В 70—80-х гг. Зибель выпустил продолжение (2 тт.) под названием «Geschichte der Revolutionszeit von 1795 bis 1800».

[20]) См. F. Meinecke. Heinrich von Sybel. — «Historische Zeitschrift». 1895, Bd. 75, S. 393: G. Schmoller. Heinrich von Sybel und Heinrich von Treitschke. — In: G. Schmoller. Charakterbilder. Leipzig und München, 1913, S. 198; E. Fueter. Geschichite der neueren Historiographie. 2 Aufl. München und Berlin. 1925, S. 537—538; G. v. Below. Die deutsch Geschichtsschreibung, S. 28; Н. И. Кареев. Историки французской революции. Т. II. Л., «Колос», 1924, стр. 113—114; H. R. v. Srbik, Geist und Geschichte, Bd. I. S. 384, H. O. Sieburg. Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung, S. 250. 234.

[21]) См. Н. И. Кареев. Указ. соч., т. II, стр. 113—114.

[22]) «Библиотека для чтения». 1863 г., № I, январь, стр. 24.

[23]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 1-е, т. XXVIIII, стр. 82—83.

[24]) См. Г. Зибель. История французской революции и ее времени (1789—1795 гг.), ч. I. Спб, 1863 г., глава 4 и стр. 50, 335—340; ч. II. Спб., 1864 г., стр.41—42,

и наблюдения. «По-видимому революция, — писал Зибель, — никому не принесла таких благих плодов, как многочисленному и угнетенному классу мужиков».[25]) Присоединяясь к восторженной оценке «ночи чудес» — 4 августа 1789 г., даваемой предшествующими историками, Зибель в то же время оговаривался, что материальные жертвы дворян были незначительны, т. е. фактически поставил под сомнение искренность энтузиазма дворянства. Зибель также обратил внимание на то важное обстоятельство, что бо́льшая часть церковных земель в 1790—1791 гг. попала в руки городской буржуазии, чего не отмечали предшествующие историки.[26]) Вслед за м-м де Сталь Зибель не без оснований указывал на отрицательную роль, которую сыграл беспрерывный выпуск ассигнатов конституантой, для денежного обращения во Франции[27]).

Однако не следует преувеличивать научное значение работы Зибеля, как это делали Сорель, Мейнеке, Эрих Маркс, Кареев и другие. На «Истории французской революции и ее времени» тяжелым грузом сказываются умеренно-либеральные, монархические и шовинистические позиции автора, в результате чего общая концепция французской революции Зибеля носит резко выраженный антидемократический характер. Зибель не жалеет усилий, чтобы очернить столь ненавистные ему «коммунистические тенденции» якобинцев.

Зибель разделял реакционную версию Токвиля о том, что феодально-абсолютистский строй во Франции был разрушен задолго до 1789 г. и революция лишь завершила этот естественный процесс[28]). Одним из первых в европейской историографии Зибель выдвинул антинаучную версию о том, что французская революция якобы «не изменила характер французского землепашества»[29]), версию, принятую впоследствии многими буржуазными историками.

Зибель высказал также мысль о том, что максимум в 1793—1794 гг. убил во Франции торговлю и производство[30]). Это в корне неправильное положение вместе с аналогичными заявлениями других историков нанесло большой вред изучению экономической политики якобинской диктатуры, направив усилия многих историков конца XIX — начала XX вв. по ложному пути.

Тенденциозный, антидемократический характер работы Зибеля по вкусу пришелся реакционным современникам. «Много хорошего и оригинального», — писал Леопольд Ранке Зибелю в 1856 г. после выхода в свет первых томов «Истории Французской революции и ее времени»[31]). Король Баварии пригласил Зибеля в Мюнхен, где наградил его орденом Максимилиана. Баварская Академия наук поспешила избрать Зибеля в свой состав. Работа Зибеля, как и антидемократические по духу произведения о революции 1848 г. (точнее, против революции) малогерманцев Гейссера, Гайма, Лаубе[32]), помогла немецкой

132—134; ч. III. Спб. 1865 г., стр. 7—8, 117—120; ч. VI. Спб. 1867, стр. 33, 146, 154—155.

[25]) Г. Зибель. Указ. соч., ч. I, стр. 177.

[26]) Г. Зибель. Указ. соч., ч. I, стр. 48—50, 337.

[27]) Там же, стр. 176.

[28]) См. Г. Зибель, указ. соч., ч. I, глава I и сл.

[29]) См. Г. Зибель, указ. соч., ч. I, стр. 337.

[30]) См. Г. Зибель, указ, соч., ч. IV, стр. 33.

[31]) Varrentrapp, op cit., S. 63—64.

[32]) О работах Гейссера, Гайма, Лаубе см.: С. Б. Кан. Начало юнкерско-буржуазной историографии революции 1848—1849 гг. — В сборн. «Из истории социально-политических идей. К 75-летию акад. В. П. Волгина». Изд. АН СССР. М. 1955 г. стр. 540—541. С. Б. Кан. Немецкая историография революции 1848—1849 гг. в Германии. Изд. АН СССР, М., 1962 г., стр. 49—54.

реакции выполнить очень важную задачу, которая, как указывал В. И. Ленин, заключалась в том, чтобы «...вытравить из народного сознания воспоминания и традиции революционной эпохи 1848 года»[33]).

***

Годы работы Зибеля над «Историей французской революции и ее времени» имели исключительно важное значение в политической деятельности Зибеля, как и в развитии Германии вообще. «...1848—1871 гг. в Германии, — указывал В. И. Ленин, — были эпохой революционной и контрреволюционной борьбы двух путей объединения... пути *через* великогерманскую республику и пути *через* прусскую монархию. *Только к 1871 году* второй путь *окончательно победил*».[34]).

Развитие капитализма, делавшее заметные успехи после революции 1848—1849 гг. безотлагательно требовало объединения раздробленной страны. Зибель, выразитель интересов крупной буржуазии, принимает самое активное участие в борьбе за малогерманский путь объединения Германии сначала в рядах «прогрессистов», а затем и национал-либералов. Борьба эта наложила сильнейший отпечаток на его научную деятельность, сам Зибель признавался, что он «на 3/7 политик и на 4/7 ученый»[35]).

«История французской революции и ее времени» Зибеля, выдержавшая в 50—70-х гг. три издания, по словам Густава Фрейтага, имела большое значение в деле воспитания немецкого народа в духе малогерманского единства»[36]). И это не случайно: опорочивая французскую революцию и якобинскую республику, как «систему анархии», «деспотизма», как «отрицание всякой дисциплины, всякого порядка, всякой власти»,[37]) Зибель тем самым внушал (и отнюдь не безуспешно) буржуазному и мелкобуржуазному читателю мысль о «пагубности» революционного пути объединения Германии через демократическую республику.

Непримиримым противником Пруссии в деле малогерманского объединения Германии в 50—60-х гг. были австрийцы и великогерманцы, выступавшие с идеологическими обоснованиями «необходимости и законности» притязаний Австрии на роль объединителя страны. Зибель энергично борется против великогерманцев под лозунгом: **«Всякое вмешательство Австрии в немецкие дела — национальная и политическая гибель Германии»**[38]).

В исторических работах, докладах, газетных статьях Зибель не жалеет красок, чтобы доказать «неспособность» Австрии возглавить объединение Германии. При этом Зибель непрерывно ссылался на прошлую историю Австрии — Священной Римской империи, которую историк изображал в самых мрачных красках, как бедствие для Германии и всех немцев. Даже в «Истории французской революции и ее времени» Зибель не удерживается, чтобы не осудить деятельность австрийских императоров, для которых «основные законы государства служили...

---

[33]) В. И. Ленин. Против бойкота.— Соч., изд. 4-е, т. 13, стр. 23.

[34]) В. И. Ленин. Письмо И. И. Скворцову-Степанову. 16/XII 1909 г. Соч., изд. 4-е, т. 16, стр. 104. Сам Зибель сознавал важность 50—60-х гг. для «великих наций Европы» как периода их борьбы за государственное «единство, самостоятельность и упорядоченную свободу» (H. v. Sybel. Napoleon III. Bonn. 1873, S. 72).

[35]) Varrentrapp, op. cit., S. 128.

[36]) H. O. Sieburg, Deutschland und Frankreich... S. 251.

[37]) Г. Зибель. История французской революции и ее времени, ч. III, стр. 110, 156.

[38]) Varrentrapp, op cit., S. 59.

только пустым звуком...»[39]) Пруссия, — указывает Зибель, — «окончательно убедилась в том, что ее... обманула та самая Австрия, к которой она питала такое доверие....»[40])

В борьбе с великогерманцами вокруг Зибеля и Дройзена объединяются видные историки (Моммзен, Грейчке, Гейссер, Баумгартен, Дункер и другие). Большую роль в сплочении малогерманцев сыграл журнал «Historische Zeitschrift», который стал издаваться с 1859 года под редакцией Зибеля и довольно скоро превратился в рупор прусского монархического либерализма. Выражая мнение крупной буржуазии, Зибель не раз в эти годы говорит о том, что объединенная Германия во главе с Гогенцоллерами была бы лучшей преградой революциям, которые представляют «опасность и несчастье для каждого немецкого государства»[41]).

Борьба между малогерманцами и великогерманцами, бывшая столкновением различных вариантов антидемократического пути объединения Германии «сверху», носила ожесточенный характер. Обе стороны широко (и нередко тенденциозно) использовали исторический опыт. После поражения Австрии в войне с Италией и Францией (1859 г.) Зибель выступает с рядом работ, в которых резко критикует антиитальянскую политику средневековых императоров Священной Римской империи[42]). Здесь ярко выступает политическое чутье Зибеля: поскольку намечался союз Пруссии с Пьемонтским королевством, стремившимся создать Итальянское монархическое государство, Зибель без колебаний становится в позу защитника итальянского народа от австрийских агрессоров. Австрийцы (Ю.Фиккер) не остались в долгу, они отвечали Зибелю опровержениями, в которых доказывали, что не Австрия, а Пруссия неизменно приносила вред Германии, что Австрия — воплощение свободы и единства германской нации[43]).

Полемика не утихла и в конце 60-х гг. Напротив, новое поражение Австрии в войне с Пруссией (1866) привело к обострению спора, причем центр тяжести перемещается на историю взаимоотношений Австрии и Пруссии в войне против французской революции.

Здесь предметом острой дискуссии был вопрос о Базельском мире 1795 года. Австрийский историк Альфред фон Вивено, отчасти боннский профессор Герман Хюффер и другие обвиняли Зибеля в том, что в своей «Истории французской революции и ее времени» он тенденциозно изобразил политику Австрии и преднамеренно «улучшил» неприглядную политику Пруссии, которая заключением Базельского

---

[39]) Г. Зибель. История французской революции и ее времени, ч. I, стр. 119.
[40]) Там же, стр. 146.
[41]) M. Ferres. Heinrich von Sybels Stellung... S. 37.
[42]) См. H. v. Sybel. Ueber neuen Darstellungen der deutschen Kaiserzeit. München. 1895. H. v. Sybel. Die deutsche Nation und das Kaiserreich. Düsseldorf. 1862.
[43]) См. J. Ficker. Königtum und Kaisertum. Wien, 1862.

Полемика Зибеля с Фиккером на долгие годы разделила немецких историков на сторонников и противников итальянской политики средневековой германской империи. Причем не все малогерманцы поддерживали установку Зибеля. И. Г. Дройзен, например, не склонен был находить противоречий между средневековой габсбургской империей и национальными интересами немцев (см. Srbik. Geist und Geschichte... Bd. I, S. 372).

Спор Зибеля с Фиккером (в трансформированном, конечно, виде) продолжили немецкие и итальянские фашисты, причем некоторые немецко-фашистские историки спирались на установку Зибеля (подробнее об этом споре см.: А. И. Неусыхин. Итальянская политика германской империи X—XIII веков в современной фашистской историографии. — Сб. «Против фашистской фальсификации истории». М.—Л. 1939 г, стр. 159—161 и сл. См. также M. Lintzel. Ausgewählte Schriften. Bd. II. Berlin, 1961).

мира изменила Австрии, предала интересы Германии и первой коалиции[44]).

Зибель ответил великогерманцам брошюрой «Osterreich und Deutschland» (1868) и статьями «Osterreich und Preussen im Revolutionskrieg» (1866) и «Polens Untergang und der Revolutionskrieg» (1870)[45]), где отвергал предъявленные ему обвинения и, в свою очередь, обвинял Вивено и Хюффера в тенденциозном подборе источников, в идеализации, «недостойной политики» Австрии, которая, по мнению Зибеля, предала Пруссию, заключив в январе 1795 г. договор о третьем разделе Польши с Россией. Из-за этой измены, подчеркивал Зибель, Пруссия была вынуждена заключить невыгодный Базельский мир. Не Пруссия, а Австрия виновата в неудачном исходе войны с французской республикой и развале первой коалиции, настаивал Зибель.

Политическую подоплеку этой полемики и ее тенденциозный характер глубоко раскрыли Маркс и Энгельс[46]). «Все его рассуждения сводятся к следующему, — писал Энгельс о Зибеле, — если Пруссия вступает в союз с Россией **против** Австрии, то это в порядке вещей, но если Австрия старается вступить в союз с Р[оссией] против П[руссии], то это измена. Великогерманцы и австрийцы, Арнет, Вивено с братией, утверждают, в свою очередь, обратное, так что обе школы историков ведут себя по отношению к России так же глупо, как в ту пору обе германские державы»[47]).

Участие Зибеля в борьбе за малогерманский путь объединения Германии наложило глубокий отпечаток на его научную деятельность. Не случайно, конечно, тематика большинства его исследований 60-х гг. посвящена истории немецкого государства («Немецкая нация и империя», 1862; «Развитие монархизма в Пруссии», 1863; «Новая Германия и Франция», 1868 и др.).

С полевением либеральной буржуазии в эпоху «конституционных конфликтов» левеет и Зибель. В начале 60-х гг. он был одним из лидеров буржуазной оппозиции в рейхстаге, резко выступавших против военной реформы Бисмарка, подвергших острой критике бисмарковскую политику в русско-польском вопросе.[48])

Но оппозиция была лишь последней вспышкой недовольства буржуазии политической гегемонией юнкерства. Первые успехи прусского оружия в войне с Данией (1864 г.) заставили Зибеля и других «прогрессистов» иначе взглянуть на политику Бисмарка. Новая победа Бисмарка — над Австрией (1866 г.) — окончательно изменила мнение Зибеля о «железном канцлере»; в рядах национал-либеральной партии Зибель горячо поддерживает человека, оружием решившего исход спора малогерманцев с великогерманцами. Когда же в 1871 г. Бисмарк «по-юнкерски» (Ленин) завершил объективно необходимое и прогрессивное дело объединения Германии, восторгам Зибеля не было границ.

---

[44]) См. A. von Vivenot. Herzog Albrecht von Sachsen — Teschen als Reichs Feldmarschal. Ein Beitrag zur Geschichte des Reichsverfalls und des Bascler Friedens. Bd. 1—2. Wien. 1864—1856; H. Hüffer. Diplomatische. Verhandlungen aus der Zeit die französischen Revolut'on. Bd. I. Osterreich und Preussen gegenüber der französischen Revolution bis zum Abschluss des Fridens von Campo-Formio. Bonn. 1868.

[45]) См. «Historische Zeitschrift». 1866. Bd. 15; 1870, Bd. 23.

[46]) См. Письма Энгельса Марксу от 17 и 22 февраля 1870 г. и письмо Маркса Энгельсу от 19 февраля 1870 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 1-е, т. XXIV, стр. 294—299.

[47]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XXIV, стр. 298—299.

[48]) Впоследствии сам Зибель расценивал свое участие в оппозиции против Бисмарка как «заблуждение» (Varrentapp op. cit., S. 113, 126—127).

Он называет разгром Франции «великим и грандиозным событием», оправдывает его, как «благое дело», якобы совершенно необходимое для избавления Франции от иезуитов и клерикалов.

Парижскую Коммуну 1871 г. Зибель встретил с ненавистью. Она окончательно отбросила историка в лагерь реакции. Начинается **третий и последний этап политической и научной деятельности Зибеля (1871—1895 гг.).** Характерно, что Зибель теряет остатки либерализма, ведет открытую борьбу против Маркса и Энгельса, против Интернационала. Усматривая в марксизме опаснейшего противника буржуазно-юнкерского порядка, Зибель выступает с публичными лекциями, прямо направленными против Маркса и Энгельса. Он обвиняет их в том, что они якобы признают один лишь «экономический фактор», а мощь государства, личную свободу и все остальное хотят свести на нет[49]).

Учению Маркса и Энгельса о пролетарской революции Зибель противопоставляет свою теорию о частной собственности как якобы важнейшем условии расцвета общества. «Уничтожение частной собственности, — говорил Зибель, — было бы смертельным ударом для личной свободы, оно также стало бы источником всеобщей нищеты».[50]) В конце лекции Зибель, не довольствуясь «научным опровержением» марксизма, призывает правящие классы к обузданию социалистов.[51]) Отмечая «активность» Зибеля и Трейчке в борьбе с марксизмом в 70—80-х гг., Фридрих Энгельс писал, что эти «образованные люди» испытывают «непреодолимый зуд все снова и снова демонстрировать свое невероятное невежество и вытекающее из него поразительное непонимание социализма»[52]).

«Усердие» Зибеля в борьбе против Маркса и Энгельса не осталось незамеченным[53]). По инициативе Бисмарка Зибель был произведен в тайные имперские советники, назначен директором Прусского государственного архива. Бисмарк поручил также Зибелю написать книгу об объединении Германии. Зибель охотно выполнил это поручение. «Основание немецкой империи Вильгельмом I» — последний крупный труд Зибеля — является обширной апологией деятельности Бисмарка (фигура которого оттесняет на задний план даже короля)[54]). Историк выражает свое восхищение личностью Бисмарка, его политикой «железа и крови». Под пером Зибеля Бисмарк превратился в гуманиста и миролюбивого государственного деятеля[55]). Французские критики остроумно заметили, что Зибель превратил «страшного королевского тигра в домашнего кота».[56])

---

[49]) H. v. Sybel. Die Lehren des heutigen Sozialismus und Kommunismus... Bonn. 1872, S. 40.

[50]) Ibid., S. 43.

[51]) Ibid., S. 93.

[52]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 19, стр. 322.

[53]) Современные западногерманские историки хорошо помнят «заслуги» Зибеля в борьбе с марксизмом. Гейнц-Отто Зибург в своей книге «Германия и Франция в историографии XIX столетия», вышедшей в 1958 г., пишет: «Мы отказываемся от полемики» с марксизмом, так как «это — только в одной Германии — с рвением и страстной ненавистью осуществили историки, начиная с Зибеля и кончая Теймером» (Sieburg), Deutschland und Frankreich... S. 175).

[54]) H. v. Sybel. Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. Bd. 1—7. München — Leipzig. 1889—1890. Это сочинение настолько пронизано культом Бисмарка, что по словам И. Галлера, в его названии следовало бы предлог «durch» заменить предлогом «trotz» (J. Haller. Lebenserinnerungen, Stuttgart, 1960, S. 126).

[55]) См., например, H. v. Sybel. Neue Mitteilungen und Erläuterungen zu Band 6 und 7 der Geschichte der Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. — «Historische Zeitshrift». 1895. Bd. 75, S. 91.

[56]) В. Бузескул «Исторические этюды». Спб., 1911 г., стр. 216.

Вся научно-политическая деятельность Зибеля 70—90-х годов свидетельствует о том, что он стал типичным «полицейски-буржуазным историком»[57]), одним из столпов «лакействующей перед помещиками и перед военщиной университетской германской «науки» (с позволенья сказать «науки»)», представители которой ползали «...на брюхе перед успехом и торжеством немецких временщиков».[58])

Эволюция идейно-политических взглядов Зибеля — это типичная эволюция прусского монархического либерализма: от либерализма конца 30-х—40-х годов, ведущего в значительной мере прогрессивную борьбу против феодальных пережитков до консерватизма и явной реакции 70—80 годов, ведущих ожесточенную борьбу с революционным рабочим движением, с марксизмом в интересах буржуазии и юнкерства.

Достойную оценку Зибеля — политика и ученого — дал не кто иной, как сам Бисмарк. Подводя итоги его 50-летней научно-политической деятельности, Бисмарк в специальном приветственном адресе выразил Зибелю глубокую благодарность за его **«многолетнее сотрудничество в общем патриотическом деле».**[59]) Таким образом, в лице «железного канцлера» буржуазно-юнкерская империя благодарила своего «национального героя»[60]) за умелое приспособление исторической науки к интересам эксплуататорских классов.

Краткий обзор основных этапов научно-политической деятельности Г. Зибеля, сделанный выше, свидетельствует о том, что немецкие историки отличались вовсе не «беспартийностью» и «беспристрастием», как в свое время заявлял Вильгельм Гизебрехт[61]), и не «политической независимостью», как утверждал в начале XX в. Вальтер Гётц[62]). Пример Г. Зибеля — классический пример того, как представители

---

[57]) В. И. Ленин. Против бойкота. Соч., изд. 4-е, т. 13, стр. 23.

[58]) В. И. Ленин. Цаберн. Соч., изд. 4-е, т. 19, стр. 465. О реакционности политической и научной позиции Зибеля последнего периода его жизни наглядно говорит тот факт, что он в эти годы во многом поддерживает ярого реакционера Генриха Трейчке. Примером может служить случай, происшедший в начале 80-х годов, когда вышли в свет первые тома основного труда Трейчке «Немецкая история в XIX столетии». Реакционность книги Г. Трейчке была настолько одиозной, что вызвала резкую критику со стороны Г. Баумгартена, бывшего долгое время малогерманцем и соратником Зибеля. Баумгартен справедливо бичевал работу Трейчке за безудержный прусский шовинизм, который искажает историческую правду. «Для всего у него критерий — хорошо ли относятся к Пруссии? Признают ли великие заслуги Пруссии в деле освобождения Европы? Чувствуют ли, что будущее Германии может покоиться только на Пруссии?» — иронически писал Баумгартен. (См.: В. Бузескул. Современная Германия и немецкая историческая наука XIX столетия. Пг., 1915 г., стр. 53—54; T. Schieder. Die deutsche Geschichtswissenehalt in Spiegel der Historischen Zeitschrift. — «Hundert Jahre Historische Zeitschrift. 1859—1959 Beiträge zur Geschichte der Historiographie in den deutschsprachigen Ländern». München. 1959, S. 58).

Выступление Баумгартена было гласом вопиющего в пустыне. Редакция «Historische Zeitschrift» во главе с Зибелем встала на сторону Трейчке, а в специальном заявлении обрушилась на своего бывшего сотрудника с угрозами, обвинениями в «непатриотизме» и т. д. (См. «Erklärung Redaktion gegen Herrmann Baumgarten».— «Historische Zeitschrift». 1883. Bd. 50, S. 356—357).

[59]) Varrentrapp, op. cit., 113 (курсив мой.— *В. Г.*).

[60]) Так назвал Зибеля в некрологе издатель «Historische Zeitschrift» сенатор К. Ольденбург. — См. K. Oldenburg. Heinrich von Sybel.— «Historische Zeitschrift». 1895. Bd. 75, S. 389.

[61]) W. Gisebrecht. Die Entwicklung der modernen deutschen Geschichtsschreibung in Deutschland. — «Hist. Zeitschrift». 1859. Bd. 1, S. 13—14.

[62]) В. Гётц отвергал, как якобы необоснованные, обвинения зарубежных критиков в том, что «немецкая историография стала служанкой политики Бисмарка и забыла идеалы гуманизма старого классического времени» (W. Götz. Die deutsche Geschichtsschreibung des letzen Jahrhundert und die Nation. Leipzig und Dresden. 1919, S. 14).

немецкой буржуазно-юнкерской историографии 2-й половины XIX в. отдавали свое перо на службу становившейся все более реакционной немецкой буржуазии, юнкерству, как они идеологически подготовляли объединение Германии под главенством прусской монархии, а затем не жалели сил для идеологического укрепления милитаристских и шовинистических основ германской буржуазно-юнкерской империи.

В свете приведенных выше фактов особенно тенденциозной выглядит попытка ряда немецких буржуазных историков (в том числе представителей современной историографии ФРГ) изобразить научно-политическую деятельность Зибеля и малогерманской школы вообще как передовую и глубоко прогрессивную для своего времени[63]).

II

Расцвет научной деятельности Зибеля падает на 50—70-е гг. XIX века. Для немецкой историографии этот период имел важное значение, особенно в изменении проблематики и предмета исторической науки. Главный из этих существенных сдвигов — возникновение **социально-экономической истории.** Примитивная история **событий** постепенно начинает уступать место истории процессов и **отношений**[64]). Этот поворот был обусловлен влиянием социологической теории Маркса и Энгельса на буржуазную социологию и историографию, а также быстрым развитием капитализма в экономике Германии 2-й половины XIX века. Поворот к социально-экономической истории требовал пересмотра прежних теоретико-методологических принципов, характерных для немецкой буржуазно-юнкерской историографии первой половины XIX века. Ответ на выдвигаемые самой жизнью принципиальные вопросы некоторые историки в Германии 50—70 годов ищут в философии и социологии позитивизма.

Позитивизм середины XIX в. был весьма сложным идейным течением, имевшим много оттенков и ответвлений. В целом он был своеобразной реакцией на марксизм, и в этом смысле носил **реакционный** характер. Но для некоторых стран, например, для Италии,[65]) где длительное время господствовал клерикализм, и для Германии, где долго царило засилие абсолютного идеализма, реакционного романтизма и «объективной» школы Ранке, позитивизм при всех своих существенных недостатках имел известное положительное значение. Оптимизм

---

[63]) Немецкие буржуазные исследователи при этом спекулируют на том важном обстоятельстве, что объединение Германии было объективно необходимо и исторически прогрессивно. В. Гётц уже после 1918 г., когда обнаружился крах утверждений Зибеля, Дройзена, Трейчке о незыблемости «народной» империи Гогенцоллеров, заявлял, что «деятельность» малогерманских «историков была оправдана их целью, их заслуги в объединении Германии неоспоримы....» (W. Götz, op. cit., S. 16).

Австрийский историк Г. Р. Србик, долгое время поддерживавший гитлеровцев, но после их поражения ставший «либералом» и сторонником англо-американского Запада, правильно указывает, что именно поражение революции 1848 г. «надолго задержало преобразование немецкого политического бытия и мысли в демократическом направлении» (H. R. Srbik, Geist und Geschichte... Bd. I, S. 357). Но при анализе политической сущности малогерманцев Србик почти не вскрывает их антидемократизма, вместо этого подчеркивает их «новый патриотизм», «нравственный активизм», «жажду деятельности», подготовившую «лучшее будущее Германии» (Srbik, op. cit., S. 357—358, 361).

Современный западногерманский историк Г. О. Зибург, сторонник НАТО и «объединения» нынешней Германии путем поглощения ГДР боннским милитаризмом, отбрасывает всякие оговорки и прямо заявляет, что деятельность Зибеля, Трейчке и всей малогерманской школы для своего времени была революционной. (См. H. O. Sieburg, Deutschland und Frankreich... S. 221).

[64]) И. С. Кон. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М., Соцэкгиз, 1959 г., стр. 42.

[65]) И. С. Кон. Философский идеализм... стр. 43—44.

и рационализм позитивизма, его враждебность к мистике и трансцендентализму, его убеждение в закономерном характере исторического процесса, стремление к точному объективному познанию истории природы и общества — все эти, даже зачастую выраженные в идеалистической и полуидеалистической форме, идеи представляли положительный контраст с мистицизмом реакционных романтиков и школы Ранке, с их неверием в объективную закономерность развития общества. Недаром, когда разгорелась знаменитая методологическая дискуссия, многие буржуазные историки Германии в первую очередь обрушились именно на позитивизм, как носитель идеи закономерности развития общества, неприемлемой даже в рамках либерально-идеалистической методологии для реакционной империалистической буржуазной науки конца XIX — начала XX веков[66]).

Советские историки справедливо указывали, что широкое распространение позитивизма и социально-экономической проблематики в немецкой историографии происходит в 70—90-х годах XIX века (Лампрехт, Шмоллер, Бюхер и др.)[67—68]). Однако этот решающий поворот был подготовлен некоторыми сдвигами в направлении позитивистской методологии в период объединения Германии, в 50—60-е годы XIX века.

Роль различных историков-малогерманцев в этом процессе неодинакова и порой противоречива. Если Иоганн Густав Дройзен резко выступал против позитивизма и признания «экономического фактора»[69]), то позиция Зибеля, была своеобразной, отличной от позиции Дройзена. В чем проявлялось это своеобразие, мы увидим, рассмотрев теоретико-методологический фундамент исторических исследований Генриха Зибеля.

При этом необходимо помнить, что у Зибеля нет обширных работ по теоретическим вопросам исторической науки. «Зибель, — говорил в 1896 г. Густав Шмоллер, — всегда далеко отстоял от важнейших современных вопросов философии».[70]) Иоахим Вах позднее также отмечал, что Зибель, «собственно, стоял в стороне от главного хода развития теорий XIX века».[71])

Но это, конечно, не означает, что Зибель не имел своих взглядов на теоретические вопросы исторической науки. Систематизация и анализ высказываний Зибеля, разбросанных в различных работах, позволяют выяснить те основные теоретико-методологические предпосылки, которыми руководствовался он при изучении истории, в частности, при исследовании проблемы Великой французской революции.

***

Начальный период научной деятельности Зибеля (конец 30-х — 40-е гг. XIX в.) был стадией формирования его общеметодологических и общеисторических взглядов. Большое влияние на это формирование

---

[66]) Об этой дискуссии см.: А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца XIX—начала XX века. Изд. АН СССР, М., 1958 г., стр. 93—95 и сл.; И. С. Кон. Философский идеализм... стр. 51—52.

[67—68]) О. Л. Вайнштейн. Историография средних веков. М., 1940, стр. 223—227. А. И. Данилов, указ. соч., стр. 53 и сл.

[69]) В своих высказываниях И. Г. Дройзен критиковал дарвинизм и позитивизм, протестовал против попыток Конта и Бокля свести историю к науке, познающей закономерности развития общества (см. Р. Виппер. Очерки теории исторического познания. М., 1911 г., стр. 12; А. И. Данилов. Проблемы аграрной истории... стр. 53—54).

[70]) G. Schmoller. Heinrich von Sybel und Heinrich von Treitschke... — In: Charakterbilder. München und Leipzig. 1913, S. 195.

[71]) J. Wach. Das Verstehen, Gründzüge einer Geschicht der hermeneutischen Theorie im 19 Jahrhundert. Bd. III. Tübingen. 1933, S. 191.

оказали учителя Зибеля — Ранке и Савиньи. Савиньи, по признанию Зибеля, дал «ему ту необходимую юридическую подготовку, без которой невозможно обойтись при изучении и разработке политической истории»[72]). От Савиньи Зибель воспринял важную для реакционных романтиков идею об «умеренной постепенности и преемственности развития» (la continuité), согласно которой новое не побеждает старое в борьбе противоречий, а органически продолжает в наиболее существенных чертах и идею об особом «немецком духе». Известное влияние на формирование общеметодологических и исторических взглядов Зибеля оказали Бёрк, Гегель. От Гегеля Зибель воспринял его реакционную философию права, взгляд на государство как «действительность нравственной идеи».

Однако неизмеримо бóльшее влияние на формирование методологии Зибеля, его методики исторического исследования, на его понимание исторического процесса оказал Леопольд Ранке. С полным основанием Зибель мог впоследствии писать, что Ранке указал ему путь к науке.[73]) От Ранке Зибель унаследовал культ государства, учение о примате внешней политики над внутренней, признание решающей силой исторического процесса «великих личностей» и враждебное отношение к «радикализму», к народным массам. От Ранке перешла к Зибелю твердая вера в разработанные Ранке — Нибуром критические приемы обработки и использования исторических источников, идиографический метод и, как писал Шмоллер, «неприязнь к исторической специализации».[74])

В первом крупном исследовании — «История первого крестового похода» (1841)—Зибель выступает, по выражению Фютера, «корректным учеником школы Ранке».[75]) Но уже в начальный период своей научной деятельности Зибель начинает расходиться с Ранке и Савиньи в понимании ряда важных теоретико-методологических принципов, чему немало способствовали его либеральные взгляды и участие в борьбе за объединение Германии на малогерманской основе. Уже в 1838 г. в своей докторской диссертации о летописце Иордане Зибель выступает против тезиса Савиньи о решающей роли в истории правовых учреждений, утверждая, что «личности, а не учреждения творят историю народов».[76]) В этой же работе Зибель в противовес лозунгу Ранке — писать историю «wie es eigentlich gewesen ist»— выдвигает свой знаменитый лозунг писать историю «cum ira et studio».[77]) В ряде выступлений 40-х гг. Зибель, опираясь на Дальмана и Дройзена, защищает идею о необходимости тесной связи истории с политикой, с современностью. «Современные стремления,— говорил Зибель в 1847 г., — должны определяться взглядом на историческое прошлое и духовно воодушевляться им.»[78—80]) Эта идея явно расходилась со взглядами Ранке, который во второй четверти XIX в. в основном стоял на позициях отрицания необходимости связи между историей и современностью.

Мистическому, трансцендентальному пониманию истории Леопольда Ранке Зибель с ранних лет противопоставляет свое, в основном рационалистическое понимание, которому он остался верен до конца

---

[72]) G. Schmoller. Charakterbilder...S. 194.
[73]) См. письмо Зибеля к Ранке от 1867 г.— Цит. у Varrentrapp, op. cit., S. 11.
[74]) G. Schmoller. Charakterbilder... S. 199.
[75]) E. Fueter. Geschichte der neueren Historiographie. 2 Auflage... München und Berlin. 1925, S. 535—536.
[76]) F. Meinecke. Heinrich von Sybel. — Historische Zeïtschrift». 1895 г. Bd 75, S. 391; В. Бузескул. Исторические этюды. Спб. 1911 г., стр. 190.
[77]) F. Meinecke. Heinrich von Sybel... ibidem.
[78—80]) Varrentrapp, op. cit., S. 45.

жизни[81]). Таким образом, уже в ранний период научной деятельности начинает проявляться творческая индивидуальность Зибеля — будущего руководителя малогерманской исторической школы, создаются предпосылки для его дальнейших расхождений с Ранке и романтиками.

Процесс формирования основных теоретико-методологических взглядов Зибеля завершается уже после революции 1848 г., в зрелый период его творчества. Именно в 50—60-е гг. отчетливо вырисовываются характерные черты методологии Зибеля. Исходным пунктом общеметодологических и исторических взглядов Зибеля является проблема закономерности общественного развития и отношение к прогрессу.

Под влиянием успехов естествознания Зибель, как и многие представители либеральной буржуазии Европы 50—60-х гг. XIX в., тяготеет к позитивизму в его ранней (О. Конт, Г. Бокль) интерпретации[82]). Вслед за Огюстом Контом Зибель стремится отыскать в истории вечные и неизменные объективно действующие законы и находит, что в обществе действует вечный и неизменный **«нравственный закон»**[83]).

«Нравственные законы, — писал Зибель, — подобно законам логики, имеют силу для всех времен... Отрицать это — значит, подрывать всякое понимание истории»[84]). «Нравственный закон», по мнению Зибеля, не зависит от воли людей, он носит объективный характер. Его действие «нельзя замедлить или ускорить, как нельзя навязать ему чуждые для него задачи»[85]). Таким образом, Зибель признавал объективно-закономерный характер развития общества и в основу его клал неизменный вечный нравственный закон».

Этот исходный методологический пункт отличает Зибеля от Ранке и Дройзена, но тем не менее он носит явно идеалистический[86]) и метафизический[87]) характер. Антинаучно и антиисторично само стремление Зибеля рассматривать мораль, нравственность как нечто неизменное и внеклассовое. Против подобных стремлений всегда решительно выступали Маркс, Энгельс, Ленин. «Мы... отвергаем всякую попытку навязать нам

---

[81]) Как отмечает Србик, этот рационализм заметно проявляется уже во второй крупной работе Зибеля: «Возникновение немецкого королевства» (1844 г.). (См. H. R. v. Srbik. Geist und Geschichte... Bd. I, S. 380.) И в последующие годы Зибель критикует Ранке за то, что, по его понятиям, идеи действуют вне человека как какие-то демонические, трансцендентальные силы (см. H. v. Sybel. Geschichte der Revolutionszeit. 4 Aufl. Bd. I. Frankfurt am Mein. 1882, S. V.)

[82]) Как справедливо указывает И. К. Пантин, именно «развитие естественно-научного материализма послужило основой для распространения позитивизма» в Европе 50—60 гг. XIX в. (И. К. Пантин. Материалистическое мировоззрение и теория познания русских революционных демократов. М. «Высшая школа». 1961 г., стр. 92). Преклонение перед успехами естествознания нашло отражение в ряде работ Зибеля, особенно в его речи «О законах исторической науки» (1864 г.) и «О состоянии новейшей историографии» (1856 г.).

[83]) H. v. Sybel. Vorwort. — «Historische Zeitschrift». 1859. Bd. I, S. III—IV.; H. v. Sybel. Die Erhebung Europas gegen Napoleon I. München. 1860, S. 7—8. H. v Sybel. Die Lehren des heutigen Sozialismus und Kommunismus. Bonn. 1872, S. 45; Varrentrapp, op. cit., S. 88; F. Meinecke. Heinrich von Sybel., «Historische Zeitschrift». 1895, Bd. 75, S. 394.

[84]) H. v. Sybel. Die deutsche Nation und das Kaiserreich. Düsseldorf. 1862. S. X.

[85]) H. v. Sybel. Vorwort. — «Historische Zeitschrift», 1859, Bd. 1, S. IV—V.

[86]) Признание объективной закономерности развития общества само по себе не спасает от идеализма (см. В. И. Ленин. Соч., изд. 4-е, т. I, стр. 122—123). Законы истории Зибель выводил из морали, т. е. из общественного сознания, а не из материально-производственной деятельности масс, не из экономики общества.

[87]) Сводить законы общественного развития к вечным и неизменным, и тем более «сочинять» их a priori, игнорируя исторические факты, общественно-историческую практику человечества — это, как указывал В. И. Ленин, «самый наглядный признак метафизики». (В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Соч., изд. 4-е, т. I, стр. 126).

какую бы то ни было моральную догматику в **качестве вечного, окончательного, отныне неизменного нравственного закона,...** — писал Энгельс. — Напротив, мы утверждаем, что всякая теория морали являлась до сих пор в конечном счете продуктом данного экономического положения общества... мораль всегда была классовой моралью: она или оправдывала господство и интересы господствующего класса, или же, когда угнетенный класс становился достаточно сильным, выражала возмущение против этого господства...»[88]). Развивая мысли Энгельса, В. И. Ленин говорил: «...нравственность, взятую... из внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, **что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов**»[89]). Эти указания творцов научного коммунизма как нельзя лучше вскрывают антинаучный, идеалистический характер зибелевского понимания закономерности развития общества.

Несостоятельность взглядов Зибеля наглядно обнаруживается при попытке сформулировать определение «нравственного закона». Зибель указывал, что его надо понимать как «природное и индивидуальное развитие» каждой нации, «которое с внутренней необходимостью создает формы государства и культуры»[90]) и проявляется в жизни людей, в «их ежедневных поступках и настроениях»[91]). Это расплывчатое определение на практике служило Зибелю удобной формой осуждения революционных движений и оправдания реакционной деятельности монархов и министров. «Французская революция, —указывает Зибель,— не удалась именно потому, что нация приступила к движению со своей «глубокой и старой безнравственностью... Французская революция объявляет войну не только ложным авторитетам, но и нравственным законам и тем извращает каждую из своих необъятных задач»[92]).

«Безнравственность» французских якобинцев — вот, по мнению Зибеля, одна из важнейших причин «необузданной анархии, насилия и деспотизма», которые установились во Франции в 1793—1794 гг. и которые истощили нравственность, привели «сословие горожан к нравственной расслабленности и внушили пролетариату несообразные с его силами требования».[93]) Иное видит Зибель в Пруссии, короли которой, по его мнению, не нарушали законы нравственности и поэтому были гуманистами, борцами за общенациональные чаяния.

В тесной связи с зибелевским пониманием исторической закономерности стоят его взгляды на прогресс и его концепция исторического развития. В 50—60-х гг. Зибель не раз говорит о «поступательном ходе жизни...»[94]). Если Маколей отождествлял историю прогресса с историей Англии, то Зибель склонялся к тому, чтобы считать олицетворением прогресса историю Пруссии. «Было бы не меньшей заслугой со стороны нашей исторической науки, если бы она... ясно установила, какие моменты в прошлом обозначают поступательное движение нации и с каким поэтому следует связывать настоящее для достижения истинного прогресса», — писал Зибель в 1862 г.[95]). Сам он не раз пытался отыскать «поступательный ход жизни» именно **в эволюционной форме** развития общества, которую Зибель под влиянием англо-французского позити-

---

[88]) Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. М. 1957 г., стр. 88—89 (Курсив мой.— *В. Г.*).

[89]) В. И. Ленин. Задачи Союза молодежи. Соч., изд. 4-е, т. 31, стр. 226 (Курсив мой. — *В. Г.*).

[90]) Varrentrapp, op. cit., S. 88.

[91]) H. v. Sybel. Die Erhebung Europas gegen Napoleon I. München, 1860, S. 7.

[92]) Г. Зибель. История французской революции и ее времени, ч. II, стр. 124, 122.

[93]) Г. Зибель. История французской революции и ее времени, ч. II. стр. 123.

[94]) Varrentrapp, op. cit., S. 88.

[95]) Цит. по: В. Бузескул. Исторические этюды, стр. 225.

визма считал единственно закономерной, нормальной и прогрессивной. Но она, по мнению Зибеля, присуща лишь периоду новой истории. В средние же века, как думал Зибель, царил почти полный застой.

«Все вращалось в прочных, вечнонеизменных колеях... — писал Зибель. — Движение вперед было исключено из движений мира, повсюду форма господствовала над содержанием и все формы были построены по одному и тому же основному воззрению.»[96]) Наконец, — продолжает Зибель, — человеческий дух в своем стремлении к природе и истине разбил в одном месте связывающие оковы: Колумб преобразовал понятие о виде земли, Лютер — состояние церкви, Коперник — представление о вселенной, и вдруг пробудилось стремление к движению вперед. «Развитие человека... обуславливается законами его собственной природы — вот мысль, которая воодушевляет с этих пор народы с непреоборимой силой»[97]). Наиболее важным этапом в новом развитии общества был, по мнению Зибеля, XVIII век — «период прогрессивного движения, завоеваний и политического брожения»[98]). В этот период происходит экономический переворот, который «изменяет все виды материальной обстановки, созданной предыдущей историей, и разбивает все оковы с призывом к безграничной свободе труда»[99]).

Кто же выступает двигателем этого прогресса, этого экономического переворота? Зибель дает ясный ответ: европейские монархи. «...Короли и государи Европы... во имя общественной пользы, народного блага и общечеловеческих прав начинают войну против старого порядка. Примеру Людовика XIV следуют, далеко оставляя его позади, прусские властители... наконец, и самая истая представительница старого порядка, австрийская государственная система, потрясается в самых ее основах рукою самого императора».[100]) Естественный процесс разрушения старого порядка феодализма, начатый Людовиком XIV, подходил, по мнению Зибеля, во Франции XVIII века к концу. «Государство рушилось от своих внутренних неустройств с неимоверной быстротой и задолго до революционных движений», — писал Зибель. — Общественному мнению «оставалось только яснее высказаться, чтобы безвозвратно погубить старый порядок»[101]). Нужна ли была в таких условиях революция? Конечно, нет. Французская революция 1789 г.,— указывал Зибель, — «не была тем, за что ее часто выдавали — исходною точкою совершенно нового времени, напротив, по своему положительному содержанию она находится в самой тесной связи с начавшимся за три столетия великим мировым процессом, составляя его прямое продолжение»[102]—[103]). Она устранила лишь то, что уже прогнило и само собой должно было рухнуть.

Зибелевское понимание эволюционной формы общественного развития, как единственно закономерной, разумной и прогрессивной, носит явно выраженный идеалистический характер. Оно направлено против революционной формы развития общества, которая мыслилась Зибелем как случайная, неразумная, как отклонение от «нормального» пути, как печальные результаты «крайностей» и ошибок. Это особенно заметно в зибелевской оценке истории Великой французской буржуазной революции. Хотя Зибель признает ее положительное значение в разрушении

---

[96]) Г. Зибель. История французской революции и ее времени, ч. II, стр. 120.
[97]) Там же, стр. 120—121.
[98]) Г. Зибель. Указ. соч., ч. I. стр. 221.
[99]) Г. Зибель, указ. соч., ч. II, стр. 120.
[100]) Там же, стр. 121 (курсив мой. — *В. Г.*).
[101]) Г. Зибель, указ. соч., ч. I, стр. 31.
[102]) Г. Зибель, указ. соч., ч. II, стр. 122.
[103]) См. Г. Зибель, указ. соч., ч. I, стр. 104, 177; ч. II, стр. 120, 123, 153.

феодализма, в целом зибелевская оценка революции резко отрицательная.

«Революция, — говорит Зибель, — дает только видимую свободу, на деле же она упрочивает господство открытого насилия...»[104]). «Свобода и общее равноправие были тогда возможны, но лишь при наследственной монархии». Республика же — это «деспотизм неимущей черни над имущими классами»[105]). «Призыв 1789 года к свободе был только сигналом к военному насилию и деспотизму», — заявляет Зибель. А этот деспотизм и насилие, т. е. якобинская диктатура («правление Робеспьера», по Зибелю), «своим бесправием и насилием довели до крайнего расстройства все части страны, все классы народа, все виды ремесел, никто не хотел работать, потому что не был уверен в том, что удастся воспользоваться...»[106]). Итак, по Зибелю, революция — это сущее бедствие, разорение и смерть.

Зибелевская концепция исторического развития носит не только реакционно-идеалистический, но и метафизический характер, проявляющийся, в частности, в отрицании качественных, революционных изменений в социальной и политической структуре общества.

С общей концепцией развития и его закономерности тесно связаны взгляды Зибеля на исторический процесс. Подобно сторонникам позитивистской «теории факторов», Зибель считал экономику одним из рычагов исторического развития. В статье «О состоянии новейшей историографии» (1856 г.) Зибель писал, что за последнее время изменилась трактовка истории культуры. Раньше содержание исторического произведения ограничивалось описанием дворцовых и государственных событий, войн, причем на первый план выдвигалась господствующая личность... Теперь же за исходный пункт трактовки берут состояние общего культурного уровня народа, история экономических процессов стала такой же важной, как и всякие дипломатические переговоры».[107]) После 1848 года историки, продолжает Зибель, «в первую очередь стали обращать внимание на реальные силы, на нравственные и материальные основы жизни...»[108]). Сам Зибель пытался осуществить этот принцип в своих работах, в частности, и в «Истории французской революции и ее времени».

«Еще не было ни одной революции, которая не была бы социальной или религиозной»,[109]) — писал Зибель. В Великой французской революции он неправомерно подчеркивает определяющее значение финансового вопроса, «...финансовый вопрос более всего определял дальнейший ход революции и внешней политики Франции и с этой точки зрения яснее всего можно объяснить себе тенденции различных партий»[110]) — утверждал Зибель.

В начале своей работы Зибель поставил «задачей и самой главной — проследить день за днем влияние отдельных обстоятельств революции на эту метаморфозу в социальной жизни французского крестьянства»[111]). Но эту задачу автор и не пытается прослеживать «день за днем», в четырех томах исследования аграрному вопросу — централь-

---

[104]) Г. Зибель, указ. соч., ч. I, стр. 259.
[105]) Там же, стр. 209.
[106]) Г. Зибель, указ. соч., ч. IV, стр. 154.
[107]) H. v. Sybel. Über den Stand der neuen deutschen Geschichtsschreibung. — «Kleine historische Schriften». Dritte Aufl. Bd. I. Stuttgart. 1880, S. 355.
[108]) Ibidem, S. 360.
[109]) Г. Зибель. История французской революции и ее времени, ч. I, стр. 164.
[110]) Г. Зибель, указ. соч., ч. II, стр. 134.
[111]) Там же, ч. I, стр. 18.

ному вопросу революции — попутно отведено лишь несколько небольших разделов. Таким образом, социально-экономической истории Зибель не уделял должного внимания, центральное место в его исследованиях отводится по традиции освещению политической, военно-дипломатической истории. Это, разумеется, не случайно, а связано с влиянием Ранке. Как и Ранке, Зибель изображал историю государства в качестве основного содержания исторического процесса.

Неприкрытый культ прусского монархического государства как «общенародной» и «общенациональной» силы проходит через многие исследования Зибеля, он особенно проявляется в его работе «О развитии монархизма в Пруссии», где Зибель сводит весь процесс развития Пруссии XVII—XIX вв. к медленному изменению (по воле королей) форм государственного строя. Уже реформы Фридриха II, по мнению Зибеля, представляют «переход от абсолютизма к либерально-конституционному государству».[112])

Неприкрытое восхваление «особой миссии» прусской монархии, особого «немецкого духа» проявляется даже в монографии Зибеля о Великой французской революции. Зибель утверждает, что благодаря Фридриху-Вильгельму III и «мудрому правлению его преемников» «сословные преимущества и религиозные раздоры уступили место идее общего благосостояния, так что у Пруссии первой на европейском материке начало развиваться представительное правление. Во главе государства встало сословие, основою политического бытия которого была мысль о вполне своеобразном народном единстве»[113]).

Зибель отказывает народным массам в благотворном влиянии на ход истории. Предвосхищая в изображении французской революции Тэна, он третирует народ как темную, необузданную толпу, не способную якобы к полезным общественным действиям. Характеризуя народные массы Франции эпохи революции 1789—1794 гг., Зибель утверждал, что «французский народ был подготовлен к самоуправлению очень дурно, чернь была глубоко невежественна... Призвать такой народ к самодержавному народоправству — значило пойти через разрушительную анархию, попасть в руки деспотизма...»[114])

Немногим лучшего мнения Зибель и о немецком народе. Если верить Зибелю, то немецкий народ вообще не стремился к объединению раздробленной страны, он даже не понимал значения объединения. Необходимость объединения «сознавалась в Пруссии одним только королем и его друзьями, составлявшими его правительство, между тем как земство и городские сословия оставались ей враждебны, а чернь, народные массы не имели ясного понятия о политических интересах своего отечества»[115]).

Неудивительно, что все внимание Зибель уделяет «великим личностям», в противовес позитивистам он считает их, а не «коллективную массу» решающей силой истории. В письме к Эриху Марксу, написанном уже в конце жизни, Зибель признавался: «Я разделяю мнение Трейчке: время делают великие люди. Масса ничего не создает». Масса ничего не может совершить, «пока не явится сильная личность,

---

[112]) Г. Зибель. Развитие монархизма в Пруссии. — В сборн.: «Исторические очерки из современных европейских писателей...», Спб, 1865 г., стр. 160, 162.
[113]) Г. Зибель. История Французской революции и ее времени, ч. I, стр. 122—123.
[114]) Г. Зибель, указ. соч., ч. I, стр. 56—57.
[115]) Там же, стр. 123.

которая не только наравне с другими понимает идеалы времени, но и черпает в своей силе верные средства к осуществлению своего идеала. Таков Бисмарк при объединении Германии. Где и когда социальная реформа найдет своего Бисмарка?»[116]).

Под «великими личностями» Зибель понимал только королей, полководцев, дипломатов, министров, отчасти писателей, ученых. Если обратиться к сочинениям Зибеля, то мы увидим, что значительная часть из них представляет биографии Фридриха II, Бисмарка, Бёрка, Жозефа де Местра, Екатерины II, Вильгельма I и др. Конечно, научная биография — законный вид исследования, он представляет большие удобства для освещения деятельности крупной исторической личности, как отражения социальных процессов. Но когда история сводится к биографиям титулованных и коронованных особ, когда эти личности совершенно заслоняют историю народных масс, — такое изображение исторического процесса было далеко от его научного понимания даже в середине XIX в.

И не случайно, что почти все «великие» личности, привлекавшие внимание Зибеля, были реакционерами. Ярый враг французской революции Эдмунд Бёрк, которому Зибель посвятил несколько работ[117]), как своему любимому «духовному наставнику»[118]), Екатерина II[119]), прусский король Фридрих II — вот далеко не полный перечень излюбленных героев Зибеля, деятельность которых им всячески приукрашивается. Даже о крайнем реакционере, идеологе католической и феодальной реакции Жозефе де Местре, взгляды которого были неприемлемы для самого Зибеля, историк отзывается, как о «горячем патриоте Франции».[120])

Совершенно иначе относится Зибель к представителям революционного народа. Им он уделяет совершенно незначительное место, их деятельность всячески принижается. Так, одному из крупнейших деятелей Великой французской революции Ж. П. Марату — «Другу народа» — в четырех томах «Истории французской революции и ее времени» Зибель уделяет всего несколько строк. Под пером Зибеля великий сын французского народа, пламенный защитник интересов бедноты превратился в какого-то громилу-анархиста, обуреваемого одной мыслью: «Вешать хлебных барышников... истреблять дворян-живодеров, отнимать деньги у богатых и отдавать их бедным».[121])

Реакционный характер зибелевского понимания роли личности и народных масс в истории выступит особенно выпукло, если мы сравним его со взглядами видного представителя либерально-прогрессивного течения в немецкой историографии XIX века — Гервинуса, кото-

---

[116]) E. Marcks. Heinrich von Sybel. — In: E. Marcks. «Männer und Zeiten.» Bd. I. Leipzig, 1911, S. 272—273. Зибель, несомненно, имеет в виду «Немецкую историю в XIX столетии» Г. Трейчке, где последний прямо заявлял, что история — прежде всего и главным образом деятельность великих личностей и «нельзя представить историю Англии без Вильгельма III, историю Франции — без Ришелье. Прусское государство — творение его князей» (H. v. Treitschke. Deutsche Geschichte im XIX Jahrhundert. 8 Aufl. Teil. I. Lpz. 1908, S. 28—29). Еще ранее мысли о решающей роли великих личностей Трейчке высказывал в работе «Cavour» (1869).

[117]) H. v. Sybel. Edmund Burke und die franzosische Revolution — «Allgemeine Zeitschrift für Geschichte». 1847. Bd. 7, S. 1—49; H. v. Sydel. Edmund Burke und Irland. 1847.—H. v. Sybel. Kleine historische Schriften. Dritte Aufl. Bd. II. Stuttgart. 1897, S. 459—465 и сл.

[118]) «Произведения Бёрка... оказали продолжительное влияние на мои политические убеждения», — вспоминал Зибель в зрелые годы (Varrentrapp. op. cit., S. 10).

[119]) H. v. Sybel. Katharina II von Russland (1859).— Sybel. Kleine historische Schriften... Bd. I, S. 153 и др.

[120]) H. v. Sybel. Graf Ioseph de Maistre (1858). — Ibid., S. 207.

[121]) Г. Зибель. История французской революции и ее времени, ч. I. стр. 180, 183.

рый, как и его учитель Шлоссер, с симпатией относился к угнетенным, был убежден в том, что «великие и счастливейшие события в мировой истории совершаются... детьми пастухов и плотников, ваятелей и рудокопов, бедных рыбаков и преследуемых миссионеров»[122]), а поэтому существенные моменты истории надо искать «не в тайнах правительств и дипломатов, а в «очевидных движениях и стремлениях народов обоих полушарий к свободе...»[123])

Идеи Гервинуса о том, что «народы без союзов объединяет прогрессивный дух истории»,[124]) что «история этого времени (XIX века.—*В. Г.*) не должна сводиться к одним биографиям и историям королей, но должна представлять историю народов»[125]) — эти идеи были глубоко чужды Зибелю. Отсюда резко отрицательное отношение Зибеля и большинства малогерманцев к Гервинусу и другим представителям гейдельбергской школы.[126])

Итак, в понимании решающей силы исторического процесса Зибель недалеко ушел от своего учителя: как и Ранке, он усматривал ее в деятельности «великих личностей» — королей, министров, дипломатов, полководцев. Поэтому ту резкую критику, с которой выступали — прямо или косвенно — в 40—60 гг. против Ранке по этому важнейшему вопросу друг Маркса, радикальный историк К. Ф. Кеппен, позитивист Г. Бокль и Г. Гервинус, в известной мере можно отнести и на счет Зибеля.[127])

Классовую борьбу Зибель признавал лишь в том случае, если она не выходила из рамок эволюционного развития. Там же, где классовая борьба достигала резкой остроты и выливалась в форму восстаний, социальных революций, Зибель видел «ненормальное отклонение», проявление «социальной болезни» и «крайностей».[128])

---

[122]) G. Gervinus. Friedrich Christoph Schlosser. Ein Nekrolog... Leipzig. 1861, S. 39.

[123]) G. Gervinus. Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen. Bd. I. Leipzig. 1855, S. VII.

[124]) G. Gervinus. Einleitung in die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts. Leipzig. 1853, S. 164.

[125]) Ibidem, S. 167.

[126]) Leo Stern. Für eine kämpfische Geschichtswissenschaft. Marthin Luther — Universität. Halle. 1954, S. 46. В статье «О состоянии новейшей немецкой историографии» Зибель резко отзывался об учителе Гарвинуса — Ф. Шлоссере (см. «Kleine historische Schriften». Bd. I, S. 358—359).

[127]) См. К. Ф. Кеппен «Три берлинских историка». — «Историк-марксист». 1940 г. № 8, стр. 77—81; Г. Бокль. История цивилизации в Англии, 4-е изд., Спб., 1906 г., стр. X; G. Gervinus. Friedrich Christoph Schlosser. Ein Nekrolog... S. 24—27.

Особенно важное значение имеет критика Ранке К. Ф. Кеппеном, который в 40-х годах XIX в. был близок к Марксу и в своей критике исторической концепции Ранке в определенной степени отразил взгляды молодого Маркса. Кеппен одним из первых ярко показал несостоятельность ранкеанской концепции исторического процесса, который, как указывал Кеппен, превращается у Ранке «в экзотический круг учреждений, полководцев, должностных лиц, послов, министров... которые по своему усмотрению... вертят историей, как хотят и как могут. Все, что вне этого круга, не входит в историю... и дочитав книгу, мы задаем себе вопрос: «А где же народы»? (К. Ф. Кеппен. Берлинские историки, 1841 г.; —Историк-марксист», 1940, № 8, стр. 78).

Эта критика полностью относится и к Зибелю, которого даже Сорель упрекал в пренебрежении к описанию характера, чувств, мыслей народов (см. Н. И. Кареев. Историки французской революции. Т. II, Л., 1924 г., стр. 121).

[128]) В понимании роли классов и классовой борьбы Зибель не поднялся до уровня французских историков периода Реставрации. Он не рассматривал французскую революцию XVIII в. как классовую борьбу буржуазии (в союзе с народом) против феодализма. Нет у Зибеля и четкого представления о партиях период французской революции.

Но если в истории Франции XVIII в. Зибель все же признает наличие острых противоречий между крестьянами и помещиками, то в истории Пруссии Зибель стремится их не замечать. Зибель считал, что прусское крестьянство вообще «не находит в правительстве притеснителя, снимающего с него последнюю рубашку, а в дворянах—

Единственным полезным и необходимым отклонением от эволюционного пути развития общества Зибель признавал войны, но не всякие, а главным образом агрессивные, захватнические и резко осуждал революционные и гражданские войны.[129])

Таковы существенные черты зибелевской концепции исторического процесса. Они определяют взгляды Зибеля на предмет истории и задачи историографии. Если в развитии общества господствует «нравственный» закон, то история, по Зибелю,—это наука о действии объективных «нравственных» законов. «Отрицать это — значит подрывать всякое понимание истории... — утверждал Зибель. — Историческая наука, как и любая другая наука, является наукой лишь постольку, поскольку она признает господствующие законы»[130]). Поскольку «нравственный» закон, по Зибелю, воплощается в государстве и «ежедневно проявляется в поступках людей...»[131]), то главным предметом истории Зибель считал государство, воплощенное в деятельности «великих личностей» — королей, дипломатов, министров-реформаторов. Отсюда понятна и задача историка: Зибель был согласен с Генрихом Трейчке в том, что «историография должна... исследовать действия народов, которые выступают в истории как одаренные волей личности, как государства»[132]). Высшая же задача историка, по Зибелю, — «познавать закономерность и единство всех явлений жизни».[133])

В последнем пункте и в понимании других важных задач исторической науки Зибель в 50—60-х гг. XIX в. занимает свою, отличную от Ранке, позицию. Расхождение Зибеля с Ранке, наметившееся еще до 1848 года, получает в этот период свое законченное выражение. В противоположность Ранке, заявлявшему, что «историк никогда не сможет быть одновременно практическим политиком»[134]), Зибель подчеркивает, что историк может и должен быть хорошим политиком. В 50-е годы Зибель не раз говорит, что «естественное призвание ученого — использовать свою науку для оплодотворения политической жизни и, напротив, искать в сферах политической жизни источники для обогащения научного познания»[135]). В лекциях, прочитанных в 1860 г., Зибель утверждает, что «изучение прошлого оплодотворяет современные явления».[136]) Но история должна не только учить политике, она должна быть, по

общественных врагов, какими они, к несчастью, считались во Франции до 1789 г.» (Г. Зибель. Истрия французской революции и ее времени, ч. I, стр. 124).

[129]) Вслед за Гегелем Зибель считает войны полезным воспитательным средством (эту мысль он ясно выразил в уже упомянутой выше статье «Граф Жозеф де Местр»). Зибель был вполне согласен с Трейчке, что войны — «не только практическая, но также и теоретическая необходимость», «единственное средство, исцеляющее народы от долгого мира». (H. v. Treitschke. Aufsätze, Rede und Briefe... Bd. IV. S. 43). Однако Зибель выступает против революционных и гражданских войн, которые, по его мнению, «подвергают государство опасностям и разжигают страсти»,«создают диктатуру». В качестве примера Зибель ссылается на английскую революцию XVII в. и французскую революцию XVIII в., когда гражданская война «привела Карла I и Людовика XVI на эшафот и она же доставила Кромвелю, Робеспьеру и Бонапарту самодержавную власть» (Г. Зибель. История французской революции и ее времени, ч. 1, стр. 138).

[130]) H. v. Sybel. Die deutsche Nation und das Kaiserreich... S. X. H. v. Sybel. Uder die Gesetze des historischen Wissens. Rede, gehalten am 3 August 1864... Bonn, 1864, S. 20—21.

[131]) H. v. Sybel. Die Erhebung Europas... S. 7.

[132]) Цит. по ст. В. И. Герье. Национальная историография в Германии. «Исторический вестник». 1880 г., март, стр. 570.

[133]) H. v. Sybel. Vorwort. — «Historische Zeitschrift.» 1859. Bd. I, S. III.

[134]) Цит. по F. Gilbert. Johann Gustav Droysen und die Preussisch—Deutsche Frage. München und Leipzig. S. 77. 1931.

[135]) Цит. по G. v. Below. Die deutsche Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen. 2 Aufl. München und Leipzig. 1924, S. 50.

[136]) H. v. Sybel. Die Erhebung Europas gegen Napoleon I. München. 1860, S. 6.

мнению Зибеля, «наставником нравов, школой убеждений», должна «морально воодушевлять и воспитывать»[137]).

Мысли Зибеля о том, что изучение прошлого должно служить ключом для понимания настоящего, а знание современной политики во многом предопределяет понимание прошлого, заслуживают внимания. Современность, действительно, оказывает огромное влияние на историческую науку, определяет подход к изучению истории. Близок был к истине Зибель, когда считал, что историк не может при анализе современных событий не использовать исторический опыт. Это, действительно, объективная закономерная необходимость, независимая от прихоти ученых и политических деятелей.

Однако эти, сами по себе во многом обоснованные принципы, на практике превращались у Зибеля в нечто противоположное, так как исторический опыт Зибель в конкретных исследованиях часто использовал неверно. Если марксисты стремятся к тому, чтобы обнаруживать внутренние закономерности событий прошлого и выяснить, действуют ли они в современности, то буржуазно-юнкерский идеолог Зибель был заинтересован, главным образом, в том, чтобы найти внешне сходные явления в прошлом и настоящем, которые могли бы подтвердить «правильность» тех или иных аспектов малогерманской политики. При этом он не останавливался перед искусственным подбором фактов. В работах 60-х годов XIX в., направленных против великогерманцев, о которых говорилось выше, факты нередко подбирались таким образом, что история Австрии «ухудшалась», а история Пруссии «улучшалась». Неузнаваемо «ухудшалась» и история Великой французской революции.

Такое тенденциозное использование фактов, конечно, не могло не приводить к искажению объективного хода самого исторического процесса, так как при этом многие бесспорные исторические факты либо замалчивались, либо приносились в жертву субъективным представлениям малогерманца Зибеля об истории.

В 50-х гг. Зибель открыто выступает против объективизма Ранке (не называя, впрочем, последнего по имени). Если историк должен быть прежде всего политиком, активным участником политической борьбы, то он неизбежно должен стать на сторону определенной партии. Зибель — опытный политик — это понимал и в 1856 г. писал, что «всякий историк, который что-либо значит в нашей литературе... имеет свою окраску, свои религиозные, атеистические, либеральные или консервативные убеждения. Историки бывают различных партий, но не бывает беспристрастного, беспартийного и бесстрастного историка... А поскольку, — продолжал Зибель, — настоящий историк не может формироваться без нравственных убеждений, то и создание настоящего исследования невозможно без того, чтобы не вкладывать определенного содержания в великие мировые проблемы религии, политики, национальности»[138]).

Высказывания Зибеля явно направлены против тезиса Ранке об «объективности», «беспристрастии» историка и против лозунга Гервинуса о «беспартийности» историка[139]). Это — не часто встречающийся

[137]) Ibidem, S. 7—8; G. v. Below, Die deutsche Geschichtsschreibung... S. 51.

[138]) H. v. Sybel. Über den Stand... — «Kleine historische Schriften», Bd: I. S: 355.

[139]) Гервинус считал «первой и последней заповедью» историка «сказать по лучшему убеждению и совести чистую, строгую и полную правду» (G. Gervinus. Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts... Bd. I, S. X.). Это можно будет сделать только тогда, когда, по мнению Гервинуса, историк будет независим от политических партий, будет «возвышать свой голос над воплями одних и ревом других партий...» (G. Gervinus. Friedrich Christoph Schlosser. Ein Nekrolog... S. 61).

случай, когда буржуазный историк XIX века открыто провозглашал принцип партийности в исторической науке. Как указывал В. И. Ленин,[140]) буржуазным ученым, сознательно или бессознательно стоящим на страже интересов буржуазии, особенно выгодна идея «беспартийности науки», которая дает им возможность скрывать свою подлинную классовую физиономию. Зибель же, отбросив всякую маскировку, тем самым показал, что он хорошо осознал интересы своего класса, что он не только не намерен скрывать их, но, напротив, будет идти открыто, напролом во имя главной классовой цели — объединения Германии во главе с прусским монархом. Зибель считал это крайне необходимым.

Непонимание этого как справа (Ранке), так и в рядах либералов (Гервинус) вызывало у него нескрываемое раздражение: до каких пор немецкие историки будут не понимать той истины, что никакого «беспристрастия», «нейтралитета» в науке нет? Если историк и «захочет сохранить благородный нейтралитет, то он либо не найдет выхода, либо встанет на путь безнадежной аффектации»[141]),—говорил Зибель. Итак, по Зибелю, выход один — надо открыто и сознательно занять место в рядах малогерманцев либо в рядах ее политического противника — великогерманцев».[142])

Сам Зибель, как мы видели, открыто и сознательно ставил историческую науку на службу малогерманской идее объединения Германии. Отсюда его отрицательное отношение к «объективизму» Ранке, идеалом которого была старая Пруссия Фридриха-Вильгельма IV и который даже в 60-х годах XIX в. косо смотрел на Бисмарка, усматривая в его планах «опасность» для юнкерства.[143]) Отсюда и враждебное отношение Зибеля к «беспартийности» Гервинуса, который колебался между малогерманцами и революционной демократией, но не решался в полной мере примкнуть ни к первой, ни ко второй.[144])

---

[140]) См. В. И. Ленин. Социалистическая партия и беспартийная революционность. Соч., изд. 4-е, т. 10, стр. 60—61.

[141]) Sybel. Uben Stand... S. 356. Нельзя согласиться с голландским историком Питером Гейлом, выступление Зибеля и других малогерманцев против Ранке объяснялось «нравственной и национальной слабостью» объективизма Ранке (см. P. Geyl. Die Diskussion ohne Ende. Darmstadt, 1958, S. 10). Подобное «объяснение» не вскрывает политической подоплеки расхождений Зибеля с Ранке в вопросе о партийности исторической науки в годы объединения Германии.

[142]) Можно согласиться со Србиком, что в условиях ожесточенной политической борьбы 50—60 гг. XIX в. «идея политического нейтралитета науки не могла оказать помощи малогерманскому пути объединения Германии (H. R. v. Srbik. Geist und Geschichte... Bd. I. S. 373). Это хорошо понимал не только Зибель, но и другие малогерманцы. Иоганн Густав Дройзен в работе «Historik» прямо заявлял, что «человеческое должно быть партийным», что никакого беспристрастия в науке быть не может («объективность» Ранке Дройзен насмешливо называл «беспристрастием евнуха»). На взгляды Зибеля, Дройзена в вопросе о партийности исторической науки, несомненно, некоторое влияние оказали английские историки, особенно Маколей, четко проводивший в своих работах по истории Англии виго-либеральный принцип партийности (Srbik, op. cit., S. 339—340; Schieder, op. cit., S. 52.) Недаром известный русский историк П. Г. Виноградов называл работы Маколея «партийной риторикой» см. П. Виноградов. Ранке и его школа. — «Русская мысль». 1888 г. № 4, стр. 221).

[143]) H. R. Srbik, Geist und Geschichte... Bd. I. S: 275—276, 278: Заметим, что даже в 70-х годах Ранке высказывался против некоторых, по его мнению, слишком радикальных» мер Бисмарка (см. О. Л. Вайнштейн. Леопольд фон Ранке и современная буржуазная историография. Сборник: «Критика новейшей буржуазной историографии». Изд. АН СССР. М.—Л. 1961, стр. 119 (прим. 26), 120):

[144]) Н. Попковский в своей интересной статье о Гервинусе справедливо писал, что Гервинус «остался между двух партий и этим объясняется его неуспех в политическом отношении». (Н. Попковский. Жизнь и политические идеи Гервинуса. Отечественные записки». 1873г. март. Т. CCVII, № 3, стр. 157).

Выдвигая требование партийности историка, Зибель ни разу открыто не обмолвился, о партийности какого класса идет речь? А ведь в этом вся суть дела. Марксисты открыто говорят, что их исторические исследования служат интересам рабочего класса, делу пролетарской революции. Они поступают именно так потому, что интересы рабочего класса совпадают с интересами всех трудящихся, с объективной закономерностью развития истории, неоспоримо свидетельствующей об обреченности капитализма и неизбежности торжества коммунизма.

Идеолог буржуазно-юнкерского блока Зибель умалчивает о том, что его исследования служат интересам господствующих классов. Он поступает так потому, что боится открыто признаться в этом, ибо интересы буржуазии и юнкерства находятся в вопиющем противоречии с интересами большинства трудящихся и объективный ход развития все более свидетельствовал о неуклонном росте рабочего движения (несмотря на временные поражения пролетариата в 1848—1849 и 1871 гг.).

Зибель четко не высказывается о соотношении партийности и объективности историка. Тем не менее из его работ (особенно «О состоянии новейшей немецкой историографии», 1856), как само собой подразумевающееся, вытекает, что только малогерманская буржуазная партийность дает возможность полностью познать объективную истину, только эта партийность не противоречит ей[145]). Левые же течения («радикализм») Зибель обвиняет в «субъективистском произволе», который «извращает естественный ход событий»[146]); особенно ополчается он на прогрессивную школу Шлоссера.[147])

Мы видим поучительную картину: в субъективизме, в разрыве с объективной истиной Зибель обвиняет главным образом тех, **кто стоит левее его в партийном или классовом отношении.** Тех же, кто стоит в партийном отношении **правее** Зибеля, историк вовсе не считает виновным в таких тяжких «грехах». «Камердинера истории» Леопольда Ранке, ярого защитника реакционного юнкерства, с которым Зибель, как мы уже говорили выше, разошелся в ряде политических и научных вопросов, Зибель всегда ценил весьма высоко.[148]) И дело здесь, конечно, не только в том, что Зибель уважал Ранке как учителя, но и в том, что Ранке принадлежал к идеологам ведущей силы прусской монархии — юнкерству, союз с которыми отстаивал Зибель.

---

[145]) В качестве образца историка Зибель не раз указывал на Теодора Моммзена, см. Varrentrapp, op. cit., S. 83. Sybel. Über den Stand... S. 364).

[146]) Varrentrapp, op. cit., S. 88; Historische Zeitschrift» Bd. I. 1859, S. III—IV.

[147]) Весьма нелестную характеристику самому Шлоссеру Зибель дает в статье Über den Stand...». Он сравнивает Шлоссера с Ранке и приходит к выводу, что Шлоссер как историк стоит бесконечно ниже Ранке. «Как ни много говорит он (Шлоссер. — *В. Г.*) о высокой политике, но все же он далеко отстоит от мира государственных людей и придворных», — пишет Зибель. — Скучный моралист, Шлоссер не может разобраться в сложных политических событиях. «Во всех временах и странах он находит лишь отрицательные стороны. Его книги, без исключения, похожи на те старые пьесы, где каждый тайный советник обязательно двусмысленная личность, каждый камергер — еще простительный злодей, но каждый министр — уже непременно отпетый грешник. Большое влияние Шлоссера объясняется тем состоянием публики, о котором мы уже говорили. Если Ранке на столетия останется поучителен, то Шлоссера забудут, как только немецкий народ станет в более здоровое отношение к учению о немецком государстве» (Sybel. Über den Stand... Kleine hisforische Schriften. Bd. I, S. 338—359).

[148]) Все высказывания Зибеля о Ранке подчеркивают его «огромные заслуги перед немецкой историографией». В уже цитированной нами статье «О состоянии новейшей немецкой историографии» Зибель причисляет Ранке к числу величайших историков.

Отсюда видно, что зибелевское понимание принципа партийности и объективности носит ярко выраженный тенденциозный, классово ограниченный характер. Оно направлено против коммунистической партийности и объективности Маркса и Энгельса и является попыткой оправдать социальную функцию немецкой буржуазной историографии, которая после революции 1848 г. все больше и больше становилась реакционной, сближалась с юнкерской историографией, разрывала с объективно-истинным познанием общественных явлений.

Итак, в вопросах об отношении истории к современности, о партийности и объективности исторической науки ярко сказывается решающее влияние малогерманских политических взглядов Зибеля.

Что касается метода изучения исторических событий то научным методом Зибель считал идиографический метод Ранке. Работы Зибеля, как и Ранке, в основном носят описательный характер. В этом отношении особенно характерна «История французской революции и ее времени». Н. И. Кареев, разбиравший работу Зибеля, справедливо писал, что «трудно схватывать его общие мысли: исследовательский анализ в книге преобладает над синтезом»[149]). Огромный труд Зибеля носит описательный характер, перегружен второстепенными подробностями, зачастую ненужными деталями и т. д. Нет у Зибеля и четкой логической связи между отдельными главами: они нередко объединены чисто механически.

III

Идеалистический и метафизический характер методологии Зибеля объясняется не только социальными, классовыми причинами, но и имеет гносеологические корни. В этом можно убедиться, рассмотрев взгляды Зибеля на **теорию познания** (в ее применении к истории). Из его статьи «О законах исторического знания» и на основании ряда методологических высказываний в других работах можно воссоздать в общих чертах процесс познания общественных явлений, как он представлялся Зибелю.

Зибель был убежден, что «всякое человеческое представление начинается с заблуждения, всякое знание — с сомнения, с устранения заблуждения»[150]). Ошибки и заблуждения, по мнению Зибеля, особенно присущи историческим исследованиям, потому что у историков особенно сильно «**говорят склонности человеческого сердца**»[151]). Тем не менее, Зибель был уверен, что «историческая наука способна сделаться совершенно точным знанием»[152]). «Сама жизнь показывает, что человек может познавать исторические явления, обнять их меру и закон представлений и чувств»,[153]) — писал Зибель. Для этого надо превратить историческую науку в такую же точную науку, как и естествознание,[154])

«Ранке рассказывает о политических событиях с точки зрения государственного человека, — пишет Зибель. — Проницательность его удивительна, когда речь идет о запутанной задаче, об изображении трудностей и средств против них, об описании столкновений сил и личностей. Общеизвестное он обходит молчанием, как недостойное внимания, зато малозаметное развивает с мастерством психолога, эстета; публициста...» (Sybel. Über den Stand... S. 358).

[149]) Н. И. Кареев. Историки французской революции. Т. III. Л. «Колос». 1924 г., стр. 68—69; см. также т. II, стр. 122; т. III, стр. 75—76.

[150]) Г. Зибель. О законах исторического знания... Пер. с нем. А. Никитского. Спб. 1866., стр. 8.

[151]) Там же, стр. 30 (курсив мой.— *В. Г.*).

[152]) Там же, стр. 18.

[153]) Там же, стр. 16.

[154]) См. K. Oldenburg. Heinrich von Sybel. — «Historische Zeitschrift». 1895. Bd. 75, S. 387.

так как «естествоиспытатели давно уже опираются на критические доказательства, законную связь вещей», они имеют такие средства точной проверки результатов исследования, как наблюдение, измерение, эксперимент и т. д.[155])

Зибель указывал, что превосходство методов естествознания перед методами исторической науки не случайно: оно основано на известном отличии предмета (объекта) изучения биолога от предмета изучения историка. «Естествоиспытатель имеет дело исключительно с предметами чувственного восприятия, с предметами, которые... он видит собственными глазами», которые «не возбуждают в естествоиспытателе ни пристрастия, ни отвращения»[156]). «Историк же, — писал Зибель, — напротив, имеет своим предметом действия и состояние людей, т. е. материал, который только внешней частью падает на область чувственного восприятия, в сущности же своей: настроениях, побуждениях и стремлениях действующих лиц доступен только одному **духовному пониманию**», материал, который вызывает у историка «чувство симпатии или антипатии»[157]). «Человек рассматривает действия и страдания людей с другими чувствами, чем натуралист свои минералы и инфузории»,[158]) и это, — подчеркивал Зибель, — «закон нашей природы, следовательно, также закон истории»[159]).

А поскольку это так, то историк, по мнению Зибеля, поставлен в более невыгодное положение, чем биолог: с самого начала он лишен «здесь тех средств точной проверки, которыми распоряжается естествоиспытатель».[160]) Он редко имеет возможность своими глазами наблюдать исторические явления. «Большей же частью ему приходится ограничиваться или восстановлением течения происшествий... или же начертанием картин его по свидетельствам третьих лиц, которые сами видели дело и притом, **предположительно,** хорошо наблюдали или узнали о нем от очевидцев, и причем, **предположительно**, хороших очевидцев»[161]). Это, указывает Зибель, не всегда надежно. «Видеть самому дело... — лучше, чем слышать о нем от самых лучших очевидцев», ибо даже «самый очевидный предмет никогда не представляется одинаково двум свидетелям», так как «объективная сущность дела никогда не проходит через восприятие человека, не претерпевая изменения от действия субстанции этого духа».[162])

Но, несмотря на все эти причины, усложняющие процесс познания исторических явлений, Зибель был твердо убежден, что историк может достигать таких же объективно-истинных результатов, как и биолог. Это убеждение основывалось на том, что, как писал Зибель, «при всем индивидуальном различии у всех людей существует некоторая однородность». Поскольку все «одной человеческой сущности и определяются одними и теми же законами человеческой природы», то возможно взаимное и точное познание.[163])

Как же превратить историческую науку в такую же точную науку, как естествознание? Зибель видел два пути. Первый, исключительно

---

[155]). Г. З и б е л ь. О законах... стр. 30, 8.
[156]) Там же, стр. 8, 19.
[157]) Там же.
[158]) H. v. S y b e l. Drei bonner Historiker— «Historische Zeitschrift». 1868. Bd. 18, S. 294—295.
[159]) H. v. S y b e l. Gedächtnisrede auf Leopold von Ranke. — In: H. v. Sybel. «Vorträge und Abhandlungen...» S. 299.
[160]) Г. З и б е л ь. О законах... стр. 8—9.
[161]) Там же.
[162]) Там же, стр. 10, 11—12.
[163]) Там же, стр. 16—17.

важный и надежный, путь состоял, по Зибелю, в том, чтобы при изучении исторических явлений опираться на источники, которые являются «остатками прошлого», «частью самого действия», т. е. дипломатические депеши, грамоты, акты, письма[164]). Эти документы, указывает Зибель, вполне надежны, их можно с полным доверием использовать в исследовательской работе, надо только выяснить подлинность документа — «действительно ли он тот самый документ, за который его выдают»[165]). Используя такие документы, подчеркивал Зибель, историк «тотчас становится в положение, которое во многих случаях сходно с положением естествоиспытателя: с тою же достоверностью, с какою геолог из окаменелостей выводит минувшее развитие земной коры, заключает историк... о прошедших периодах человеческой жизни»...[166])

Совсем другое дело, говорит Зибель, когда источником являются уже не остатки самих событий, а рассказы о них, написанные в различной форме (мемуары, предания, описания и т. д.). Эти источники весьма ненадежны. «Никто не станет умалять цены... мемуаров, но они почти никогда не бывают свободны от влияния излагательного искажения», — писал Зибель.[167])

Устранить субъективные наслоения в источниках подобного характера и восстановить объективную истину — эту задачу, по мнению Зибеля, может выполнить историческая критика, «рефлектирующий, самосознательный ум» историка[168]).

Эту сложную задачу критический ум, — указывает Зибель, — может выполнять двумя способами. Поскольку субъективные наслоения в источниках нарративного характера зависят от конкретных условий и индивидуальности рассказчика, то, в первую очередь, надо выяснить их. Конечно, добавляет Зибель, дело это трудное: жизненная среда неоднородна, а индивидуальностей очень много. Но все же выполнить его можно, ибо при всем различии среда и индивидуальная сущность рассказчика определяются одними и теми же законами человеческой природы.[169]) Правда, «это понимание индивидуальностей, — замечает Зибель, — имеет определенные границы: внутренние (в постепенности природы индивидуальности) и внешние (в неполноте исторических данных)»[170]).

Другой способ восстановления объективной истины, по Зибелю, состоит в установлении связи между известными фактами и выяснении (путем их сравнения) непонятных моментов. Это, — писал, он, — возможно, так как «ни один исторический факт не стоит уединенный», а «связан с другим по времени и пространству, по причине и действию, влияет на него по определенным, доступным познанию законам и в свою очередь подчиняется последним. Так как эта связь предметов непрерывна, то, очевидно, неверное понимание одного факта тотчас придет в столкновение с верным представлением о другом».[171])

Итак, «рассмотрение рассказчиков в сущности их личности и рассмотрение фактов по их временной и пространственной связи и причинному сцеплению — вот два занятия исторической критики, два условия всякого исторического знания», — заключает Зибель[172]).

---

[164]) Там же, стр. 10, 12—14.
[165]) Там же, стр. 10.
[166]) Там же.
[167]) Там же, стр. 10—11, 14.
[168]) Там же, стр. 10.
[169]) Там же, стр. 10—11, 14.
[170]) Там же, стр. 15, 12.
[171]) Там же, стр. 15—17.
[172]) Там же, стр. 18.

Таковы основные взгляды Зибеля на историческое познание, на пути превращения исторической науки в такую же точную науку, как естествознание. Во взглядах Зибеля обнаруживается заметное влияние позитивизма Г. Бокля.[173]) Это сказывается и в преклонении Зибеля перед успехами естествознания, в стремлении достигнуть «совершенно точного знания», аналогичного естественнонаучному, в твердой вере Зибеля в закон причинности и взаимосвязи между историческими явлениями, в стремлении к объективной истине. В этом положительная сторона взглядов Зибеля.

Вместе с тем зибелевскому пониманию исторического познания присуща ярко выраженная классовая ограниченность. Процесс познания общественных явлений трактуется им в чисто психологическом плане, социальная обусловленность познания им полностью игнорируется. Отсюда крайне упрощенное толкование Зибелем различия предмета биологии и предмета истории, идеалистическое понимание специфики познания исторических явлений. Сводя все трудности процесса познания общественных явлений лишь к тому, что «человек рассматривает человеческие поступки с другими чувствами, нежели натуралист свои минералы и инфузории», Зибель не видел главных трудностей процесса познания истории.

Специфика познания истории общества и законов его развития состоит в том, что историк не стоит над предметом познания как биолог, он является частью общества, ограничен его рамками. В биологии процессы развития протекают очень медленно и на низком уровне, в то время как в обществе развитие протекает значительно быстрее и на высшем уровне. Законы общественного развития проявляются через сознательную деятельность классов, партий, имеют классовую подоплеку, вследствие чего это познание (в отличие от познания законов природы) в гораздо бо́льшей степени затрагивает интересы различных партий.

Не выяснив специфику процесса познания общественных явлений, Зибель не сумел найти и подлинно научные методы познания истории. Он был прав, считая, что нарративные источники содержат немало искажений. Однако попытка Зибеля объяснять сущность источников психологическими факторами, а процесс устранения субъективных искажений сводить к действиям неведомого «критического ума» — несостоятельна. Источники, безусловно, отражают индивидуальность психологии того или иного автора, но их сущность определяется не психологическими особенностями, а конкретно-историческими, прежде всего социально-политическими условиями, которые сами определяют идеологию автора. Действия же абстрактного «критического ума», претендующего на роль непогрешимого критерия познания, вызывают законные сомнения: где гарантия того, что «критический ум» не исказит истину в своих классовых интересах?

Предложенный Зибелем как якобы наиболее надежный путь достижения объективной истины (использование узкой группы документов официально-дипломатического характера) не оригинален, он восходит к Ранке. Но и этот путь страдает существенными недостатками. Не случайно он в свое время вызвал резкую критику со стороны представителей прогрессивного течения немецкой историографии. Критикуя Ранке за произвольное возведение в степень абсолютной достоверности немногочисленную группу источников официально-дипломатического

---

[173]) Ср. статью Зибеля «О законах исторического знания» и статью Г. Бокля «Способы изучения истории» («Отечествен. записки», 1861 г., февраль, стр. 381—396).

характера, Карл Фридрих Кеппен в 1841 г. писал: «Смешно было бы... пытаться отрицать значение этих источников для некоторых сфер и частей истории, но другой вопрос: всегда ли именно эти источники являются основными и решающими, как некое non plus ultra? Могут ли они дать историку **все?** И не приводит ли использование только этих источников — с исключением других — к самому сухому, одностороннему, ограниченному прагматизму, более того — к самой настоящей нелепице?»[174]) И Кеппен справедливо делает вывод, что использование подобных источников не может привести даже к пониманию деятельности королей, дипломатов, полководцев «объективно, по существу», ибо дипломаты, придворные «к королю, к прославленному полководцу стоят слишком близко, чересчур подробно знают их личность и человеческие слабости»....[175])

Гервинус, критикуя «архивно-дипломатический» метод исследования Ранке, в 1861 г. писал, что здесь лежит опасность переоценить неопубликованные документы только потому, что они новы, и свидетельства дипломатических авторитетов только потому, что они, как лица, посвященные в служебные тайны, могут верно рассуждать о происшедших событиях Гервинус указывал, что «сообщение дипломата не может иметь особого значения», более того, оно ненадежно, ибо дипломаты — это люди, «для которых история — уже дело свершившееся, а не свершающееся», люди «с узкими взглядами, которые почтительно писали и хозяевам, для которых они наблюдали, и тем, за которыми они наблюдали»...[176])

Попытка Зибеля (уже сама по себе противоречивая) воплотить позитивистские теоретико-познавательные принципы на основе критического метода Ранке, базирующегося на иных теоретико-познавательных принципах, была обречена на полную неудачу. Руководствуясь идиографизмом Ранке, невозможно вскрыть подлинные законы истории хотя бы потому, что метод Ранке сводится к описанию единичных, особых, неповторяемых исторических явлений. А стремление Зибеля вслед за Ранке опираться исключительно на источники официального и военно-дипломатического характера, как якобы наиболее надежные и достоверные, неизбежно приводило к истолкованию исторического процесса исключительно в плане деятельности королей, полководцев, министров, дипломатов, вращаясь в кругу которых невозможно научно понять даже историю дипломатии и войн, не говоря уж о социально-экономической истории.

Вот почему в историографической практике Зибель существенно не продвинулся вперед по сравнению с Ранке. Провозглашенный Зибелем под влиянием позитивизма 50—60-х гг. XIX в. ряд научно-прогрессивных принципов (в рамках современной ему юнкерско-буржуазной историографии) остался словесной декларацией, не реализованной или реализованной в незначительной степени на практике. Конечно, методика исследования Зибеля не исключала возможности правильного освещения отдельных важных явлений прошлого, но в целом она закрывала путь к подлинно научному пониманию истории как «единого, закономерного во всей своей громадной разносторонности и противоречивости, процесса»[177]).

---

[174]) К. Ф. Кеппен. Берлинские историки. — «Историк-марксист». 1940. № 8, стр. 78.
[175]) Там же, стр. 79.
[176]) G. Gervinus. Friedrich Christoph Schlosser. Ein Nekrolog... S. 26—27.
[177]) В. И. Ленин. Карл Маркс. — Сочинения. Изд. 4-е, т. 21, стр. 41.

***

Подведем итоги. Из сказанного выше видно, что при изучении новой истории и, в частности, проблемы Великой французской революции Зибель руководствовался рядом теоретико-методологических предпосылок. Главные из них могут быть сведены к следующему:

1) Зибель был уверен в объективно-закономерном и прогрессивном характере общественного развития («нравственный закон») и признавал возможность его познания на основе идиографизма Ранке и его критического метода;

2) движущей силой развития общества считал деятельность «великих личностей», а единственно закономерной, разумной и прогрессивной формой общественного развития — эволюцию;

3) был убежден в особой миссии Пруссии, прусского монархического государства и немецкого «духа» во всемирной истории, особенно в истории Европы;

4) считал «опасными» и «гибельными» для народа и государства революционно-демократические и социалистические преобразования общества.

На выработку руководящих теоретико-методологических принципов исследования Зибеля значительное влияние оказал Л. Ранке. Вместе с тем известное отличие идейно-политических взглядов умеренного малогерманского либерала Зибеля от взглядов старопрусского юнкера Ранке в период объединения Германии вызвало расхождение Зибеля с Ранке по ряду методологических вопросов и обусловило тяготение Зибеля к англо-французскому позитивизму (Г. Бокль, О. Конт), о чем умалчивают почти все немецкие исследователи, писавшие о Зибеле (Варрентрап, Мейнеке, Белов, Србик и др.).

Однако, поскольку в идейно-политическом плане Зибель неизменно отстаивал тесный союз буржуазии с реакционным прусским юнкерством, его расхождения с Ранке по методологическим вопросам не были коренными, они оставались преимущественно в рамках идеализма, о чем наглядно свидетельствует историографическая практика Зибеля, мало отличающаяся от историографической практики Ранке.

После объединения Германии, когда политические разногласия о путях и способах объединения страны между буржуазией и юнкерством отпадают, в новых условиях, когда опаснейшим противником буржуазно-юнкерского блока становится социалистическое рабочее движение, расхождения Зибеля с Ранке по методологическим вопросам почти совершенно исчезают. Зибель открыто поддерживает «объективность» Ранке и выступает против позитивизма Лампрехта и широкого распространения социально-экономической проблематики в немецкой историографии 80—90-х гг. XIX в.[178]).

---

[178]) Зибель был одним из инициаторов публикации отрицательных, разносных рецензий на первые тома «Немецкой истории» Лампрехта. Незадолго до начала методологической дискуссии Зибель устраивает вторым редактором «Historische Zeitschrift» безусловного противника Лампрехта — Ф. Мейнеке и сплачивает вокруг журнала влиятельных историков ранкеанского направления (Белов, Рахфаль и др.), которые вскоре после смерти Зибеля (1895 г.) начали решительную борьбу с Лампрехтом.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В. В. КУЙБЫШЕВА

Труды, том 166 Серия историческая

О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛЕОПОЛЬДА ФОН РАНКЕ

Н. И. СМОЛЕНСКИЙ

Изучение теоретико-методологических принципов исторической концепции Леопольда фон Ранке (1795—1886 гг.) в настоящее время представляется актуальным вследствие целого ряда обстоятельств. Такое изучение необходимо не только потому, что без него невозможно понять идейного смысла конкретно-исторических сочинений Ранке, существа применяемых им методов истолкования исторических фактов. Без анализа методологии Ранке нельзя оценить отношение к нему в новейшей западногерманской историографии, понять, с какими целями буржуазные историки вновь и вновь обращаются к Ранке.

Исходные теоретические принципы основателя самой обширной исторической школы в Германии далеко вышли за пределы его собственных взглядов и исторических работ. Ранке не был крупным теоретиком в историографии, однако его исторические сочинения являются образцом последовательного проведения определенной классовой идеологии и идеалистической методологии в исторической науке. Методология Ранке представляет собой наиболее полное практическое решение в идеалистическом смысле задач исторической науки. Речь идет о таких проблемах, как объективность исторического знания, соотношение объективности и партийности в исторической науке и связанная с этим проблема социальной функции историографии, метод исторической науки и проблема исторического факта. Это — вопросы исторической науки, которые остаются актуальными на всех этапах ее развития. Содержание и смысл ранкеанского решения их всецело обусловлены в конечном итоге историческими условиями, в которых эти проблемы рассматривались.

Взгляды Ранке получили в буржуазной науке широкое признание в период мирного развития капитализма, когда в обстановке господства буржуазных идей определенная неразвитость идеологической борьбы (по сравнению с эпохой империализма) до некоторой степени позволяла части буржуазных идеологов утверждать о независимости исторической науки от современности. С другой стороны, «объективизм» Ранке служил идеологическим оружием борьбы против марксистской партийности. Для буржуазных ученых наших дней принципы объективизма и партийности в том виде, как их представлял Ранке, неприемлемы: обострение империалистических противоречий, появление Советского Сою-

за и возникновение мировой социалистической системы, неизмеримо более резкое, чем прежде, обострение идеологической борьбы потребовали от буржуазных историков определенного и четкого выражения своих взглядов.

Ряд западногерманских историков, анализируя выдвинутые Ранке принципы, приходит к выводу, что субъективизм имел место в сочинениях Ранке, и это не является недостатком его работ. В интерпретации Ранке новейшими буржуазными историками можно проследить некоторые существенные тенденции, характерные для современной буржуазной историографии. Это особено относится к истолкованию ранкеанского решения проблемы объективности и партийности в исторической науке, а также проблемы исторического факта у Ранке. Для советской историографии рассмотрение проблем, связанных с Ранке и с отношением к нему буржуазной (особенно новейшей) историографии, выступает как одна из задач борьбы с буржуазной идеологией.

В доступных нам сочинениях современных историков ФРГ Ранке рассматривается с позиций неоидеалистического историзма, под углом зрения новых политических задач, возникших перед буржуазными историками после второй мировой войны. Политическая программа историков ФРГ состоит в признании необходимости внести «вклад» в создание единства западных держав, противостоящего Советскому Союзу и лагерю социализма. Этой цели, например, служит пересмотр О. Зибургом исторических представлений об отношениях Германии и Франции[1]). Применительно к Ранке это выступает, в частности, в усиленном противопоставлении Ранке историкам малогерманского направления[2]), в пересмотре выдвинутой Ранке оценки роли в истории Европы внешней политики Людовика XIV[3]).

Политические и исторические позиции западногерманских историков особенно наглядно проявляются в оценке объективизма Ранке и его решения проблемы взаимоотношения исторической науки и современности. Рудольф Фиргаус в книге «Ранке и социальный мир» показал зависимость постановки исторических проблем и интерпретации исторических фактов Ранке от изменений его политических взглядов[4]). Осуществленные Фиргаусом новые извлечения из «Nachlass» Ранке имеют своей целью шире показать связь Ранке с современной ему общественно-политической обстановкой, доказать в конечном счете, что эта связь с современностью была не препятствием его объективности, а, наоборот, являлась «важнейшим импульсом» к написанию его исторических работ, особенно «исторического осмысливания своей собственной эпохи».

В соответствии с этим с большой тщательностью выявляется место и значение современной Ранке исторической действительности в его сочинениях, лекциях и т. д. Конечная цель такой постановки вопроса ясна: доказать, что Ранке был связан с современностью не только политически и идейно, но и в научном плане, что проявлялось прежде всего в знаниях Ранке историей современности. Приводя выдержку из Nachlass'а и полностью солидаризируясь с ней, Фиргаус пишет: «Если из историка-специалиста не может быть политического деятеля, то все

---

[1]) H. O. Sieburg. Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts (1848—1871). Wiesbaden, 1958, S. 343—344.

[2]) Ibid., S. 192.

[3]) Ibid., S. 194.

[4]) R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt «Neue Münstersche Beiträge zür Geschichtsforschung». Bd. I. Münster, 1957.

же необходимо его активное участие в событиях»[5]). Очевидно, что здесь дело не ограничивается лишь новой интерпретацией объективизма Ранке, но это вместе с тем и стремление доказать, что связь историка с современностью не противоречит его научной объективности.

Огромные затруднения, которые испытывал Ранке, пытаясь в историографической практике осуществить свой принцип объективизма, наличие у него высказываний о связи современности и исторической науки не изменяют его общего решения вопроса об объективности исторического знания и связанного с этим стремления (это явилось также и завещанием Ранке) избежать влияния современной политики на научно-историческую деятельность. Новые извлечения Фиргауса лишь ярче оттеняют эту трудность, стоящую перед Ранке, вместе с тем они абсолютизированы Фиргаусом; выводы, которые он делает, отвечают новым политическим запросам, предъявляемым к историку. Но они являются отходом от ранкеанского понимания объективизма[6]).

Обосновывая связь истории с политикой ФРГ, Фиргаус заходит так далеко, что в его интерпретации роль, которую Ранке отводил исторической науке в обществе, превращается в свою противоположность[7]). Приводя мнение Ранке об изменении функций исторической науки с изменением исторической обстановки, Фиргаус пишет, что, по Ранке, история должна поучать современников, способствовать пониманию ими своих общественно-исторических условий.

Выводы такого рода в новейших исследованиях о Ранке в западногерманской историографии нельзя свести к простой фальсификации его взглядов. Они построены на действительных суждениях ученого. В этом заключается значение указанных работ: субъективно не стремясь развенчать реанкеанский объективизм, они в то же время показывают его научную несостоятельность. Противоречивость суждений Ранке позволяет (например, по вопросу о взаимоотношении истории и политики) делать различные выводы, если при этом отвлекаться от всей системы взглядов Ранке. В указанных работах мы видим образец неисторического подхода к изучению Ранке: выпячивание одних его мыслей и совершенное игнорирование других. Выводы, строящиеся на основе такой методики исследования, часто сами по себе не лишены значения, но они противоречат теоретическим принципам Ранке, хотя и претендуют на их верную интерпретацию.

Анализ взглядов Ранке австрийским историком Србиком убеждает, что пересмотр исторических представлений, ведущийся в западногерманской историографии, — не просто изменение исторической перспективы, а в значительной степени ревизия исторического знания в угоду реакционным политическим целям. В своей основе этот пересмотр смыкается с антиисторизмом. Взгляды Ранке на государство в интерпретации Србика выступают как выдающиеся[8]), стоящие выше

---

[5]) R. Vierhaus. Rankes Verständnis der «neuesten» Geschichte untersucht auf Grund neuer Quellen. — «Archiv für Kulturgeschichte», 1957, XXX. Band, Heft 1, S. 87—88.

[6]) Подобно Фиргаусу, Отто Зибург считает «холодную, безучастную индифферентность» лишь упреком, предъявляемым к Ранке. По мнению Зибурга, историческому мышлению Ранке вообще чужд догматизм. «Импульс современности действовал, как «летучее», но всегда имеющееся вещество»... (H. O. Sieburg. Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts (1848—1871. 1958. Wiesbaden S. 189).

[7]) R. Vierhaus. Ranke und die soziale Welt. Neue Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung. Bd. I, 1957, S. 88—89.

[8]) H. R. Srbik. Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, I. Band, München, 1950, S. 253.

теории «общественного договора», в оценке которой Србик солидаризируется с Ранке. В теории государства Ранке Србика привлекает прежде всего определение государства, как «...индивидуальной сущности с собственными жизненными принципами, собственным «я»[9]). В то же время обходятся молчанием неудобные для Србика важные стороны истолкования Ранке истории государства, замалчиваются те выводы, которые делал Ранке из своего понимания сущности государства.

С точки зрения Ранке, государство — это духовная индивидуальность, воплощение нравственной идеи, коренным атрибутом которого является стремление к самоутверждению путем применения силы. В его понимании, государство — это «Machtstaat» с вытекающим отсюда приматом внешней политики над внутренней, героизацией и этизацией войны[10]). Србик же откровенно фальсифицирует теорию государства Ранке, заявляя, что ранкеанскому пониманию сущности государства вообще не свойствен примат внешней политики, более того, что «он (т. е. Ранке) никогда не приносил идею Запада в жертву эгоизму отдельной державы».[11]) Это уже прямая модернизация, суть и цель которой очевидны.[12])

Рассмотрение ранкеанского решения проблемы взаимоотношения между историей и политикой Србиком принципиально не отличается от взглядов Фиргауса и Зибурга по указанному вопросу. Србик утверждает, что тот, кто подобно Ранке понимает взаимоотношение исторической науки и современности, тот никогда не станет стремиться отрицать их связь.[13]) Так историк, отрицавший в течение всей своей научной деятельности необходимость связи исторической науки и современной ей политики, превращается в образец такой связи. Выводы Србика о связи историографии Ранке с политикой стоят в неразрывной связи с интерпретацией им ранкеанского объективизма. По мнению Србика, объективизм Ранке отнюдь не означал отказ от выражения своей собственной позиции; Ранке, пишет Србик, с самого начала присуще осознание субъективного характера познания историка.

Знаменитые слова Ранке о том, что он хочет показать, как было в действительности, выражают теоретико-познавательный идеал Ранке, но не означают убеждения в возможности его достижения.[14]) Ранке, по мнению Србика, осознавал невозможность «чистой» исторической истины без субъективной обусловленности этой истины средствами познания историка, его мировоззрением, политической позицией и т. д. В свете этого его объективизм означал стремление к возможно более высокой степени истинности исторического познания, установление своего собственного отношения к изображаемому на основе «вечных моральных законов». При этом, по мнению Србика, ранкеанский объективизм не

---

[9]) H. R. Srbik. Geist und Geschichte... Bd. I, S. 252.

[10]) L. v. Ranke. Geschichte und Politik. Stuttgart, 1942, S. 97.

[11]) H. R. von Srbik. Geist und Geschichte..., Bd. I. S. 260.

[12]) В отрицании указанных выше сторон ранкеанской теории государства Србик идет вслед за Ф. Мейнеке, который писал об этом еще в 1924 г. (См. F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. Stuttgart, 1959, S. 258—259). Подобно Мейнеке, Србик обвиняет В. Дильтея в приписывании Ранке тезиса о примате внешней политики над внутренней («Geist und Geschichte», Bd. I, S.240). Но Мейнеке изменил свою точку зрения после второй мировой войны. В небольшой работе «Ранке и Буркгардт» он осуждает Ранке за то, что у него «сила выступает просветленной и одухотворенной» (F. Meinecke. «Ranke und Burckhardt», Berlin, 1948, S. 11—12). См. также А. И. Данилов. Фридрих Мейнеке и немецкий буржуазный историзм. — «Новая и новейшая история». 1962, № 2.

[13]) H. R. v. Srbik. Geist und Geschichte... Bd. I, S. 262.

[14]) Ibid., S. 261.

может рассматриваться без учета «высших неземных сил, действующих в истории»[15]).

Содержащееся в рассуждениях австрийского историка справедливое положение о зависимости работы историка от современных ему общественных условий в широком смысле слова не может скрыть неправильного истолкования объективизма Ранке. Указание на осознание Ранке обусловленности истины в историческом познании мировоззрением историка, которое дает ему современность, отражает в действительности лишь распространенное решение вопроса об объективной истине в исторической науке современными буржуазными историками ФРГ. Согласно этому решению объективность истины не противоречит связи буржуазных историков ФРГ с политикой, а предполагает такую связь. В этом мы имели возможность убедиться на примере Фиргауса и Зибурга. Нетрудно заметить, что презентистски-прагматический взгляд на решение вопроса об истине в исторической науке, против которого на словах борются западногерманские историки, становится в определенной степени их собственной теорией.

Антиисторический подход у Фиргауса, Зибурга и Србика к оценке политической идеологии Ранке нагляднее подтверждается сравнением их с другими современными буржуазными учеными, которые иначе подходят к рассмотрению указанного вопроса. Современный голландский историк Питер Гейл, которому также в определенной степени свойственна модернизация Ранке[16]), указывая на выводы, вытекающие из ранкеанского понимания сущности государства, пишет: «Что в этих представлениях (т. е. во взглядах Ранке на государство. — *Н. С.*) скрыто много опасного, нет необходимости много говорить. В том, что я приводил (Гейл цитирует одно из мест в «Politisches Gespräch», где сила рассматривается как основной признак государства. — *Н. С.*), замечается некоторая наклонность к откровенной политике силы, даже к тоталитаризму»[17]).

В определенной степени критическая оценка политических взглядов Ранке, однако, не противоречит главной идеологической задаче Гейла — сохранению «культуры», «защищать которую» он призван. В этом смысле его отношение к Ранке является призывом, обращенным к западногерманским историкам с целью извлечь выводы из прошлого и содействовать недопущению «ложного пути»[18]). В пределах этой задачи и ведется Гейлом рассмотрение политических взглядов Ранке. Именно этой задачей объясняется обнаруживающееся у Гейла стремление смягчить свои выводы, найти у Ранке нечто согласующееся с политическими устремлениями самого Гейла; это проявляется, например, в тех выводах которые делаются из сравнения Ранке с историками типа Трейчке.[19])

В еще большей степени, чем вышеназванные ученые, Гейл искажает существо ранкеанского понимания принципа объективности исторического исследования. При этом Гейл ссылается на бесспорный факт: на принадлежность Ранке к консервативной историографии[20]). Именно консервативным политическим взглядам Ранке, пишет Гейл, соответствовал апологетический дух его историографии, его отношение к истине

---

[15]) Ibid., S. 230.
[16]) P. Geyl. Die Diskussion ohne Ende. Darmstadt, 1958, S. 10, 14.
[17]) P. Geyl. Die Diskussion ohne Ende. Auseinandersetzungen mit Historikern. Darmstadt, 1958, S. 5.
[18]) Ibid., S. 14.
[19]) Ibid., S. 10.
[20]) Ibid., S. 2—4.

подобно отношению священника к религиозной догме; отсутствие критики прошлого у Ранке, по мнению Гейла, означало признание этого прошлого как основы настоящего[21]). Нельзя не отметить, что в этих рассуждениях Гейла содержится верная мысль о зависимости интерпретации Ранке различных сторон исторического прошлого от его мировоззрения. Гейл, безусловно, прав, когда он пишет: «Воздержание от критики было... не доказательством отсутствия убеждения, напротив, оно было выражением убеждения».[22])

Утверждение о социальной направленности исторических произведений Ранке служит Гейлу средством для доказательства того положения, что исторические работы этого ученого, как и всех других, являются лишь его представлением о прошлом[23]). Однако, если до сих пор в вопросе об обусловленности исторических сочинений Ранке его мировоззрением Гейл был способен давать в известной степени верный анализ Ранке, то дальше, при рассмотрении теоретико-методологических принципов исторической концепции, он порывает с истиной .Об этом свидетельствует, например, интерпретация Гейлом ранкеанского объективизма, исходным пунктом которой является гипертрофированно-идеалистическое представление об объекте исторического познания Ранке, как «божественном знании».

В силу этого, пишет Гейл, рассмотрение знаменитой формулы Ранке как «характеристики подлинной цели его неутомимой работы» есть карикатура на Ранке. «Это был лишь ключ к тайне, который, конечно, не открывал полностью вход в нее». Отказ произнести свой приговор изображаемому, стремление исключить свое «я» из него заложены, согласно Гейлу, в самом характере исторического познания Ранке, которое представляет собой «благоговейную догадку».[24]) Поэтому, пишет Гейл, обычные упреки, предъявляемые Ранке, в том, что он хотел исключить свое «я» из своих сочинений, несостоятельны, так как «воздержание от моральных суждений не есть проявление холодного ума».[25]) Объективизм Ранке, полагает Гейл, это стремление изложить то, что не подлежит моральной оценке, так как его характер предопределен богом.

Такое изображение объективизма Ранке, хотя оно и опирается на некоторые действительные суждения Ранке, представляет собой безусловное его искажение. В интерпретации Гейла Ранке предстает безоговорочно как законченный мистик и худший агностик; это достигается Гейлом благодаря искажению как объекта исторического познания у Ранке, так и самого процесса познания. При этом целиком игнорируется представление Ранке об истории как совокупности эмпирически данных фактов и обстоятельств и связанной с этим познаваемости исторической действительности. В этом вопросе представитель презентистско-прагматической концепции буржуазной методологии истории еще более далек от истины, чем рассмотренные выше историки неоидеалистического направления в западногерманской историографии.

Отдельные буржуазные историки заявляют о необходимости сохранять верность историографическим принципам Ранке,[26]) другие считают это возможным лишь в сочетании с критикой некоторых «крайно-

---

[21]) Ibid., S. 4.
[22]) P. G e y l. Die Diskussion ohne Ende..., S. 4.
[23]) Ibidem, S. 1, 4.
[24]) Ibid., S. 6.
[25]) P. G e y l. Die Diskussion ohne Ende..., S. 6.
[26]) А. И. Данилов. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ. — «Средние века», вып. XV, 1959 г., стр. 99.

стей» во взглядах Ранке (национализм, культ силы).[27]) У ученых типа Г. А. Рейна, которого буржуазные историки обвиняли в стремлении оправдать фашизм ссылкой на «сказочный объективизм»[28]) Ранке, очевидна связь между отказом от критики историографических традиций и возрождением милитаристских сил в ФРГ.

Стремление ряда буржуазных историков ФРГ сохранить верность духу исторических исследований Ранке, как и пересмотр ими прежнего отношения к нему и к содержанию решенных им теоретико-методологических принципов, находятся в прямой связи с политической задачей, сводящейся в конечном итоге к сохранению господства буржуазии в Западной Германии. В научном отношении идеализм, агностицизм и иррационализм при рассмотрении Ранке присущ историкам обоих указанных направлений.

В исторической науке ГДР изучение Ранке является важной проблемой, неразрывно связанной для историков-марксистов с идеологической борьбой против современной реакционной западногерманской историографии.

Нельзя не признать справедливость утверждения немецкого историка-марксиста В. Маркова, который пишет, что Ранке не удалось «ни совершенно отвергнуть, ни игнорировать» «господствующие тенденции современной эпохи». Автор верно указал, что Ранке, будучи партийным историком, отразил классовый компромисс между буржуазией и юнкерством, приспосабливавшимся к условиям буржуазных преобразований в Германии; «...его объективизм, — пишет В. Марков, — был вынужденной неизбежностью либеральных уступок со стороны консерваторов».[29]) В основе исторического метода Ранке, пишет автор, лежит теология; в соответствии с этим Ранке признавал существование в исторической действительности внеисторических сил, объявляемых им «находящимися вне научной компетенции».[30])

В то же время нельзя, однако, согласиться с утверждением автора, что кризис немецкой историографии начинается с Ранке:[31]) во-первых, кризис исторической науки — кризис части буржуазной идеологии

---

[27]) В статье О. Л. Вайнштейна «Леопольд фон Ранке и современная буржуазная историография» (Сб. «Критика новейшей буржуазной историографии», М.—Л., 1961) отмечено, что в современной буржуазной исторической науке Ранке»... продолжает... оставаться центральной фигурой историографических исследований — в первую очередь в Западной Германии и США». (стр. 114). Рассматривая отношение к Ранке в новейшей историографии ФРГ, автор правильно укзывает, что оно не представляет собой нечто единое (стр. 142). Автор убедительно показал, что оценка ранкеанской позиции «Machtstaat» и Machtpolitik» Ф. Мейнеке, Г. Риттером, В. Гофером и др. находится в прямой связи с пересмотром так называемого «немецкого представления об истории». Однако подобная критика «крайностей» и во взглядах Ранке не определяет полностью отношение к нему в современной западногерманской историографии.

Автор приводит высказывания ряда буржуазных ученых ФРГ, которые свидетельствуют, что для немецких историков взгляды Ранке являются актуальными (стр. 143—147). В то же время нет оснований рассматривать это как поворот к оправданию взглядов Ранке. Большинство буржуазных историков ФРГ считает, например, неприемлемым ранкеанское решение проблемы взаимоотношения истории и политики: в рассматриваемом вопросе поворот к действительным взглядам Ранке едва ли возможен. Выяснение настоящего места взглядов Ранке в современной буржуазной историографии ФРГ на примере указанной проблемы, как и целого ряда других проблем, не может идти изолированно от рассмотрения антиисторического подхода к Ранке у историков ФРГ.

[28]) W. Berthold. «...grosshungern und gehorchen». Berlin. 1960, S. 25. Такое обвинение Г. А. Рейну предъявил в 1955 г. Вальтер Гофер.

[29]) W. Markow. Zur Kriese der deutschen Geschichtsschreibung. — «Sinn und Ferm». 2. Jahr. 1950. 2. Heft, S. 114.

[30]) Ibid., S. 115.

[31]) Ibid., S. 116.

периода империализма, во-вторых, это кризис тех исторических представлений, которые уже не являлись строго взглядами Ранке, а существенно отличались от них; более того, кризис отражается в пересмотре решений таких вопросов исторической науки, в истинности и незыблемости которых Ранке никогда не сомневался (познаваемость исторической действительности, возможность достижения объективной истины).

Вернер Бертольд, анализируя на примере Герхарда Ритера и Фридриха Мейнеке возникновение и политическую функцию исторической идеологии западногерманского империализма, показывает актуальность взглядов Ранке для современных буржуазных историков ФРГ. Ревизия западногерманскими учеными традиционных для немецкой буржуазной историографии представлений является, по мнению автора, пересмотром тех взглядов, которые, начиная с Ранка, противопоставлялись в Германии историко-политическому мышлению Запада.[32]) Реакционные немецкие историки со времени Ранке, пишет автор, сделали главным предметом своих исторических интересов государство, преимущественно его внешнеполитическую и военную функцию. Это историческое мышление обожествляло прусское государство и его династию и стало, по мнению автора, инструментом для антидемократического решения национального вопроса[33]); Ранке, по Бертольду, был «достаточно умен, чтобы в интересах безопасности реакционной монархии рекомендовать определенное сближение с буржуазными устремлениями».[34])

Автор считает, что Ранке является родоначальником немецкого историзма. Рассматривая взаимоотношение взглядов Ранке и Гегеля, Бертольд указывает на необходимость резко отделять «ценное и прогрессивное у Гегеля» от «начинающейся с Ранке иррациональной, агностической и субъективистской философии истории реакционного немецкого историзма».[35])

Анализ взглядов Ранке другим историком-марксистом ГДР Ю. Кучинским убеждает в важности последовательного проведения методологических принципов марксизма-ленинизма в исторической науке. Рассматривая проблему объективности и партийности, Кучинский пишет: «Требование партийности, как мы ее сегодня представляем, есть не что иное, как требование реалистической объективности».[36]) Эта формулировка приемлема и для буржуазных историков, так как автор, определяя коммунистическую партийность, лишает ее главного — необходимости руководствоваться методологией марксизма-ленинизма. Утверждая, что «объективная историография в смысле беспартийности невозможна,» автор пишет, что «подлинная объективность означает партийность по отношению ко всему новому, прогрессивному».[37])

Решая таким путем проблему объективности и партийности в исторической науке, Кучинский отмечает, что указание на реакционный характер партийности в историографии Ранке является совершенно недостаточным для его оценки. При таком подходе, утверждает автор, игнорируется «новая техника» изображения исторической действительности[38]). Согласно точке зрения Кучинского, у Ранке необходимо отде-

---

[32]) W. Berthold. «...grosshungern und gehorchen». Berlin, 1960, S. 10.
[33]) Ibid., S. 10—11.
[34]) Ibid., S. 169.
[35]) Ibid., S. 169.
[36]) J. Kyczynski. Parteilichkeit und Objektivität in Geschichte und Geschichtsch reibung. «Beitrage zum neuen Geschichtsbild. Zum 60. Geburtstag von Alfred Meusel». Herausgegeben von F. Klein und J. Streisand. Berlin, 1956, S. 12.
[37]) Ibid., S. 11.
[38]) Ibid., S. 24.

лять политическую и методологическую партийность от «техники исторического исследования», выражающей прогресс научно-исторического познания и, следовательно, удовлетворяющей требованию подлинной объективности[39]). По мнению автора, вообще «техника сама по себе нейтральна».[40])

Руководствуясь таким механическим взглядом на соотношение методологии и методики исторического исследования в исторической науке, Кучинский не только преувеличивает значение источниковедческой методики Ранке, но и роль самого Ранке в создании современной методики исторического исследования. Замечание Кучинского об использовании Ранке источниковедческой методики «в интересах господствующего класса»[41]) не меняет сущности дела, так как, с его точки зрения, эта методика внутренне не обусловлена ранкеанской методологией. В свете изложенного отношения Кучинского к Ранке нельзя не признать справедливость утверждения, что его взгляды по вопросу о партийности и объективности в исторической науке представляют собой уступку буржуазной историографии.[42])

По-видимому, подобных взглядов придерживается и Бертольд, когда говорит о необходимости отделять источниковедческую методику Ранке, представляющую собой «выдающееся достижение», от его «историко-философских принципов».[43])

Наше рассмотрение некоторых теоретико-методологических принципов исторической концепции Леопольда фон Ранке основывается на материале его теоретических работ[44]), а также отдельных методологических положений, содержащихся в его конкретно-исторических сочинениях. Сами эти работы являются свидетельством того, что Ранке был чужд теоретическому нигилизму; часто говоря об излишности исторической теории, он сам следовал определенной, и притом классовой теории.

В начале своей научной деятельности Леопольд фон Ранке выступал как идеологический выразитель интересов прусского юнкерства. Об этом свидетельствуют не только его сочинения, но и его политическая деятельность.

Революция 1830 г. побудила Ранке основать «Historisch-Politischen Zeitschrift», основной задачей которого была не только борьба с революционными и прогрессивными силами, но и сохранение многочисленных абсолютистских и полуабсолютистских государств в Германии. Позиция, занятая Ранке в Historisch-Politischen Zeitschrift», характеризует его как убежденного врага революционных движений. Этой позиции Ранке остался верен всю свою долгую жизнь, и в 1885 г., в день своего девяностолетия, отмечал, что победа революции сделала бы невозможным дальнейшее развитие мировой истории, так как «революционный дух» является носителем разрушительных тенденций.[45])

---

[39]) Ibid., S. 24.
[40]) Ibid., S. 25.
[41]) Ibid., S. 24.
[42]) А. И. Данилов. Теоретико-методологические проблемы исторической науки в буржуазной историографии ФРГ. «Средние века», вып. XV, стр. 108. Примечание.
[43]) W. Berthold. «...grosshungern und gehrchen», S. 167.
[44]) L. v. Ranke. Geschilchte und Philosophie; Vom Einfluss der Theorie; Über Verwandtschaft und der Unterschied der Historie und der Politik. In: L. v. Ranke. Geschichte und Politik, Stuttgart, 1942. Сюда же можно частично отнести его «Rede zur Epöffnung der XII Plenarversammlung am 27. September 1871», — L. v. Ranke Sämmtliche Werke, Bd. 51—52, Leipzig, 1888; «Am. Neunzigsten Geburtstag, 21. Dezember 1885», — L. v. Ranke. Sämmtliche Werke, Bd. 51—52 и др.
[45]) L. v. Ranke. Sämmtliche Werke, Bd. 51—52, S. 595.

Прекращение издания журнала, отход Ранке от активной политической деятельности ни в коей мере не предопределяли отказа от прежних политических убеждений: и в «Historisch-Politischen Zeitschrift» в 30-е гг., и в «Denkschriften» 50-х гг. Ранке выступал как сторонник монархии в ее борьбе против демократических и либеральных сил.[46])

Ранке страшился всякого проявления революционного духа не только на германской почве; демократические взгляды и учреждения в любой другой стране вызывали к себе отрицательное отношение Ранке. Именно со стороны способности противостоять им расценивает Ранке новое правительство во Франции, пришедшее в 70-х гг. на смену правительству Тьера.[47]) Ранке сожалеет о падении Тьера, который «оказал великую услугу доброму делу: разгромил Коммуну, уничтожил национальную гвардию»...[48])

Если ненависть к революционным силам является одной из наиболее ярких сторон политического мышления Ранке, то не менее характерно для него отношение к абсолютизму, и в особенности к прусской монархии, как к образцу государственного устройства. Посылая в 1845 г. второй том истории Пруссии кронпринцу Максу Баварскому, Ранке писал: «Я нисколько не отрицаю, что обнаруживаю живое участие к изображенному событию — возвышению прусского государства...»[49]). «Верным подданным» назвал себя Ранке в письме к Вильгельму[50]). О том, что эта формулировка правильно выражает отношение Ранке к прусской монархии, говорит назначение Ранке официальным историографом Пруссии, пожалование ему в 1865 г. титула наследственного дворянина и те многочисленные ордена, которые увенчали его деятельность[51]).

Первыми читателями и высшими судьями исторических сочинений Ранке были прусские короли, которым он угодливо предлагал свои труды. Идеи, проводившиеся в этих произведениях, находили «милостивый прием» у представителей прусской монархии.[52]) Не менее характерно отношение Ранке к религии. Убежденный протестант, он видит противодействие атеизму в «сильном религиозном направлении» и ратует за его победу, как за дело огромной важности.[53])

---

[46]) Эти факты Отто Зибург использует для доказательства партийности взглядов Ранке (S i e b u r g, ук соч., S. 192). В 30-е годы Ранке, по мнению Зибурга, пытался средствами исторического познания «воздвигнуть плотину против предмартовского радикализма» (ibidem, S. 194). Кажущиеся такими далекими от злобы дня произведения Ранке, посвященные французской и английской истории, пишет далее Зибург, есть не столько произведения ума, направленного на чистое познание, сколько политические сочинения политического историка. Главное здесь в том, что, например, «Французская история» является программой для оправдания монархических идей» (ibid., S. 194). С таким утверждением нельзя не согласиться, но отсюда делается тот вывод, что это находится не в противоречии, а в соответствии с принципом объективизма Ранке (Ibid., S. 190).

[47]) «Что будет потом, если радикализм победит? Тогда начнутся величайшие конфликты». — An Edwin Freiherr von Manteuffel. 13. Juni 1873. — L. v. R a n k e «Neue Briffe, gesammelt und bearbeitet von B. Helft», Hamburg, 1949, S. 602.

[48]) Ibidem., S. 600—601.

[49]) Цит. по Е. Щепкину, Автобиография Ранке. «Русская мысль», кн. II, 1894, стр. 43.

[50]) An Käiser Wilhelm I. 22. März 1871. — L. v. R a n k e, «Neue Briefe», S. 548.

[51]) A. D o v e, Ausgewählte Schriftchen. Vernehmlich historischen Inhalts. Leipzig, 1898, S. 185.

[52]) An König. Wilhelm. 15. November 1852. — L. v. R a n k e, «Neue Briefe»., S. 361. «Для меня, — писал Ранке, посылая третью главу «Французской истории», — было бы высшей оценкой узнать мнение Вашего королевского величества о том, понял ли я Людовика XIV, «великого человека...», An König Wilhelm IV, 22. März 1855. — «Neue Briefe», S. 368.

[53]) An E. Freiherr von Manteuffel. — «Neue Briefe», S. 601. См. также An Edwin Freiherr von Manteuffel, 3. Juli 1865, ibid., S. 446.

Отмеченные черты политической идеологии Ранке были во многом свойственны историкам консервативного направления в немецкой историографии первой половины XIX в. Эти черты во многом сохранились у Ранке и в последующие десятилетия. Именно поэтому в ряде случаев те отклики, которые вызывали у него политические события 60—70-х гг. XIX в., не были вполне тождественны с политической позицией лидеров «малогерманской исторической школы».[54])

Выдвигая в 1832 г. в качестве задачи своего журнала восхваление прусской монархии, Ранке в то же время отмечал, что система территориальных княжеств в Германии удовлетворяет важнейшему принципу государства — силе. Немецкие княжества, по мнению Ранке, должны лишь использовать «преимущества автономии»[55]). Содержавшаяся здесь мысль с особой четкостью высказывается Ранке в 60—70-е годы в переписке с прусским государственным деятелем Мантейфелем. Ранке не допускает мысли о возможности преобладающего влияния Австрии в Германии. По мнению Ранке, Пруссия может существовать только в состоянии антагонизма с Австрией.[56]) Выступая против гегемонии Австрии, Ранке в то же время отрицательно относится к присоединению Пруссией других немецких государств: «...мы не думаем ни о каких территориальных приращениях».[57]) Ранке одобряет отклонение короны Фридрихом Вильгельмом IV, предложенной ему Национальным собранием во Франкфурте в 1848 г., хотя здесь, несомненно, имело значение, кто предлагал корону. Напуганный революцией 1848 г., Ранке не уверен в будущем, преобразования страшат его, так как они могут явиться, по его мнению, источником новых потрясений: «Что, если все снова придет к взрыву?»[58]) Борьба Пруссии за преобладание в Германии вызывала у Ранке неуверенность в благоприятном исходе ее для Пруссии.[59])

Именно в это опасное, по мнению Ранке, время следует остерегаться допускать к управлению народ[60]). Австро-прусскую войну 1866 г. Ранке оценил как опасное вовлечение Пруссии в «громадную борьбу».[61]) Успешные военные действия Пруссии в войне уменьшали его колебания, однако он сожалеет об аннексированных Пруссией государствах, в частности, о Ганновере.[62]) «Не является ли на деле положение таким,

---

[54]) Выясняя корни исторической идеологии, служившей в первой мировой войне немецкому империализму, В. П. Бузескул отмечает, что уже Ранке придавал огромное значение силе в государстве, его армии. Примат внешней политики,, восхваление моральной энергии, как проявления мощи государства, героизация войны (См. «Politisches Gespräch.—L. v. Ranke, Geschichte und Politik, Stuttgart, 1949, S. 97—106) вытекали из ранкеанского понимания государства, как индивидуальной духовной силы божественного происхождения. Однако это нельзя выдать за неоспоримый и достаточный аргумент в пользу того взгляда, что Ранке уже в 1848 г. видел необходимость объединения Германии военным путем на прусской основе, как об этом пишет Бузескул (В. П. Бузескул. Современная Германия и немецкая историческая наука XIX в. Петроград, 1915, стр. 13—15). Следуя этому взгляду, необходимо было бы признать, что Ранке предвосхитил Бисмарка, что противоречит действительному отношению Ранке к Бисмарку до момента окончательной победы последнего. Ранке не уставал говорить и писать об армии, как основном атрибуте государства («Politisches Gespräch», S. 96—106; «Einleitung zur historisch — politischen Zeitschrift». — S. W. Bd. 49—50. Leipzig, 1887. S. 6—7; An Edwin Freiherr von Manteuffel. 14. Januar 1879. — «Neue Briefe»), но это не предполагало объединение Германии вокруг Пруссии.

[55]) L. v. Ranke, Einleitung zur «Historisch-Politischen Zeitschrift». — S. W. Bd. 49—50, Leipzig, 1887, S. 6.

[56]) An Edwin Freiherr von Manteuffel, 12. Juli 1852. «Neue Briefe»,S.345.

[57]) Ibid., S. 345.

[58]) Ibid., S. 345. См. об этом же: — An Edwin Freiherr von Manteuffel. 9. Juli 1861. — «Neue Briefe», S. 406.

[59]) См. напр., An Edwin Freiherr von Manteuffel. 22. Mai 1866 «Neue Briefe». S. 463.

[60]) An Edwin Freiherr von Manteuffel, 2. Oktober 1865., «Neue Briefe», S. 456.

[61]) An Edwin Freiherr von Manteuffel, 22. Mai 1863. — «Neue Briefe», S. 49.

[62]) An Edwin Freiherr von Manteuffel, 26. Mai 1867. — «Neue Briefe», S. 497. 63.

что мы со времени Пражского мира попали в лабиринт, из которого выход — пропасть?»[63]). Ранке весьма определенно заявляет, что победа над Австрией и последовавшее затем присоединение немецких государств к Пруссии подменяет государство союзом, приближает демократию к государству.[64]) Ранке отрицательно относился к конституционным ограничениям монархической власти, хотя признавал необходимость изменений с тем расчетом, чтобы привести основы монархии в соответствие со временем.[65])

В соответствии с этими взглядами находится отношение Ранке к франко-прусской войне. Главной задачей Пруссии в этой войне, миссией, которая «выпала на долю прусскому государству», является прежде всего сокрушение «попытки всеобщей республики».[66]) Более близко Ранке подходит к определению подлинных, с точки зрения немецкой буржуазии, целей войны, когда рассматривает ее как борьбу против «духа Людовика XIV», хотя в понятие «дух» он вкладывает не только элемент отторжения немецких земель. «Мы имеем, по крайней мере, то преимущество, что боремся за институты, связанные с историческим развитием мира».[67]) Сведение в значительной степени целей войны к борьбе с ненавистными Ранке формами государственного устройства не соответствовало интересам немецкой буржуазии, видевшей в войне устранение препятствия объединению страны.

На Ранке, как и на большинство немецких историков середины 60—70-х гг. XIX в., важнейшая задача Германии — необходимость объединения страны — оказала влияние прежде всего в том отношении, что предметом его историографии является история государства и его политики. Однако современной действительностью Германии обусловлен лишь объект историографии Ранке; нет оснований утверждать, что он делал какие-либо определенные выводы в пользу объединения страны путем «Machtpolitik». Наоборот, позиция Ранке в 60—70-е гг. свидетельствует о непонимании им необходимости объединения, а следовательно, и его путей и методов.[68]) Ранке писал льстивые письма Бисмарку и Вильгельму I, но при всем том он избегал открытых выступлений в духе Зибеля и Трейчке, которые были на стороне Бисмарка уже во время австро-прусской войны.[69]) И лишь когда бисмарковский путь объединения Германии окончательно победил, Ранке открыто встал на сторону Бисмарка. В созданной бисмарковскими методами Германской империи Ранке видел возрождение немецкого райха и оценивал это как факт величайшего значения.[70]) Ранке, по существу, оправдал бисмар-

[63]) An Edwin Freiherr vor Mant. vor dem. 4. Oktober 1869, — «Neue Briefe», S. 527.

[64]) Ibid., S. 527—528. См. также его рассуждения о необходимости сосредоточения в руках короля финансовых и военных функций «An Edwin Freiherr von Manteuffel vor dem. 10. September, 1871», S. 560—561.

[65]) Ibid., S. 561—562. См. также H. O. Sieburg, op. cit. S. 255.

[66]) An Edwin Freiherr von Manteuffel. 20, XI, 1870. — «Neue Briefe», S. 543—544.

[67]) «An Edwin Freiherr von Manteuffel», 20. XI, 1870, ibid. S. 544.

[68]) Интересную попытку показать своеобразие позиции Ранке по вопросу объединения Германии предпринял В. Моммзен (W. Mommsen. Stein, Ranke. Bismark. Ein Beitrag zur Politischen und sozialen Bewegung des 19. Jahrhunderts. München, 1954). Рассматривая отношение Ранке в период редактирования им Historisch-Politischen Zeitschrift» к социальным проблемам, политическую позицию этого историка перед революцией 1848 г. и после нее, автор пришел к выводу, что Ранке была чужда идея объединения Германии «прусским» путем. По мнению автора, единство немцев для Ранке выступало как «духовный или религиозный вопрос» (S. 111). Отвлекаясь от политической задачи, которой служит рассмотрение отношения Ранке к «немецкому вопросу» и связанного с этим в отдельных случаях модернизированного истолкования взглядов Ранке, следует признать верность основного вывода Моммзена.

[69]) В. П. Бузескул. Современная Германия..., стр. 18, 48—50.

[70]) L. v. Ranke. Rede zur Eröffnung der XII. Plenarversammlung am. 27. September 1871. — S. W. Bd. 51—52, Leipzig, 1888, S. 577.

ковский метод «железа и крови», считая, что для объединения нужны были не советы, а «великое действие», преобладание общих интересов над местными, но без уничтожения последних.[71])

Все сказанное выше позволяет утверждать, что политическим идеалом Ранке была Пруссия времени территориальной раздробленности Германии на ряд княжеств-государств. Реакция Ранке на развивавшиеся события обнаруживает в нем типичного выразителя интересов князей и старопрусского юнкерства. Этим объясняется крайний консерватизм взглядов Ранке — историка, не поднявшегося до полного понимания интересов и запросов немецкой буржуазии даже ко времени победы буржуазного развития Германии.[72]) Старопрусский фундамент мировоззрения — а не надклассовая позиция — были исходным пунктом научной деятельности Ранке, и на исторические явления он смотрел — большую часть своей жизни — через призму старопрусских общественных отношений.

Если защита классовых интересов прусского юнкерства, свидетельствующая о месте Ранке в современной ему исторической действительности и в идеологической борьбе, видна в его политических взглядах, то не менее отчетливо проявляется она и в теоретико-методологических принципах его исторической концепции. Ранкеанское понимание исторического процесса определилось в наиболее общей форме в развиваемых им взглядах на прогресс в истории, взглядах, априорной основой которых является идеализм. Каков же прогресс в истории с точки зрения Ранке?

Движущей силой исторического развития, по Ранке, не является ни «всем руководящая воля», способствующая «ходу развития человеческого рода от одной точки к другой», ни «духовное влечение человечества, которое (духовное влечение) с необходимостью направляет обстоятельства к определенной цели».[73]) Прогресс в истории, говорит Ранке, не является всеобъемлющим; последовательно развивающаяся духовная сила есть только у народов, содержащих элементы романской и германской наций. Именно эта группа народов олицетворяет собой историческое развитие, другие народы остаются вне его. Однако ошибочно полагать, утверждает Ранке, что в каждую эпоху человечество достигает более высокой ступени в своем развитии, что всякое новое поколение во всех отношениях превосходит предыдущее. Это было бы несправедливостью со стороны божества. «Каждая эпоха, — говорит Ранке, — стоит в непосредственном отношении к богу, и ее ценность основывается вовсе не на том, что из нее выйдет, а на ее существовании, на ее собственном «я».[74])

Божество, существуя вне времени, обозревает все человечество в целом. Прогресс покоится на том, что великие духовные тенденции, господствующие над человечеством, то расходятся, то встречаются. Сами эти тенденции суть не что иное, как манифестация бога в истории.[75]) В каждой эпохе человечества проявляется, таким образом, определенная великая духовная тенденция, и прогресс покоится на том, «что

---

[71]) Ibid., S. 576.

[72]) Ранке был далек от понимания подлинного смысла капиталистических изменений в экономике Европы и Германии. Развитие капитализма Ранке воспринимал враждебно, усматривая в этом корни «революционных и коммунистических элементов» (Фиргаус цитирует недатированное место из Nachlass'a Ранке,—R. V i e r h a u s. Ranke und die soziale Welt. Neues Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung. Bd. 1, 1957, S. 36).

[73]) Л. Р а н к е. Об эпохах новой истории. М., 1898, стр. 2.

[74]) Там же, стр. 4.

[75]) L. v. R a n k e, Am neunzigsten Geburtstag. — S. W. Bd. 51. 52, S. 593—594.

известное движение человеческого духа обнаруживается в каждом периоде, выдвигая то одну, то другую тенденцию и своеобразно преломляясь в ней».[76]) Каждая последующая тенденция не включает, согласно Ранке, элементов какого-либо превосходства по сравнению с предыдущей, хотя «несомненный прогресс... заметен и на всем протяжении истории в области материальных интересов...». В нравственном же отношении нельзя проследить прогресса вообще, идеи могут развиваться экстенсивно.[77]) Христианство, например, в своем роде непревзойдено, оно, как и все творения гения, носит на себе печать непосредственного озарения.[78]) Фукидид, продолжает Ранке, тоже остался в своем роде непревзойденным.[79])

Взгляды Ранке на прогресс в истории обусловлены его религиозными общемировоззренческими представлениями: из истории неустраним бог. Благодаря этому исторический процесс, по Ранке, свободен от наличия каких-либо законов, внутренне ему присущих. Самое большее, что допускает Ранке в этом отношении, это наличие нам неизвестных[80]) законов, которые не могут ни существовать, ни мыслиться изолированно от «божественной идеи». Эти законы оказываются трансцендентными по отношению к конкретному созерцаемому миру истории.

Отношение к прогрессу в истории, представляющее собой ранкеанское решение коренных вопросов философии, не может рассматриваться изолированно от социально-политических взглядов Ранке, порожденных окружающими его общественно-историческими отношениями. Мерой оценки исторического развития были для Ранке религиозные позиции, с которых он подходил к рассмотрению прогресса в истории. Принимая во внимание политическую идеологию Ранке, можно утверждать, что основой отрицания прогресса в истории был старопрусский фундамент мировоззрения Ранке, его отрицательное отношение к просветителям, ко всякому демократическому и либеральному движению вообще. Именно в силу старопрусской основы мировоззрения Ранке для него была неприемлема теория прогресса в ее буржуазной форме.

Общеисторические и философские взгляды Ранке сложились под определяющим влиянием, с одной стороны, протестантски-религиозных традиций, господствовавших в Пруссии в это время, с другой — идеалистической немецкой философии. Историческая концепция Ранке, подобно гегелевской, была европоцентристской, сущностью которой было националистическое превознесение немецкого элемента, «немецкого духа». «Дух» для Ранке — непознаваемая божественная идея, определяющим образом влияющая на исторический процесс. Именно в этом коренится отрицание роли материальных отношений в общественной жизни, отрицание, выступающее в произведениях Ранке в форме игнорирования социально-экономической тематики.

В силу этого признание прогресса в материальной сфере жизни не может быть распространено, на взгляд Ранке, на прогресс истории вообще, так как область материального мыслится им лишь как второстепенная. Что же касается прогресса в духовной сфере жизни, то здесь ранкеанское понимание прогресса лишено своего обычного смысла. Не останавливаясь специально на этом, мы лишь отметим, что, например, положение Ранке — Фукидид остался в своем роде непревзой-

---

[76]) Об эпохах новой истории. М. 1898, стр. 5.
[77]) Там же, стр. 4.
[78]) Там же, стр. 7.
[79]) Там же, стр. 9.
[80]) Там же, стр. 6.

денным — не опровергает общего прогрессивного развития исторической науки, наблюдаемого от античности и до наших дней.

Главное отличие Ранке от представителей идеалистической немецкой философии в вопросе о сущности исторического процесса состояло в том, что его представления о нем были в гораздо меньшей степени «отеоретизированы». В этом отношении борьба Ранке против философских «догм» и теорий не лишена определенного положительного содержания. Для ранкеанского понимания хода исторического развития весьма характерно его отношение к Гегелю. Ранке отвергает абсолютный идеализм Гегеля, по которому «только идея имела бы самостоятельную жизнь». «В схоластике погибает жизнь»[81]), — заявляет Ранке. В критике гегелевского априоризма обнаруживается взгляд на историческую природу общественного бытия, взгляд на историю, как на совокупность эмпирически данных фактов и явлений исторической деятельности. За пределами субъективной стороны познания у Ранке речь идет о конкретных исторических событиях, о действительной истории, хотя и понимаемой лишь как совокупность количественных изменений в жизни человечества. В этом смысле Ранке считает возможным утверждать познаваемость объекта исторической науки.[82])

Это, конечно, не исключало того, что Ранке отвергает гегелевское учение о закономерном и диалектическом характере общественного развития. Именно здесь, в признании закономерного и диалектического хода исторического развития, Гегель был для Ранке «рационалистом», олицетворявшим своей теорией «спекулятивную идею», и критиковался им с позиций и в духе реакционной романтической историографии. Рационализм Гегеля заключал в себе не только утверждение о закономерном развитии истории, но и столь противный исторической концепции Ранке «дух XVIII столетия» — признание всемирного характера исторического процесса как некоторого единства. Между тем, по мнению Ранке, ошибка философов XVIII в. состояла в их «универсальной доктрине».[83]) Но при всем том не история, объективирующаяся в абсолютном духе, идее и т. д., а действительные исторические события являются объектом историографии Ранке. Это не может не учитываться при рассмотрении теоретико-методологических принципов его исторической концепции, так как искажения Ранке современными буржуазными историками часто идет (например, у Гейла) по линии преувеличения мистически-трансцендентальных моментов в его взглядах.

Но это только одна сторона философско-исторических взглядов Ранке. Стремление этого историка рассматривать исторический процесс как живой, поддающийся созерцанию мир явлений, утверждение об объективной предметности исторического познания столь же очевидно дополняются у Ранке необходимостью теистической веры при подходе к явлениям исторической действительности. Необходимость этого обусловлена, согласно Ранке, тем, что совершающееся развитие в действительном мире исторической эмпирии несвободно от вмешательства трансцендентных сил, определяющих направление и характер этого развития. В его общеисторической концепции не мыслится историческая действительность без существования бога, не отождествляемого Ранке с самой этой действительностью. В связи с этим Ранке выделял в исторической действительности духовное и материальное, причем преиму-

---

[81]) Л. Ранке. Об эпохах..., стр. 6.

[82]) L. v. Ranke. Über die Verwandtschaft und den Unterschied... — «Geschichte und Politik», S. 119.

[83]) L. v. Ranke. Über die Verwandtschaft und den Unterschied der Historie und der Politik — «Geschichte und Politik», S. 130—131.

щественное значение, по Ранке, имело все относящееся к сфере идеального. Сфера духовного, идеального не представлялась Ранке изолированной от божественного. Религиозные, философские, вообще идеологические явления так или иначе связаны с божественным, так как они — область идеального. Это — мистически-трансцендентальный момент в мировоззренческих и общеисторических взглядах Ранке.

При рассмотрении руководящих теоретических принципов исторической концепции Ранке недопустимо игнорирование или абсолютизация ни тех мыслей Ранке, где он стремится стать на почву действительной истории, ни те, где, в конечном итоге, он утверждает необходимость замены исторического знания верой: первых — потому, что это — существенная часть его коренных методологических принципов (объективизма, представления об истории, как совокупности индивидуального), вторые же составляют неотъемлемый элемент его мировоззрения. Они связаны и взаимообусловливают друг друга не только в методологии Ранке, но и в его историографической практике. Последняя не может не учитываться при изучении методологии Ранке не только потому, что она — критерий теоретических положений, но и потому, что в ней Ранке гораздо чаще стоит на рационалистических позициях, чем это следует из его теоретико-методологических принципов.

И лишь в особо сложных случаях, при объяснении сложных исторических явлений или целых комплексов исторических событий он апеллирует к сверхестественным силам. Объяснение исторического развития и проникновению в глубокую основу исторического процесса, в сущность и происхождение государства, с точки зрения Ранке, недоступны средствам научно-исторического познания. Смена эпох определяется необходимостью, которая не заключена в сущности сменяемой эпохи; эта необходимость трансцендентна. Поэтому, с точки зрения Ранке, историк перестает быть историком, если он сосредоточивает свое внимание на связи вещей; каждая эпоха в соответствии с этим имеет значение и смысл лишь в своей индивидуальности, хотя отрицание Ранке преемственности в историческом развитии не было абсолютным[84]).

Теологические позиции Ранке проявляются и в решении им проблемы свободы и необходимости, сама постановка которой свидетельствует о зависимости взглядов автора от идеалистической немецкой философии. Свобода, по мнению Ранке, «проявляется больше в личностях, необходимость — в жизни общества»[85]). Участие, которое принимает личность в жизни общества, определяется его собственными стремлениями, но одновременно оно зависит от обстоятельств, окружающих эту личность. Существующие отношения, являющиеся, по Ранке, результатом «действия и противодействия»[86]), осуществляются с необходимостью «закона духовного развития мира», которого (т. е. закона) люди не в состоянии «поколебать»[87]). Сфера человеческой

[84]) Современная неоидеалистическая историография приписывает огромное значение ранкеанскому пониманию развития и его взглядам на прогресс. Представление Ранке об индивидуальном, пишет Мейнеке, дает огромное облегчение историку, так как он «видит ценность каждого исторического феномена в нем самом, а не в том, что из него делает сцепление обстоятельств» (F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte, S. 119). Это — попытка уйти от анализа хода исторического развития, неоспоримо свидетельствующего о постоянной смене одних отживающих общественных форм, другими, исторически прогрессивными. Теория прогресса Ранке, пишет Мейнеке, направлена прежде всего против утверждения о прогрессивном характере развития. Попытки доказать такое развитие «остаются проблематичными... так как нет всеобще принятого масштаба, с помощью которого этот прогресс можно было бы измерить».

[85]) L. v. Ranke. Historisch- biographische Studien. Leipzig, 1877, S. 11.

[86]) Ibid., S. V.

[87]) Цит. у L. v. Muralt. Die Historiker und die Geschichte. Zürich, 1960, S. 30.

свободы, перенесенная к тому же в область духовного, т. е. созерцания, а не действия, оказывается сведенной на нет. Указание на неабсолютный характер необходимости, рассмотрение истории как арены свободы[88]) не отменяют в конечном итоге этого коренного вывода Ранке. При этом, конечно, необходимость не может быть понимаема в детерминистическом смысле.

В конечном итоге сфера человеческой свободы ограничивается созерцанием совершающейся необходимости; это — и общий вывод немецкой философии (Шеллинг, Фихте, Гегель) из попытки решить проблему свободы и необходимости. Историческая действительность рассматривается Ранке только в форме «объекта»: деятельность самого «субъекта» истории, общественного человека отрывается от ее действительного результата, от тех общественных отношений, учреждений, в которых сама деятельность выражается. К Ранке поэтому с полным основанием могут быть отнесены слова Маркса, обращенные к «объективной» историографии: «Так называемая объективная историография заключалась именно в том, чтобы рассматривать исторические отношения в отрыве от деятельности. Реакционный характер»[89]). Идея провиденциализма с неизбежностью приводила к толкованию исторического процесса как проявления божественного духа, обнаруживающегося в деятельности выдающихся личностей, сосредоточивающих в себе все идеи и тенденции эпохи[90]).

На основе такого представления об историческом процессе задача историка могла быть определена лишь как описание прошлого. Историк может и должен познать историческое прошлое, не делая при этом из него никаких выводов на будущее и не сообразуясь с личными устремлениями. К этому выводу Ранке пришел уже в самом начале своей научно-исторической деятельности, в 1824 г. Он писал: «Исторической науке приписывали задачу, руководствуясь прошлым, поучать современников для пользы будущего: такой возвышенной цели предлагаемое сочинение не ставит; оно хочет лишь показать, как было в действительности... Строгое изложение фактов, каково бы ни было их содержание, есть, несомненно, высший закон»[91]).

Принцип «объективного» изучения, составляющий основную мысль приведенных высказываний Ранке, проистекал из идеалистически трактуемой природы исторического знания, которая в свою очередь была предопределена фидеистическим представлением об историческом процессе. Историческое знание — «...часть божественного знания... Кто может спрашивать, полезно оно или нет? Достаточно признать, что такое знание, как никакое другое, способствует совершенству человеческого духа»[92]). Поэтому задача исторического сочинения — подняться до уровня «чистого» исследования, «только в чистом изложении может она (т. е. историческая наука. — *Н. С.*), существовать»[93]). История может и должна быть объективным знанием; научность — в точных критических методах исследования. «...В истории надо избегать всего, что существенно отклоняется от достоверной передачи фактов»[94]). Принцип

---

[88]) L. v. Ranke. Weltgeschichte, Bd. IX, 2. S. XIII.

[89]) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 3, стр. 39. Примечание.

[90]) Практическим воплощением государственной идеи, по Ранке, является государственная личность. — L. v. Ranke, Geschichte und Politik, S. 75—76.

[91]) L. v. Ranke, Zur Kritik neurer Geschichtschreiber. — S. W. Bd. 33—34, S. VII.

[92]) L. v. Ranke, Über die Verwandtschaft..., — «Geschichte und Politik», S. 122.

[93]) L. v. Ranke, Allgemeine Bemerkungen 1831—1849. S. W. Bd. 53—54, Leipzig, 1890, S. 669.

[94]) L. v. Ranke, Am neunzigsten Geburtstag. S. W. Bd. 53—54. S. 596.

«объективного изучения» у Ранке исходит из необходимости возможно более полного охвата и изучения исторических событий, фактов, основательного «изучения единичного»[95]).

Уже в предисловии к своему первому труду Ранке заявил о необходимости изучения единичного, индивидуального, что, по его мнению, могло быть полностью отнесено к историческим событиям[96]). То преклонение перед фактом, о котором писали историки[97]), у Ранке совершенно неслучайно и коренится в том, что общественная жизнь, являющаяся предметом исторической науки, складывается из единичных событий. Философии истории Гегеля, как «спекулятивной мысли», Ранке противопоставляет эмпиризм, историю как совокупность индивидуальных фактов и событий. Он усматривал в этом вернейший путь к достижению исторической истины. Сторонник объективизма Ранке, А. Дове, писал, что исторические сочинения Ранке выделяют особенное и всеобщее в истории[98]). Однако в действительности Ранке было чуждо понимание диалектики общего и единичного, ведущее к подведению единичных событий под более общие категории, к признанию законов, управляющих этими событиями. То общее, о котором идет речь у Ранке, есть не что иное, как простая совокупность индивидуального; таково, например, даже понимание всемирной истории у Ранке.

Комментируя одно из мест работы Гервинуса об истории XIX в., которое содержит в себе понимание истории как закономерного хода событий, Ранке замечает, что это нельзя читать без удивления[99]). Историческое развитие государства и народов, утверждает Ранке, не может выступать как закономерный процесс, так как оно содержит в себе черты бесконечного разнообразия и отсутствие какой-либо общности. Поэтому, в частности, историческое сочинение должно быть направлено к тому, чтобы познать различие между эпохами[100]).

Представление Ранке об исторических событиях исходит, таким образом, из того, что каждое событие индивидуально, оно — единственный в своем роде факт, не имеющий в своей конкретности аналогии.

Отрицание законов развития истории осуществлялось Ранке в историографической практике путем толкования истории как совокупности огромного количества фактов, не имеющих ничего общего, типического, что говорило бы за подчинение их каким-либо законам. Это — не только постулирование определенного принципа исторической концепции, а именно — идиографизма, но и выражение полного неумения овладеть эмпирически данными обстоятельствами и фактами исторической действительности. Это — свидетельство того, что историк остался на поверхности фактов, не будучи в состоянии объяснить их и, выяснив каузальные связи, указать их место в ряду других событий. Установление истинности исторических фактов, критический анализ их является не заключительным, как утверждал Ранке, а лишь начальным этапом адекватно-научного изображения картины исторической действительности[101]).

Такое отображение достижимо лишь при сочетании совершенной методики исторического исследования с передовой научной методоло-

---

[95]) L. v. Ranke, Zur Kritik..., S. W. Bd. 33—34, S. 24.

[96]) Ibidem. S. VIII.

[97]) См. напр., В. П. Бузескул. Леопольд Ранке. «Исторические этюды», С. Петербург, 1911, стр. 184.

[98]) A. Dove. Ausgewählte Schriftchen. Vornehmlich historischen Inhalts. S. 184.

[99]) L. v. Ranke. Rede zur Eröffnung der XII. Plenarversammlung am 27. September, 1871. — S. W. Bd. 51—52, S. 571.

[100]) Ibidem, S. 572.

[101]) Сведение научности исторического познания к точным критическим методам

гией. Стремление ограничить средства историка в его научной работе «техникой исторического исследования» при отсутствии объективно-научного критерия анализа и отбора фактов ставило Ранке перед необходимостью полного охвата всех и всяческих событий и фактов, относящихся к избранному сюжету, — задачей, столько же ненужной, сколько и неосуществимой. Огромные затруднения, которые Ранке испытывал при проведении своего принципа в конкретных исследованиях и которых он не скрывал, заключаются не только в освобождении исторического факта от сознательных или несознательных искажений (задачи, действительно, сложной), но и в необходимости определенного отбора фактов, их группировки и расположения, попытки их объяснения. Несомненно, что в своей исторической концепции Ранке с самого начала стремился дать ответ на вопрос, при каком условии и как история может и должна стать подлинной наукой. Недостаточность постановки этого вопроса в той форме, в какой мы наблюдаем у Ранке, не менее очевидна, чем ее значение: в самом деле, нельзя предложить действительно научный метод познания исторической действительности, не стремясь к превращению истории в подлинную науку, точно так же, как это стремление само по себе еще не является достаточным основанием для такого превращения.

Ранке стремился решать проблему объективности исторического познания, не выходя за пределы субъективного познания историка, без рассмотрения инструмента исторического познания как метода, имеющего в своей основе внешне — по отношению к самому познанию историка — объективные связи. Критерий объективности исторического познания Ранке видел в нем самом: это стремление историка к истине, личная добросовестность историка и т. д. В вопросе об идиографическом методе изображения исторических событий объективизм Ранке, следовательно, смыкается с субъективизмом: объективно-научный критерий отбора фактов заменен здесь личным устремлением историка к истине, которое само по себе ни в коей мере не является надежным средством, предупреждающим от заблуждений и искажения исторического материала. Проблема отношения общего и единичного с методологических позиций Ранке оказывается в конечном счете неразрешимой, так как нельзя признать научным решение, абсолютизирующее единичное, вырывающее его из более широких объективных связей.

В основе ранкеанского решения проблемы общего и особенного лежит крайне примитивное представление об историческом факте; это — метафизический эмпиризм, объясняющийся, с одной стороны, общим состоянием домарксистской исторической мысли первой половины XIX в., а с другой — предметом исторических работ Ранке: военно-дипломатической, политической истории. Историческая наука первой половины XIX в. — и не только политическая историография — развивалась под знаком именно такого представления об историческом факте. Метафизический эмпиризм не был открытием Ранке, но бесспорно, что в его сочинениях на этой основе построены не только руководящие теоретические принципы исторической концепции, но и сами конкретно-исторические исследования являются воплощением метафизического взгляда на предмет исторического исследования. Значение

исследования не означало в действительности, что Ранке остановился на этой ступени исторического познания; ранкеанская интерпретация исторических фактов, его попытки объяснения исторических событий находятся в полном соответствии с теми теоретическими основами, с которых подходит этот историк к изучению общественных явлений прошлого и современности (см. напр. L. v. Ranke. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Bd. II. Leipzig, 1867, S. 128—129).

такого представления об историческом факте очевидно: историческое исследование базировалось на твердой основе, для Ранке поэтому становилось возможным говорить об истории как науке, имеющей своей коренной задачей отыскание объективной исторической истины.

В представлениях историков первой половины XIX в. историческая наука не отличалась от других наук в том отношении, что имела в качестве своей основы эмпирический материал, данный в действительности, а не в сознании ученого. Но, с другой стороны, вопрос, кажущийся давно и навсегда решенным, должен был обнаружить и обнаружил в действительности для буржуазной историографии в конце XIX — начале XX вв. свои сложные стороны, превратившие его в дискуссионную проблему первостепенного значения. Постановка и разрешение этой проблемы не могли идти изолированно от критики прежних представлений, с которыми имя Ранке оказалось связанным так же прочно, как если бы это было его собственное открытие; это, в частности, объясняет интерес к Ранке у представителей презентистско-прагматических взглядов среди историков Англии и США.

Для понимания теоретических принципов исторической концепции Ранке важное значение имеет рассмотрение одного из аспектов проблемы общего и особенного в произведениях этого историка — вопроса о роли личности в истории. Самой общей чертой исторических сочинений Ранке, признаваемой не только марксистами, но и частью буржуазных историков, является сведение истории к описанию действий выдающихся личностей. Задачей исторической науки, по мнению Ранке, является применение биографического подхода при изучении явлений исторической действительности; при таком подходе историческое произведение, по мнению Ранке, будет отражать многообразие исторической действительности[102]). Биографический момент имел для Ранке не меньшее значение, чем его убеждение об индивидуальном и единичном характере событий исторической действительности: биография «одновременно является и историей; они идут рука об руку»[103]). Осуществлением связи исторического и биографического с позиций методологии Ранке являются не только его исторические сочинения, но и созданная по его инициативе «Allgemeine Deutsche Biographie». Оказывая непосредственное влияние на это издание, Ранке предлагал писать биографии «знаменитых немцев»[104]).

Говоря о причинах биографического подхода к истории, Ранке указывал, что проникновение в историю личности является важнейшей задачей, доставляющей к тому же и большое удовольствие. Разумеется, такое «объяснение» ровным счетом ничего не объясняет. Биографический момент в исторических сочинениях Ранке выполняет гораздо более важную задачу, чем «доставление простого удовольствия» историку. «Психологический момент у Дон-Карлоса, — пишет Ранке, — связан с другим, представляющим большой исторический интерес. С принцем Дон-Карлосом связана судьба испанской монархии, всеобщие конфликты, двигающие мир, касаются существа его бытия; его развитие должно было бы стать всемирно-историческим, если бы оно было счастливым»[105]).

Биографический подход к истории является, таким образом, у Ранке выражением отрицания любых других движущих сил истории, кроме полководцев и королей, исполнителей воли божьей. В биогра-

[102]) A. Dove. Ausgewählte Schriftchen, S. 206.
[103]) Ibidem, S. 215.
[104]) Ibidem, S. 220—221.
[105]) Ibidem, S. 210.

фию Фридриха Вильгельма IV вложен тот смысл, что его действия образуют один из важнейших моментов всеобщей и национальной истории[106]). Возражая Тьеру, утверждавшему, что во французской нации народ стоит выше императора, Ранке писал: «Мне кажется, что настоящее место короля не таково»[107]). В этом отношении исторические сочинения Ранке явно принадлежат к направлению героистической историографии.

При этом, согласно Ранке, ни великая личность, ни ее поступки не могут быть предметом морального суждения и моральной оценки. Свое отношение к государственным деятелям Ранке в полной мере выразил в словах: «К счастью, не является задачей историка судить о правомочности притязаний короля». Оценивая такое отношение Ранке к государственным деятелям, Гейл пишет, что оно «несомненно, скрывает в себе опасность ослабления индивидуальной ответственности человека в исторической жизни, и прежде всего ответственности великой исторической личности...»[108]).

Решение Ранке проблемы общего и единичного в исторической науке, его отношение к государственным деятелям, а также ранкеанская теория государства являются выражением индивидуализирующего, идиографического метода, направленного против стремления рассматривать историю как закономерный процесс. С этим методом у Ранке теснейшим образом связано его лютерански-протестантское мировоззрение, утверждающее о недостаточности при познании конкретной эмпирии исторических, рациональных и моральных объективных норм.[109]) Уже здесь, как видно, в наиболее общей форме заложены те идеи, которые были приняты и в значительной степени развиты и дополнены теоретиками немецкого буржуазного историзма В. Дильтеем, Г. Риккертом, В. Виндельбандом и представителями неоидеалистического историзма. Это развитие взглядов Ранке шло преимущественно по линии мистического, иррационалистического истолкования его идей (В. Дильтей и позднее Э. Ротакер, Ф. Мейнеке и др.); оно часто осуществлялось путем «подтягивания» взглядов Ранке до уровня современного состояния теории буржуазной историографии, смыкаясь, таким образом, с антиисторизмом.

Объективизм Ранке был отражением в области исторического исследования его классового мировоззрения. Было бы заблуждением думать, что объективизм Ранке ни в какой степени не связан с дворянскими позициями, на которых этот ученый стоял большую часть своей научно-исторической деятельности. Указанный принцип Ранке выдвинул в 1824 г., когда слабость элементов капиталистического развития Германии не подлежала сомнению[110]) и сам Ранке выступал как выразитель идеологии юнкерства. Практические, политические, служебные цели объективизма Ранке находят свое выражение в апологетике князей[111]) и прусской монархии. Эволюция юнкерства, сраставшегося с буржуазией, обусловила изменение в том же направлении политических взглядов Ранке. Это, однако, не меняло коренного содержания его

---

[106]) L. v. Ranke. Sämmtliche Werke, Bd. 51—52, S. 403—475.

[107]) Ibidem, S. 570.

[108]) P. Geyl. Die Diskussion ohne Ende, S. 9.

[109]) См. его письмо к Отто Ранке от 25. V. 1873. «Das Briefwerk», S. 518—519.

[110]) Объясняя отсутствие немецкой политической экономии в первой трети XIX в., Энгельс писал о наличии средневековых пережитков в экономике страны, «сковывавших до 1830 г. материальное буржуазное развитие Германии». См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 490.

[111]) L. v. Ranke. Frankreich und Deutschland. — «Geschichte und Politik». Stuttgart, 1942, S. 62.

объективизма — апологии существующей действительности. Тем не менее, нельзя согласиться с объяснением объективизма Ранке, данным А. Шаффом. «Теоретической основой лозунга Ранке, — утверждает Шафф, — послужили концепции Виндельбанда и Риккерта, идиографизм»[112]).

Это противоречит не только хронологии, но и отождествляет факторы, которые лежали в основе идиографизма немецкого неокантианства и идиографизма Ранке. Глубокое отличие, имеющееся между концепциями неокантианцев и взглядами Ранке, касается прежде всего вопроса об отношении к законам исторического развития. Это различие объясняется разными идеологическими позициями, которые скрываются за одним и тем же, в конечном счете, решением этой проблемы. Прежде всего идиографические концепции представителей немецкого буржуазного историзма возникли как реакция на материалистическое объяснение истории и выступали под лозунгом опровержения марксизма в вопросе о закономерностях исторического развития. В отрицании законов истории Виндельбандом и Риккертом проявляется общая тенденция буржуазной историографии периода загнивания капитализма: стремление отрицать законы исторического развития, свидетельствующие о преходящем характере капиталистического строя.

Отрицание закономерного развития истории, составляющее конечную цель методологии неокантианства, обусловлено как гносеологией, так и онтологией. Применительно к Ранке вопрос о законах истории решен за пределами его методологии; их отсутствие для Ранке является положением, не требующим особого доказательства. При этом едва ли можно связывать с ранкеанским отрицанием законов исторического развития осознание им классово-буржуазного смысла этого отрицания. Самой глубокой основой отрицания законов истории и прогресса является старопрусская основа мировоззрения Ранке. Если основой объективизма Ранке была социально-политическая природа его взглядов, которая нашла свое выражение в апологетике прусского юнкерства, сменившись затем апологетикой юнкерско-буржуазной Германии, то гносеологически принцип объективизма связан с искажением объективности исторического познания, объективной истины.

Лозунг Ранке «Wie es eigentlich gewesen ist» содержит в себе принцип объективности истины. Однако признание его, с точки зрения научной гносеологии, не предполагает обязательного полного отождествления объективной истины с истиной абсолютной. Отрицание известной относительности процесса познания на каждом данном его этапе выступает у Ранке в форме отрицания прогресса в нравственной среде жизни (отрицания, распространяющегося и на область гуманитарных наук), в понимании произведений гения как результата непосредственного озарения[113]). Критический очерк предшествующей историографии, содержащийся в приложении к первому труду Ранке, требовал лишь освобождения исторических фактов от прямых искажений, достижения «чистой» истины. Объективность истины заключалась в неискаженности фактов источниками или историками; за пределы этого не выходило понимание Ранке истинности результатов исторического познания.

Для Ранке, следовательно, процесс познания — единовременный акт, дающий полное совпадение исторического образа и отражаемого объекта. Однако такое представление об объекте исторического исследования и об отношении к нему познания не могло не привести в ко-

---

[112]) А. Шафф. Объективный характер законов истории. М., 1959, стр. 372.
[113]) Л. Ранке. Об эпохах новой истории, стр. 9.

нечном счете к отрыву содержания исторических понятий от объективной исторической действительности. Стремление к достижению объективно-истинного изображения рассматриваемого исторического явления или целой группы явлений при одновременном игнорировании всегда существующей разницы между познавательным образом и познаваемым объектом, игнорировании раздвоения «познания человека»[114]) приводило на деле к искаженному изображению исторической действительности.

Путь достижения объективной истины, предложенный Ранке, не мог не привести к искаженному изображению действительности. Игнорируя социальную обусловленность всего исторического познания, видя задачу историка в целенаправленном преодолении всякого влияния на его работу современной общественной борьбы, Ранке не только ставил иллюзорную задачу, но и выдвигал препятствие перед научно-историческим исследованием, так как только сознательно и последовательно руководствуясь интересами передового общественного класса своего времени, историк получает наибольшие в условиях данной эпохи возможности объективно-исторического познания.

Тот объективизм классовой борьбы, о котором говорил В. И. Ленин,[115]) позволяет, с одной стороны, избежать субъективного произвола в изображении картины исторической действительности, а с другой — не ограничивать историческое исследование констатацией исторических явлений и фактов, оставаясь на их поверхности, сбиваясь на точку зрения апологета изображаемых событий, а найти и указать в историческом процессе силы, выражающие действительную логику исторического развития, высказав, таким образом, объективную истину об изображаемом. Объективность научно-исторического познания не отвергает, а предполагает коммунистическую партийность, точку зрения пролетариата как единственно совместимую в наши дни с объективностью в исторической науке, как и в любой другой общественной науке вообще. «Материализм, — писал Ленин, — включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке прямо становиться на точку зрения определенной общественной группы».[116])

Объективизм Ранке исходит из определенного представления об объекте исторической науки и о сущности и отношении к нему исторической познания. Мы отмечали уже рационализм Ранке при изображении конкретных исторических событий. Именно поэтому интерпретация ранкеанского понимания объекта исторической науки как «Real — Geistige»[117]) требует известного ограничения. С традиционной точкой зрения немецкой идеалистической философии Ранке порывал также в том отношении, что для него бог не «имманентен» историческому процессу. Ход исторических событий мог быть изменен под влиянием сверхъестественных сил, но эмпирический характер этих явлений никогда не подвергался Ранке сомнению. Именно в этом пункте Ранке, как мы видели, решительно отмежевывался от объективных идеалистов, справедливо критикуя априоризм Гегеля.

Метафизический эмпиризм Ранке, выражающий его понимание явлений общественной среды, был основой исторического объективизма. В метафизическом эмпиризме с необходимостью заложено отрицание как какой бы то ни было субъективной интерпретации изображаемого,

---

[114]) В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 38, стр. 370.
[115]) В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 18, стр. 302—303.
[116]) В. И. Ленин. Соч. т. I., стр. 380—381.
[117]) H. R. v. Srbik. Geist und Geschichte... S. 259—260. Это определение принадлежит самому Ранке. L. v. Ranke. Geschichte und Politik, S. 94.

так и истолкование истории как «magistra vitae». Поэтому объективизм Ранке означал не недостижимый идеал знания, а конкретную цель; согласно Ранке, объективная истина существует вне ее субъективной формы. «Истина вообще достижима, — писал Ранке, — и может быть выражена словами». Историческое познание не обременено с самого начала субъективными моментами, они лишь привносятся историком, его «я»: мировоззрением, а главным образом — его политическими взглядами.

О том, что именно политической тенденциозностью историка, с точки зрения Ранке, вносился и главный субъективный момент, искажающий объективную историческую истину, говорит ранкеанское решение проблемы взаимоотношения исторической науки и современной ей политики. Современность как объект научно-исторического познания в гораздо большей степени обусловливает, с точки зрения Ранке, его субъективность, чем в любом другом случае[118]). Если отказаться от такой оценки отношения Ранке к роли политических взглядов историка в его научно-исторической работе, то тогда останется необъяснимым не только теоретическое решение Ранке указанной проблемы, но и сама цель ее постановки. При этом убеждение Ранке в невозможности полностью элиминировать из научно-исследовательской работы историка его политические взгляды не является опровержением изложенного ниже ранкеанского понимания объективной истины.

Процесс познания для Ранке является в известном смысле, употребляя современную терминологию, процессом отражения; но сама постановка вопроса об отношении исторического познания и исторической действительности здесь чисто метафизическая, так как для Ранке полное отделение онтологии от гносеологии было фактом само собой разумеющимся. Не подлежит сомнению, что, согласно Ранке, объект познания и познавательный образ в исторической науке связаны лишь в том отношении, что историческая действительность является основой исторического познания. Для Ранке не существовало вопроса даже о какой-либо общности процесса познания и его объекта, т. е. в данном случае исторической действительности. Это и не могло быть иначе: убеждение в незакономерном характере исторической действительности означало и идеалистическое истолкование сущности исторического познания.

Исторический метод Ранке в принципе исключает процесс познания, как движение мысли от незнания к знанию, дающего исторические представления большой сложности и глубины содержания. Процесс познания представлен здесь главным образом как совокупность количественных изменений в представлениях об исторической действительности. Познавательный образ, по Ранке, тем больше приближается к отражаемому объекту, чем большее количество признаков этого последнего заключает он в себе. Однако такой подход к процессу познания в исторической науке означал включение в познавательный образ случайных признаков и черт, с другой стороны, он означал замену сущности явлением.

По Ранке, отход познавательного образа от исторической действительности, все большее движение этого образа в сторону абстракции не приближает его к отражаемому объекту, а отдаляет от него. В этом находит свое объяснение отношение Ранке к теории: метафизический эмпиризм Ранке есть отрыв чувственного от рационального в историческом познании; поэтому Ранке считал необходимым ликвидировать все-

---

[118]) L. v. Ranke. Das Briefwerk, S. 432.

возможные промежуточные звенья между исследуемым объектом и историческим познанием, стремящимся дать объективно-научное изображение этого объекта. Это означало исключение из процесса познания тех его звеньев, которые лишь одни в состоянии раскрыть сущность рассматриваемого исторического явления; это — движение исторического познания от конкретного созерцания к абстрактному мышлению. В конечном итоге здесь Ранке дал в идеалистическом плане ответ на одну из важных проблем в историческом исследовании: о соотношении теоретического и идиографического аспектов в нем; решение ее в ранкеанском духе в разной степени свойственно и многим другим историкам и направлениям буржуазной исторической мысли.

Объективизм Ранке, следовательно, исходит, с одной стороны, из определенного представления об исторической эмпирии; с другой стороны, его основой является провиденциализм. Идея провиденциализма, означающая отказ от моральных оценок и суждений вообще при изображении картины исторической действительности, неотделима от момента апологетики; в этом своем содержании объективизм наиболее очевидно обнаруживает свою социальную функцию. В то же время объективизм, рассматриваемый с этой стороны, означал, по мысли Ранке, исключение субъективного из исторического познания. Естественно, однако, что рассматриваемый принцип не может быть сведен к отказу от оценок идеально-духовного; это лишь одна его сторона, обусловленная мировоззрением Ранке. Такое рассмотрение объективизма означает игнорирование рациональных черт этого принципа и, самое главное, отвлекается от его коренного содержания, выраженного формулой «Wie es eigentlich gewesen ist».

Принцип объективного изучения в методологии Ранке является исходным пунктом решения им проблемы социальной функции историографии, проблемы взаимоотношения истории и политики, так как коренное условие достижения объективности Ранке видел в политическом индифферентизме. «Чистое» знание может быть добыто лишь ценой отказа от узкого партийного взгляда, который Ранке презрительно называет «догмой»,[119]) оно достижимо лишь на пути отказа от привнесения в историческое исследование духа современности, который будет неизбежно партиен и, следовательно, по мнению Ранке, доктринерски узок.

В общем, более широком плане это означало отказ от всякой связи исторической науки и современной ей общественно-исторической практики, политики. Задача историка — «найти верную нить и, следуя этим путем, сказать правду, не считаясь ни с чем».[120]) Стремление изолировать историческую науку от влияния политики Ранке объяснял отрицательным воздействием последней на само историческое познание.[121]) С точки зрения Ранке, историческая истина будет неизбежно искажена, если она будет приспособлена к политической доктрине. Последняя не есть что-то постоянное, раз навсегда данное,[122]) извращение же никогда не может идти, по Ранке, за счет политической доктрины, но всегда за счет исторической истины, которая может принять какое угодно содержание соответственно политическим интересам.

---

[119]) L. v. Ranke, S. W. Bd. 49—50, S. 4.

[120]) L. v. Ranke. Neue Briefe, S. 326. Ранке писал, что вообще не следует бояться противоречить политике, современности. — L. v. Ranke. S. W. Bd. 49—50, S. 5.

[121]) «Система или партия — как можно назвать существующий порядок — легко побуждают недооценивать как плохое, так и достойное похвалы, если это им противоречит» — L. v. Ranke, S. W. Bd. 49—50, S. 4—5.

[122]) Куда придет партийный историк, руководствующийся интересами современности, если «...различные направления (т. е. политика) так часто меняются?» L. v. Ranke, S. W. Bd. 49—50, S. 5.

Неоспоримо, что Ранке здесь верно охарактеризовал положение и роль исторической науки господствующих классов в современной ему общественной жизни. В отношении понимания ее влияния на историческое познание он стоял выше некоторых из своих выдающихся учеников, например, Генриха Зибеля, теснейшая связь которого с политикой Бисмарка, действительно, ни в коей мере не могла служить основанием для подлинной объективной позиции в исторической науке. Однако это относится лишь к постановке вопроса в абстрактной форме; решение проблемы взаимоотношения истории и политики не означало применительно к Ранке теоретического разрыва его с современной политикой, как это следовало ожидать. Напротив, современная Ранке действительность была для него средой, обеспечивающей, по его собственному признанию, возможность объективного взгляда на историю[123]).

Следовательно, значение рассуждений Ранке сводится на нет, во-первых, неосуществимостью идеала Ранке — достижения аполитичности исторического познания, а, во-вторых, тем непреложным фактом, что сам Ранке был неизмеримо далек от этого идеала. Искренне уверенный в правоте своих принципов, Ранке не обнаруживал никакого противоречия у самого себя, как историка, с тем идеалом, к которому он стремился; он также не подвергал сомнению соответствие добытых им результатов объективной исторической действительности[124]). Расхождение между историографическими принципами и историографической практикой Ранке убедительно подтверждает верность марксистско-ленинского положения о неизбежности партийной позиции ученого в классовом обществе: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»[125]).

Следуя мнимой беспартийности, Ранке утверждал, что историческое познание, если оно хочет верно отображать историческую действительность, неизбежно должно стать выше всяких политических интересов, оно не может руководствоваться ими или даже допускать какое-либо их влияние на историческое познание. Историческая истина, история как наука всегда будут, по мысли Ранке, самими собой, если будут избегать влияния конъюнктурных политических интересов. Достаточно просто размышления, чтобы дать картину исторической действительности. Сама история, по мнению Ранке, указывает на необходимость «чистого» познания.

Рассмотренные выше мысли Ранке, которые могут быть охарактеризованы как призыв к «чистой» науке, не отражают полностью ранкеанского решения этой проблемы. В сочинениях Ранке не менее очевидно наличие другого рода высказываний, сводящихся к признанию связи исторического прошлого с современностью.[126]) Эта мысль содержится

---

[123]) L. v. Ranke, S. W. Bd. 53—54, S. 597. Об этом Ранке прямо заявил в своем письме к Вильгельму I от 1/I 1867 г. — «Das Briefwerk», S. 487.

[124]) В предисловии ко второму изданию (октябрь 1874 г.) своей книги «Geschichte der romanischen und germanischen Völker» Ранке указывал, что некоторые положения его книги устарели в свете добытых им новых архивных данных, но он не подвергает сомнению верность своих результатов с точки зрения теоретико-методологических принципов (L. v. Ranke. Geschichte der romanischen und germanischen Völker, Leipzig, 1879. Vorrede zur zweite Ausgabe, S. IX). Верность однажды выдвинутым принципам, отсутствие заметных изменений в методологии на протяжении почти 70-летней научно-исторической деятельности свидетельствуют о твердом убеждении Ранке в их правильности.

[125]) В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 30.

[126]) «...Общественная жизнь в прошлом, изобразить которую — задача историка, внутренне связана с общественной жизнью современности». L. v. Ranke. Rede zur Eröffnung der XII. Plenarversammlung am 27. September 1871. — S. W., Bd. 51—52, Leipzig, 1868, S. 569.

и в его взглядах на прогресс: различие эпох не абсолютно, каждая последующая эпоха содержит в себе какие-то черты преемственности по отношению к предыдущей[127]). Отсюда — сомнение в возможности изучения прошлого без «импульсов, исходящих из современности».[128]) Констатируя связь прошлого и современности, Ранке признавал право на существование за исторической литературой, детерминированной современной исторической ситуацией, и указывал даже, что лучшие сочинения возникли именно таким путем.[129]) Историографию, проникнутую политическим мышлением, ликвидировать, по мнению Ранке, нельзя, но при всем том «всегда остается задача подняться к чистому взгляду» [130]).

Это необходимо, так как при политическом подходе к исторической науке, пишет Ранке, существует большая опасность подчинения фактов политическим взглядам и их искажения. «Гервинус часто повторяет ту мысль, что наука должна вмешиваться в жизнь. Совершенно верно, но чтобы вмешиваться, она прежде всего должна быть наукой; поэтому нельзя точку зрения жизни переносить в науку: тогда жизнь влияет на науку, а не наука на жизнь... Мы можем быть полезными современности только в том случае, если... поднимемся до уровня независимой объективной науки»[131]). Не подлежит сомнению, что Ранке прав, когда считает, что жизненная активность истории должна предполагать в качестве своего неотъемлемого признака ее научность.

Однако это не может рассматриваться вне связи с последующими рассуждениями Ранке, тем более, что позиции, с которых он стремился осуществить эту жизненную активность в исторической науке, антинаучны в своей основе. Рациональное содержание положения о необходимости для истории вмешиваться в жизнь лишается своего смысла, когда становится необходимым выяснение характера истории, удовлетворяющего научной связи ее с жизнью. Необходимый научный характер этой связи предполагает объективное независимое историческое знание, которое, по Ранке, может быть достигнуто лишь путем игнорирования исторической наукой запросов и задач современности. Но при таком игнорировании, вопреки мнению Ранке, принципиально недостижимо установление связи между исторической наукой и жизнью. Положение нисколько не меняет стремления Ранке отгородиться от взгляда, рассматривающего прошлое с точки зрения сегодняшнего дня, которая непрерывно меняется[132]).

Противоречивость приведенных рассуждений Ранке по вопросу о взаимоотношении между историей и политикой является выражением научной несостоятельности исторического объективизма, стремящегося решить проблему социальной функции историографии с позиций аполитизма. Главным доказательством краха такой попытки является сама историографическая практика Ранке, свидетельствующая о невозможности осуществить исторический объективизм, о превращении прокламируемой аполитичности в реакционную политическую тенденциозность. Вместе с тем центр тяжести ранкеанского решения вопроса о взаимоотношении истории и политики лежит не в рассуждениях, делающих уступку действительному отношению исторической науки к современной ей политике, а в рассуждениях, содержащих призыв к обособлению

[127]) Л. Ранке. Об эпохах... стр. 5.
[128]) L. v. Ranke, S. W. Bd. 53—54, S. 569.
[129]) L. v. Ranke, S. W. Bd. 51—52, S. 571.
[130]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 53—54, S. 569.
[131]) L. v. Ranke. S. W. Bd. 51—52, S. 571.
[132]) L. v. Ranke, Rede zur Eröffnung... — S. W. Bd. 51—52, S. 575.

истории, как науки, от политики. Утверждение о действенной роли истории, базирующейся на научных основах, остается благим пожеланием, никогда не осуществимым с позиций исторического объективизма. Стремление сохранить научный характер исторического знания таким путем приводит к его антинаучности, и антикварная ученость, осуществить которую было для Ранке важнейшей задачей, на проверку оказывается реакционной историографией, тесно связанной с запросами определенных классов современности и принесшей в жертву этой связи и научность, и объективность исторического познания.

Усматривая в связи исторической науки с современностью препятствие к достижению объективности исторического познания, Ранке, однако, не отрицал политику, руководствующуюся знанием исторического прошлого. История и политика, по мнению Ранке, имеют весьма существенное сходство, проявляющееся в том, что как та, так и другая имеют дело с исторической действительностью. Поэтому, с точки зрения Ранке, невозможна политика, изолирующаяся от знания прошлого[133]).

Однако выводы, следующие отсюда для политика, Ранке сопровождает оговорками, коренящимися в том, что для политика необходимо точное знание прошлого. Между тем «привлечение истории (т. е. исторического знания.— *Н. С.*) в качестве руководства управлением государства»[134]) осложняется тем, что историк исходит из определенных политических взглядов и ищет в истории нечто иное, согласующееся с его политической доктриной[135]).

Следует иметь в виду ограниченность ранкеанского понимания необходимости руководствоваться знанием исторического прошлого в современной политике. Признавая потребность политического деятеля в знании исторического прошлого, Ранке выступал против стремления делать какие-либо выводы из него для современности, как задачи историка: функция историка мыслилась им, как пассивная передача фактов. При всей абстрактности постановки вопроса, отвлекающейся от выяснения существа политики, руководствующейся историческим знанием, при неизбежности отрыва личности историка от личности, политика, вытекающей отсюда, следует отметить, что значение приведенных рассуждений Ранке не исчерпывается решением лишь этой проблемы. В высшей степени важно другое положение Ранке: «...знание прошлого несовершенно без знакомства с современностью, понимание современности невозможно без знания предыдущего времени»[136]).

Стремление Ранке понять и представить прошлое «Wie es eigentlich gewesen ist», обусловлено пониманием этим историком некоторых моментов действительной исторической связи, которые могут быть истолкованы как определенные элементы реального историзма.

В целом, однако, научный историзм был чужд концепции Ранке. Согласно точному смыслу ранкеанского представления об историческом процессе, необходимая смена эпох, стоящих в непосредственном отношении к богу, есть процесс исторического развития. Главное здесь, с точки зрения Ранке, не само развитие, а смена тенденций, обнаруживающих божественно-идеальный характер этих тенденций. Вместе с тем эти тенденции проявляются в конкретной, эмпирически данной истории. То положение, что развитие, как смена эпох, не остается у Ранке исключительно в пределах созерцательно-теоретического воззрения, не является

[133]) L. v. Ranke. Geschichte und Politik, s. 127. Об этом Ранке писал также в «Politisches Geschpräch»: «Подлинная политика должна иметь историческую основу, опираться на анализ могущественных, преуспевающих в своем развитии государств» (Geschichte und Politik, S. 94).

[134]) L. v. Ranke. Über die Verwandtschaft..., S. 117.

[135]) Ibid., S. 118.

[136]) L. v. Ranke. Geschichte und Politik, S. 127.

идеально-духовной последовательностью эпох, как логических категорий бытия, а обладает предметностью конкретной исторической действительности, — это положение, тем не менее, не отражает действительного исторического развития.

Невозможность истолковать представление Ранке об историческом развитии как конкретный историзм обусловлено именно трансцендентальным характером этого представления. Из него вытекает противоречащая принципу историзма установка о том, что каждая последующая эпоха не содержит элементов превосходства по сравнению с предыдущей. Историческая концепция Ранке в конечном итоге оказывается устремленной в прошлое, а не в будущее. Свойственный Ранке провиденциализм до минимума ограничивал историческую интерпретацию не только настоящего, но и прошлого в тех случаях, когда было нужно объяснить данный, а не какой-либо ход исторических событий. Здесь взгляд Ранке, как это и следовало ожидать, смыкался с мистицизмом.

Научный историзм, который, казалось бы, должен вытекать из того стремления рассматривать ход истории, которое Ранке выразил формулой «Wie es eigentlich gewesen ist», оказывается противоречащим его объективизму.

Современная неоидеалистическая историография, объявляя Ранке ученым, воплотившим в своих трудах принцип историзма, истолковывает в модернистском духе ранкеанское понимание развития. Этот вопрос обычно рассматривается в связи с необходимостью привнесения в историческое познание трансцендентных норм, которые якобы неотделимы от правильно понятого историзма. Привлечение внеисторических масштабов в историческую науку у Мейнеке и других представителей неоидеалистического направления вытекает из утверждения об иррациональном характере исторического процесса, о неустранимости демонического начала, делающего неопределенными и опасными перспективы истории[137]).

Замена исторического знания верой у Ранке связана не с дуалистическим представлением об историческом процессе, а с убеждением о нераздельном господстве в нем божественного начала, предохраняющего развитие истории от катастроф; именно это имел в виду Ранке, когда выражал свою надежду на благоприятный ход истории в будущем, открывающемся благодаря поражению революционных сил. В этой связи критикуется «светлый оптимизм»[138]) Ранке, выражающий его взгляд на будущее мировой истории; однако эта критика не затрагивает основ мировоззренческих взглядов Ранке, которые рассматриваются историками-неоидеалистами как его крупная научная заслуга.

Теоретическое решение проблемы социальной функции историографии у Ранке нельзя рассматривать лишь как антинаучное, лишенное каких бы то ни было положительных сторон. Позитивный момент решения рассматриваемой проблемы состоит в том, что он выступает против модернизации исторического прошлого, против его оценки с позиций сегодняшнего дня и подчинения исторического исследования этой оценке. Однако этот момент далеко не определяет существа ранкеанского

---

[137]) F. Meinecke. Ranke und Burckhardt, S. 7. Мейнеке говорит о необъяснимой «ночи всемирной истории».

[138]) F. Meinecke. Ranke und Burckhardt. S. 10. «...Мировая история,—пишет Мейнеке,—имеет... трагический, даже часто демонический характер» (F. Meinecke. Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. Stuttgart, 1959, Bd. IV, S. 135). Поэтому, утверждает он, «светлый оптимизм» Ранке потерял для нас свое значение (F. Meinecke. Zur Theorie... S. 133). При этом он отождествляет непознаваемый характер истории, о котором пишет, с непознаваемостью исторического процесса у Ранке (ibid., S. 134).

решения проблемы в целом, и сама по себе критика «осовременивания» исторического прошлого нужна была Ранке не для обоснования научного взгляда на соотношение исторической науки и современности, а для его отрицания.

В связи с рассмотрением проблемы социальной функции историографии в методологии Ранке следует указать на неправильность взгляда, согласно которому этот историк объявляется представителем позитивистской методологии истории[139]). Отнесение Ранке к указанному направлению в историографии осуществляется в результате одностороннего истолкования его высказываний, главным образом его формулы «Wie es eigentlich gewesen ist». Отождествление объективизма Ранке с лозунгом «чистой науки» в ее позитивистской интерпретации игнорирует мировоззренческий характер указанного принципа Ранке; кроме того, оно противоречит партийно-политической позиции Ранке и времени появления позитивизма, как течения философско-исторической мысли.

***

Идейно-методологические основы исторической концепции Леопольда фон Ранке нельзя понять без учета современной ему социально-политической действительности Германии, определившей направление его научных интересов, характер его взглядов.

Ранке, конечно, не видел того обстоятельства, что теоретическое решение вопроса об объективном содержании истории как науки осуществлялось им с позиций историографии, характер которой был уже определен современностью, прежде чем он сформулировал свое исходное теоретическое положение. В этом смысле теоретико-методологические предпосылки исторической концепции Ранке являются подтверждением принципа социальной и политической обусловленности исторических представлений, доказательством того, что содержание исторической науки носит на себе отпечаток мировоззрения, идей, интересов того класса, которые выражает данный историк.

Антинаучность исторической концепции Ранке проявляется не только в том, что в принципе «Wie es eigentlich gewesen ist» молчаливо предполагается удовлетворяющим требованиям объективно-научного исторического познания неоправданное сужение объекта исторического исследования и предмета исторической науки; в пределах данной историографической практики этот принцип отнюдь не означал соответствие результатов применения его в научно-исследовательской работе объективной исторической действительности.

Теоретико-методологические принципы исторической концепции Ранке обусловлены, в конечном итоге, идеалистическими предпосылками, которые неотделимы от идеологии немецкого юнкерства. Определенная эволюция в сторону буржуазной идеологии в мировоззренческих, политических взглядах Ранке, обнаружившаяся в 70—80-х гг., не внесла, однако, никаких существенных изменений в те идейно-методологические предпосылки, которыми он руководствовался при подходе к исследованию конкретно-исторического материала. Говоря об этих предпосылках, следует сказать, что для Ранке было характерно:

1) убеждение в неотделимости процесса исторического развития от действия в нем трансцендентальных сил; они, а не внутренне присущие

---

[139]) Этот взгляд впервые был высказан Б. Кроче (B. Croce. Zur Theorie und Geschichte der Historiographie. Tübingen, 1915, S. 245—247). В нашей литературе см. об этом Б. А. Грушин. Очерки логики исторического исследования, М., 1961. Б. А. Грушин даже считает, что «...антинаучные писания позитивистов Шмоллера и Ранке... — результат осуществления в конкретном научном исследовании принципов, сформулированных философией Г. Риккерта и В. Виндельбанда» (Ук. соч., стр. 24).

историческому процессу закономерности, определяют его ход. Историческое развитие у Ранке в своей основе является отрицанием прогресса, как смены низших форм высшими;

2) признание единственным методом исторической науки индивидуализирующего, идиографического метода; описание — центральный пункт и основное содержание исторического исследования;

3) утверждение о познаваемости эмпирически данных фактов и явлений исторической действительности и рассмотрение в качестве главной доступной для историка задачи их изложение;

4) положение о том, что изображение объективной истины, являющееся целью научно-исторического познания, отвергает, а не предполагает необходимость для историка руководствоваться определенными философскими, политическими, моральными и т. п. субъективными взглядами.

При рассмотрении ранкеанского решения проблемы взаимоотношений истории и политики недопустимы как недооценка важности ее в методологии Ранке, так и произвольное, одностороннее и отвлекающееся от общеисторических взглядов Ранке истолкование его высказываний об отношении исторической науки и современности. Условия ранкеанского решения этой проблемы сказываются в понимании им объективной истины как социально не обусловленной и в отрыве исторического познания от современной ему общественной практики. Отсюда, как неизбежное следствие исторической концепции Ранке, — антиисторизм и субъективизм. Последний наиболее очевидно проявляется в отсутствии у Ранке объективно-научного критерия при подходе к изображению картины исторической действительности. Для научной деятельности Ранке характерно не только противоречие между историографической практикой и исходными идейно-методологическими предпосылками, но и наличие противоречий в самой методологии, противоречий, не являющихся отражением действительной противоречивости процесса научно-исторического познания.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Г. М. Иванов — К вопросу о своеобразии исторического познания . . 3
И. И. Шарифжанов — К вопросу о релятивистском истолковании методологии истории в англо-американской историографии 40—50-х гг. XX века . 27
Б. Г. Могильницкий — Политические и методологические идеи русской буржуазной медиевистики середины 70-х годов XIX — начала XX вв . . 62
Б. Г. Могильницкий—И. В. Лучицкий о роли народных масс в религиозных войнах во Франции XVI века 85
В. А. Гавриличев — Теоретико-методологические основы исторических исследований Генриха фон Зибеля 107
Н. И. Смоленский — О некоторых теоретико-методологических принципах исторической концепции Леопольда фон Ранке 137

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ. СБОРНИК СТАТЕЙ

Редактор издательства М. И. Волкова
Корректоры Т. И. Корсакова, М. И. Сваровская

К301660 Сдано в набор 11/XII-62 г. Подписано к печати 30/VII-63 г.
Бумага 70×108¹/₁₆. Объем 10,6 п. л.; 5,3 бум. л.; 14,5 уч.-изд. л.
Тираж 500. Заказ 6198. Цена 1 р. 02 коп., в переплете 1 р. 17 коп.

Издательство Томского университета, пр-кт Ленина, 34
Типография № 1 Полиграфиздата, Томск, Советская, 47

Цена 1 руб. 02 коп.

787654

Томский госуниверситет 1878
Научная библиотека 00962072